

180 220



Продолжение
книги
В.Катаняна
"Серезж
или
Страсти по
Параджанову"
читайте
в №1 –
1995г.

КИНО СЦЕНАРИИ №6

**В следующем номере читайте:
сценарий**

**Петра Луцика и Алексея Саморядова
"Дети чугунных богов"**



№ 6 КИНО СЦЕНАРИИ

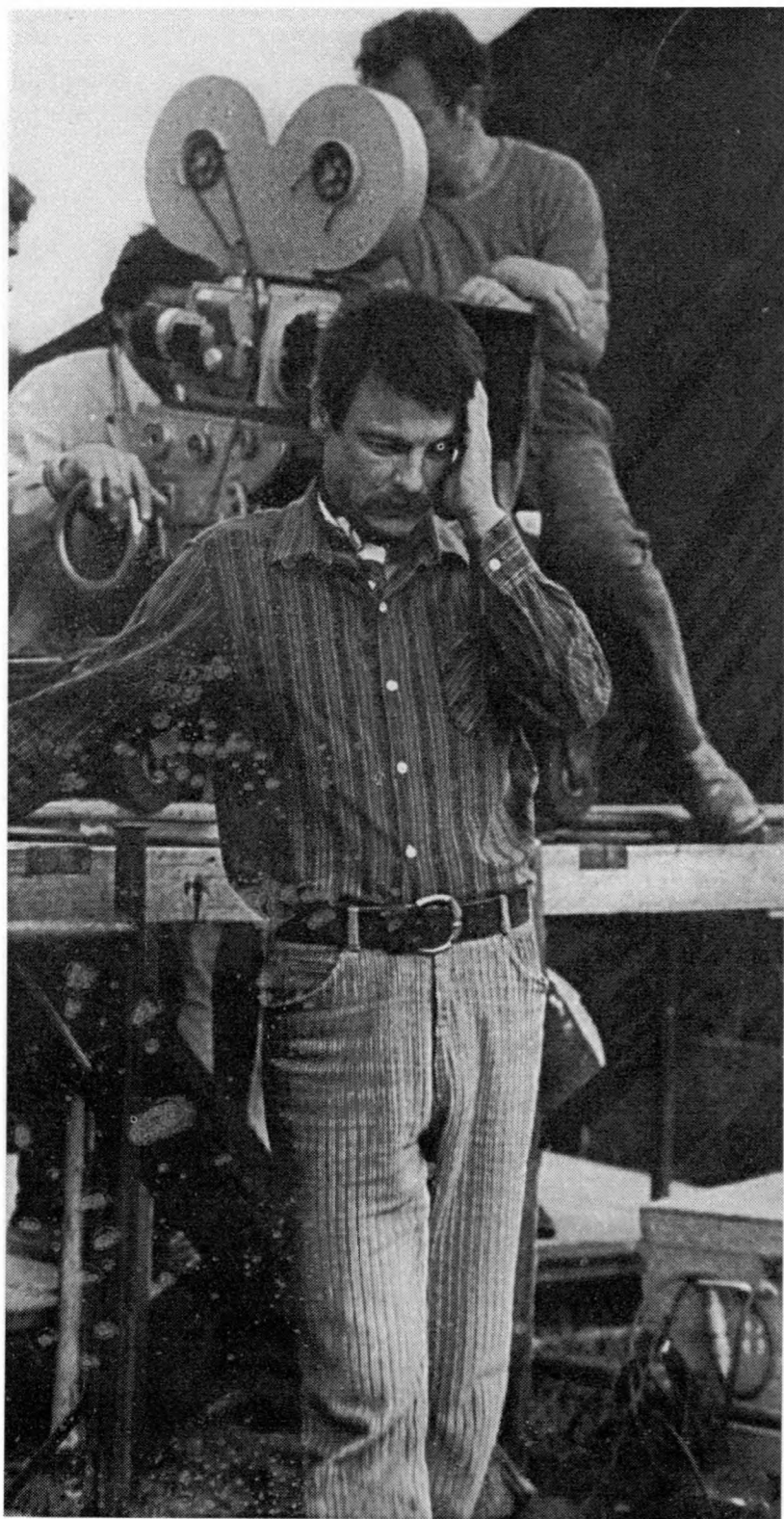
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ

Учредители:
Комитет кинематографии при
правительстве Российской
Федерации
Конфедерация Союзов
кинематографистов

Журнал издается с 1973 года

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

- | | | |
|-----------------------------|-----|-------------------------------|
| А. Мишарин
А. Тарковский | 2 | “ЗЕРКАЛО” |
| А. Леонтьев
А. Бабаян | 66 | “ЧЕРНЫЙ
ДЬЯВОЛ ТАЙГИ” |
| Вернер Херцог | 102 | “НОСФЕРАТУ –
ПРИЗРАК НОЧИ” |
| В. Аксенов | 132 | “СЕН-САНС” |
| Р. Ямалеев | 142 | “УБИЙСТВО
РАХМАНИНОВА” |
| В. Фрид | 160 | “58 1/2” |
| В. Трунин | 178 | “ТАКАЯ ПЕТРУШКА” |
| Марлен Дитрих | 181 | “АЗБУКА МОЕЙ ЖИЗНИ” |



Сценарию и фильму “Зеркало” – 20 лет.

Выросли новые поколения, новые таланты.

Но мы возвращаемся к “Зеркалу”

и слышим голос Андрея Тарковского, будто сегодня, будто сейчас...

Шедевры, как известно, проверяются только временем...

Александр Мишарин Андрей Тарковский

ЗЕРКАЛО

Что в имени тебе моем?
Но в день печали, в тишине,
Произнеси его, тоскую;
Скажи: есть память обо мне,
Есть в мире сердце, где живу я...

А. С. Пушкин

А зима все-таки пришла. Прошел первый снег, который, наверное, завтра растает. В центре города его станут убирать машинами, пока еще темно, и дворники начнут свою каждодневную борьбу со снегом, которая будет длиться несколько месяцев, почти до самого начала апреля.

Здесь, ближе к окраине, этот легкий, еще молодой снег радует больше. Он напоминает о Новом годе и кажется началом праздника. Еще по-ноябрьски поздно светает, а люди, выходя из дома, невольно думают: “Ну вот и зима... Как незаметно прошел еще

один год!..” А когда сквозь низкие облака угадывается солнце, длинная улица с высоким белым домом среди деревянных особнячков с палисадниками и сараями в глубине дворов кажется нехстати нарядной и от этого растерявшейся. На улице стоит новая, уже зимняя тишина, и каждый звук кажется легким, открытым и звонким. И почему-то хочется начать новую жизнь.

У входа на кладбище женщины торгуют еловыми ветками и бумажными цветами, а постовой, который их наверняка знает не первый день, стараясь не обращать на них внимания, стоит у заиндевелой витрины цветочного магазина и смотрит на поздние цветы за стеклом.

В распахнутые ворота входят люди с завернутыми в ветошь лопатами и граблями...

– Да... Это ты, мам?

– Да, да... Что-нибудь случилось?

– Ничего не случилось. Просто так...

– А у тебя все по-прежнему? Ты хоть что-нибудь делаешь?



Андрей Тарковский с матерью, Марией Ивановной.

– Что я тебе могу сказать? Ничего не делаю... собираюсь с мыслями. Ты не помнишь, как называлась эта речка, ну на хуторе, такое еще странное название...

– Какая речка? В Игнатьеве? Ворона?

– А, да, да, правильно. Ворона.

– А зачем тебе это?

– Да ни зачем, просто пришло в голову.

– Ты что, только для того и звонил, чтобы узнать, как Ворона называлась?

– Знаешь, я, наверное, сегодня не смогу зайти. Я позвоню. Ну ладно, пока.

– Ты откуда говоришь?

– Из города, из автомата...

По кладбищу, по его заснеженным закоулкам движется немногочисленная процессия. Мужчины несут гроб. Впереди – человек с лопатой, он идет быстрее и поэтому время от времени останавливается и ждет.

Легкий порыв ветра, еле заметный в городе, здесь, среди высоких деревьев, про-

сыпал снег на непокрытые голову и лицо умершего...

Мне никто не верит, когда я говорю, что помню себя в полтора года. А я действительно помню лестницу с террасы, сиреневый куст, я катаю по перилам алюминиевую крышку от кастрюли, и такой солнечный, солнечный день...

Закрыли крышку, и вдруг кто-то, всхлипнув, упал, требуя открыть гроб, и замер, и только тогда стало тихо в этом печальном лесу, и, еле-еле поскрипывая, качаются деревья.

Иногда мне кажется, что лучше ничего не знать и стараться не думать о смерти так же, как мы не могли думать и ничего не знали о своем рождении.

Зачем, кому это нужно, чтобы жизнь уходила так жестоко, безвозвратно, почему нуж-

но мучиться отчаянием и опустошенностью, откуда у людей столько сил? За что они рас-плачиваются? Почему чем больше мы лю-бим, тем страшнее, непоправимее потеря? Почему, по какому праву мы так привыкли к смерти? Зачем природа заставляет нас быть настолько легкомысленными, что мы забы-ваем о ней? Ведь и так, кажется, мы уже все вынесли. Разве недостаточно людей умерло? Зачем отнимать, может быть, по-следнее, что у нас осталось? Ведь смерт-ность в войнах уже исчисляется не сотнями и тысячами, а миллионами и десятками мил-лионов! А может быть, после следующей войны никого не останется и некому будет нас оплакивать?!

Но люди умирают, и их везут на пушеч-ных лафетах, зарывают в песок, завернув в мокрую простыню, по ним плачут пережив-шие детей отцы, им вырубает могилы во льду и стреляют три раза в воздух...

Может быть, лучше никого не любить, ослепнуть, оглохнуть, убить в себе память? Как остановить все это?!

И вдруг мне в голову приходит заклина-ние:

И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный, и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул...

...Умирают совсем одинокие люди, кото-рых некому похоронить, умирают в глубо-кой старости и, не начав жить, умирают, ис-пепеленные напалмом, и на борту корабля, когда море становится их могилой, когда их провожают молчанием, почтительным и хо-лодным, когда рыдают их любимые, когда они гибнут от пули, тонут в болотах, в сотнях километров от родного дома, и их хоронят с цветами и официальным салютом, умирают незаметно, посреди спектакля, уходят в зем-лю, в песок, в огонь, в безвестность, в горе любящих, в их отчаянную опустошенность. Когда они уходят, уходят и уходят в темноту прервавшейся жизни.

... Как труп, в пустыне я лежал.
И бога глас ко мне воззвал:
"Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей.

Земля поднимется и упадет в сторону, и гроб выйдет из могилы, и откроется крыш-ка, и люди отойдут в оцепенении, и слезы вернутся обратно.

Прошло совсем немного времени, и люди вернулись в город, будничным, шумный, живой...

Вопросы, на которые должна ответить моя мать*:

Вы уезжали в эвакуацию, когда началась война. Вы не помните, ка-кого числа это было? Кто Вас прово-жал? Как Вы доехали? Вспомните, пожалуйста.

А где Вы жили во время эвакуа-ции? Что это были за места? Вы раньше там бывали когда-нибудь?

Кого Вы больше любите – сына или дочь? Кто Вам ближе? А раньше, ког-да они были детьми?

Как Вы относитесь к открытию ядер-ной энергии?

Вы любите устраивать у себя дома праздники и приглашать гостей?

Вы умеете играть на каком-нибудь музыкальном инструменте? И никогда не учились? А петь? А в молодости?

Вы любите животных? Каких имен-но? Собак, кошек или лошадей?

А что Вы думаете о "летающих та-релках"?

Верите ли Вы в приметы?

Вы долгое время работали в одном и том же учреждении. Почему? Навер-ное, можно было бы найти более ин-тересную работу?

Как Вы относитесь к такому понятию, как "самопожертвование"?

Почему Вы после разрыва с мужем не пытались выйти замуж? Или не хотели?

*Текст должен быть набран шрифтом, имитирующим пишущую машинку (А. Тарковский).



Филипп Янковский в роли Игната.

Тихая и неглубокая Ворона, заросшая непроходимым ольшаником, перевитым хмелем, поплескивая на поворотах, пересекала широкий луг. Мы с сестрой бродили по теплой воде и в нависших над водой кустах разыскивали дикую смородину. Губы наши были синими, ладони розовыми, а зубы голубыми.

Неподалеку от мостка из двух поваленных ольшин мать полоскала белье и складывала его в белый эмалированный таз.

– Маня-а-а! – раздался удвоенный эхом голос с бугра, поросшего лесом.

– Дуня?! – крикнула в ответ мать.

– Маня-я! – неслось сверху. – Своё-то пойдешь встретить? Он ведь на двенадцатичасовом приехать долж-о-он!

– Дуняша! Спустишь, а?! Белье возьмешь!

А я побегу-у-у! Ладно?! И ребят!

– Ла-а-а-дно!..

Мать торопливо вышла из воды и, на ходу опуская рукава платья, побежала в гору по тропинке, терявшейся в лесу.

– Эй! Не уходите никуда! Сейчас тетя

Дуня придет! – крикнула она нам и скрылась среди деревьев.

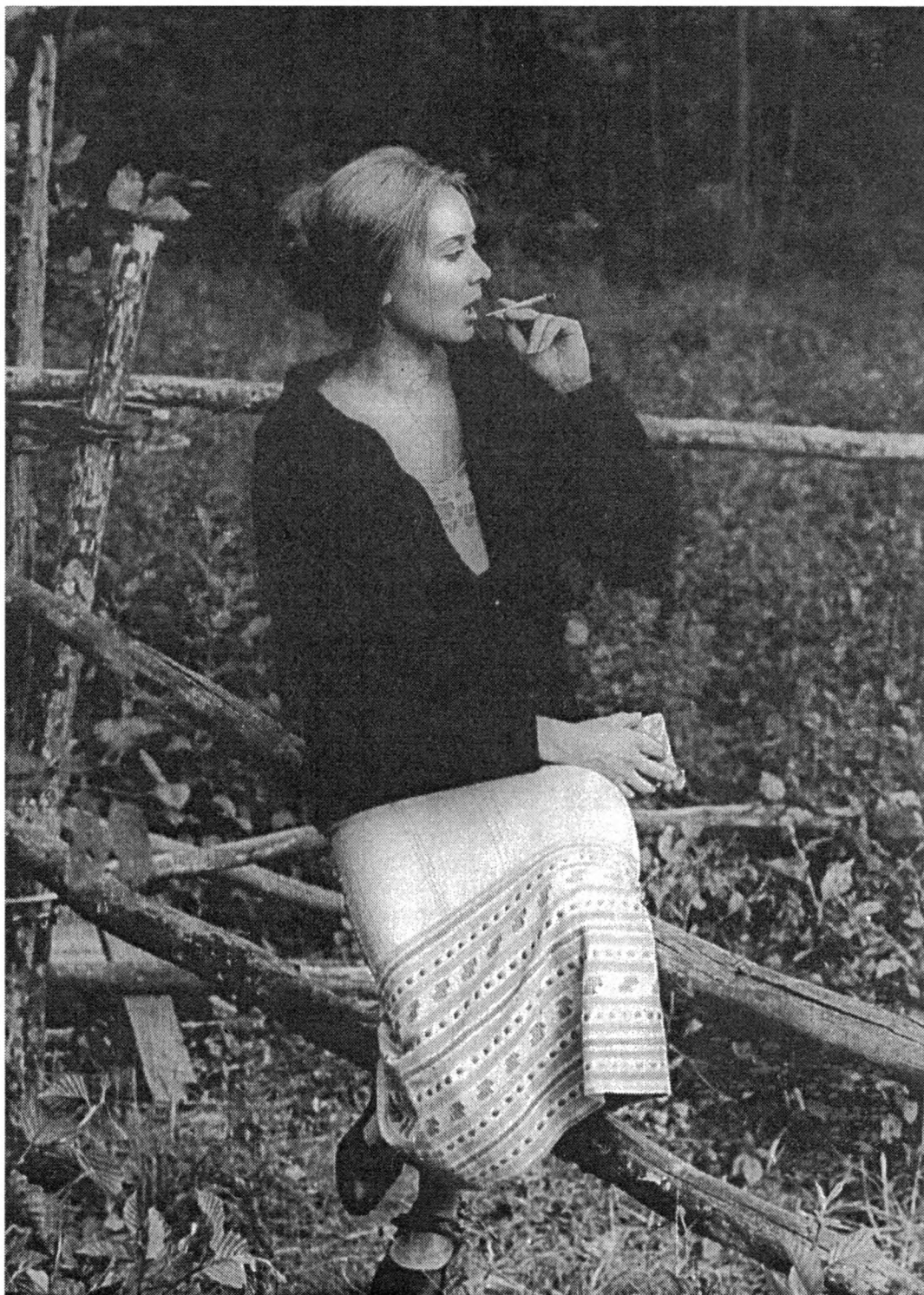
Дорога от станции шла через Игнатьево, поворачивала в сторону, следуя изгибу Вороны, в километре от хутора, где мы жили каждое лето, и через глухой дубовый лес уходила дальше, на Томшино. Между хутором и дорогой лежало клеверное поле. От нашей изгороди дороги не было видно, но она угадывалась по людям, которые шли со станции в сторону Томшина. Сейчас дорога была пуста.

Мать сидела на гибкой жердине забора, протянувшегося по краю поля. Отсюда даже по походке нельзя было определить, кто именно появился на дороге. Обычно мы узнавали приезжающих к нам только тогда, когда они появлялись из-за густого, широкого куста, возвышающегося посреди поля.

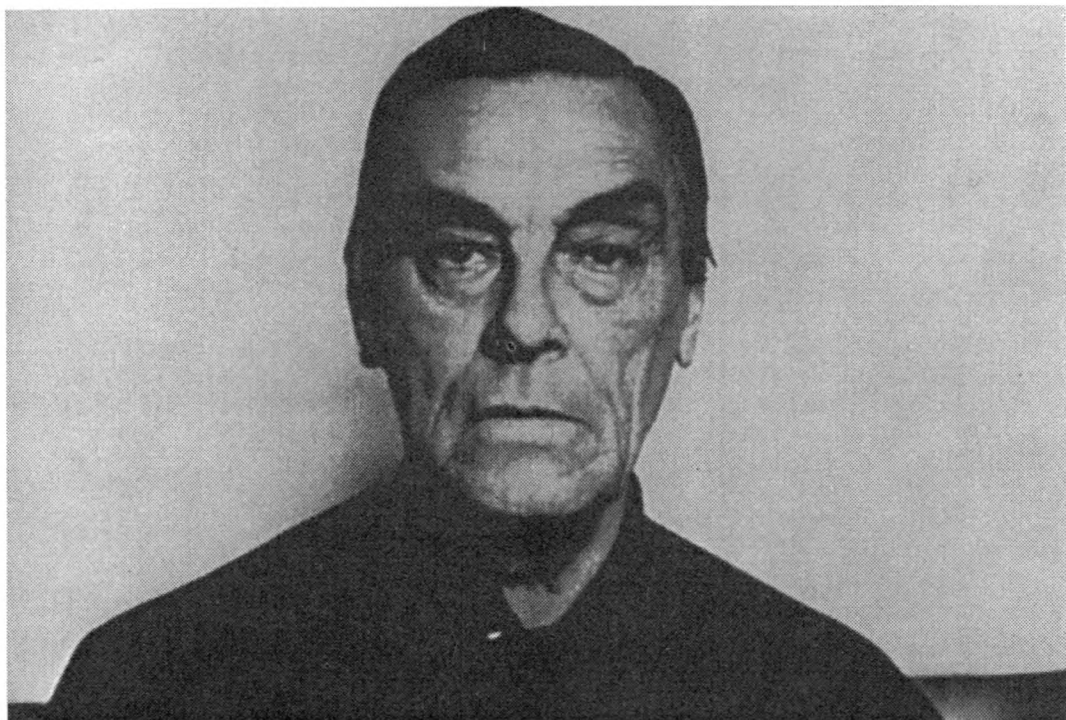
Мать сидела и ждала. Человек, медленно идущий по дороге, скрылся за кустом. Если сейчас он появится слева от куста – то это ОН. Если справа, то не ОН, и это значит, что ОН не придет никогда.

Прохожий вышел из-за куста справа.

Прохожий (подходя). Простите, девуш-



Маргарита Терехова в роли матери героя, Марии Николаевны



Арсений Александрович Тарковский

ка. Я на Томшино правильно иду?

Мать. Вам не надо было от куста сворачивать.

Прохожий (оглядываясь). А... А это что?

Мать. Что?

Прохожий. Ну... Что вы здесь сидите?..

Мать. Я здесь живу.

Прохожий. Где? На заборе живете?

Мать. Я не понимаю. Что вас интересует? Дорога на Томшино или где я живу?

Прохожий (заметив за деревьями хутор). А-а... здесь дом. (Громыкнув кожаным саквояжем.) Представляете, взял с собой все инструменты, а ключ позабыл. У вас случайно не найдется гвоздика или отвертки?

Мать. Нет. Нет. Нет у меня гвоздика.

Прохожий. А что вы так нервничаете? Дайте руку. Да дайте, я же врач. (Берет ее руку в свою.)

Мать. Ну?

Прохожий. Вы мне мешаете. Я так не могу сосчитать.

Мать. Ну что, мне мужа позвать что ли?

Прохожий. Да нет у вас никакого мужа. Кольца-то нет! Где кольцо обручальное? Хотя сейчас редко кто носит. Старики разве...

Неловкая пауза.

Прохожий. А папиросу у вас можно попросить? (Закурив, присаживается на забор рядом с матерью.) А почему вы такая грустная? А?

Забор с треском обрушивается. Оба падают на землю. Мать вскакивает. Прохожий, лежа в траве, хохочет.

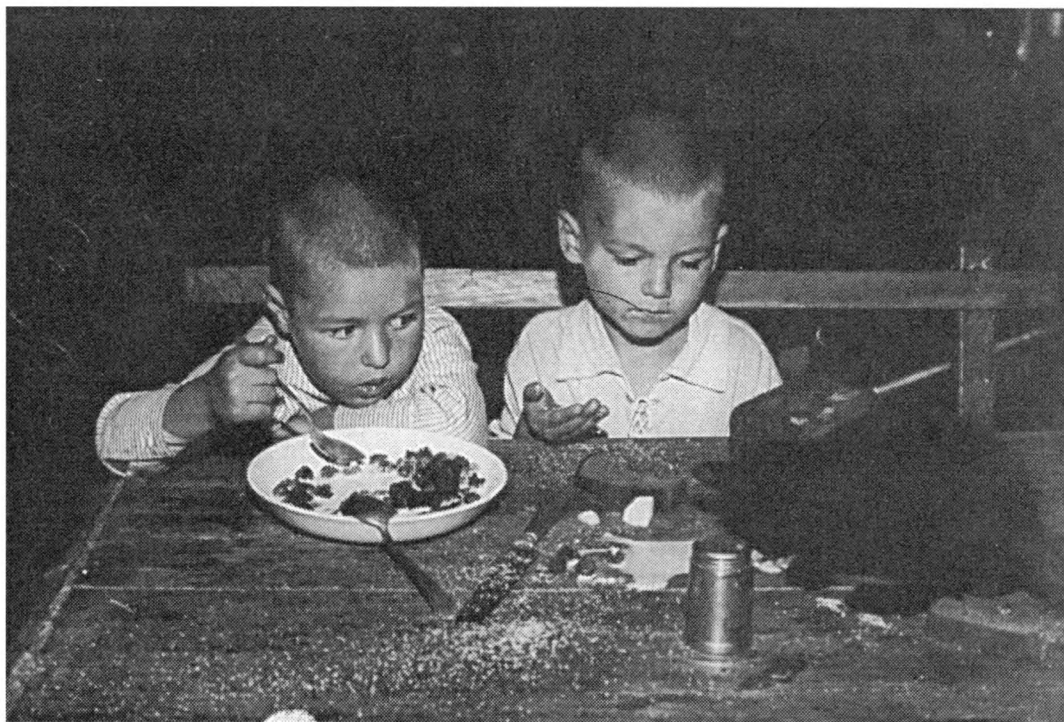
Мать. О господи! Я не понимаю, чему вы так радуетесь.

Прохожий. Вы знаете, приятно упасть с интересной женщиной. (Пауза, во время которой прохожий рассматривает траву и кусты, растущие вокруг.) А знаете, вот я упал, и такие тут какие-то вещи... корни, кусты... А вы никогда не думали... вам никогда не казалось, что растения чувствуют, сознают, может, даже постигают? Деревья, орешник вот этот.

Мать (недоуменно). Это ольха...

Прохожий (раздражаясь). Да это неважно! Никуда не бегают. Это мы всё бегаем, суедемся, все пошлости говорим. Это все оттого, что мы природе, что в нас, не верим. Все какая-то недоверчивость, торопливость что ли... Отсутствие времени, чтобы подумать.

Мать. Послушайте, вы что-то...



Кадр из фильма “Зеркало”. Оператор Г.Рерберг.

Прохожий (не давая ей договорить). А! Ну-ну-ну. Я это уже слышал. Мне это не грозит. Я же врач.

Мать. А как же “Палата N 6”?

Прохожий. Так это же он все выдумал! Сочинил! (Поднимает с земли свой саквояж и уходит по тропинке, ведущей в поле. Останавливается.) А знаете что, приходите к нам в Томшино! У нас там даже весело бывает!

Мать (кричит ему вслед). У вас кровь!

Прохожий. Где?

Мать. За ухом. Да нет, с другой стороны!

Прохожий махнул рукой и зашагал по тропинке к повороту на Томшино.

Мать долго смотрела ему вслед, потом повернулась и медленно пошла назад к хутору.

Лампу еще не зажигали. Мы с сестрой сидели за столом в полутемной горнице и ели гречневую кашу с молоком. Мать, стоя у окна, вынула из чемодана какую-то тетрадь и, присев на подоконник, стала ее перелистывать.

Последних листьев жар сплошным самосожжением
Восходит на небо, и на пути твоём
Весь этот лес живет таким же раздражением,
Каким последний год и мы с тобой живем.
В заплаканных глазах отражена дорога,
Как в пойме на пути, кусты отражены.
Не привередничай, не угрожай, не трогай,
Не задевай лесной наволгшей тишины.
Ты можешь услышать дышанье старой жизни:
Осклизлые грибы в сырой траве растут,
До самых сердцевин их проточили слизи,
А кожу все-таки щекочет влажный зуд.
Все наше прошлое похоже на угрозу,
Смотри, сейчас вернусь, гляди, убью сейчас,
А небо ежится и держит клен, как розу,
Пусть жжет еще сильнее! – Почти у самых глаз*.

Вдруг кто-то громко закричал. Я узнал голос нашего хозяина дяди Паши:

– Дуня! Ах ты, господи... Дуня!!!

Мать выглянула в окно и бросилась в сени. Через несколько секунд она вернулась и сказала:

– Пожар. Только не орите!

Замирая от восторга, мы помчались во

* Стихотворение А. А. Тарковского “Игнатьевский лес”.



Кадр из фильма.

двор. У крыльца в полутьме стояло все семейство Горчаковых: дядя Паша, Дуня, их шестилетняя дочь Кланька и смотрели в сторону выгона.

– Ах ты, сукин кот! – сквозь зубы бормотал дядя Паша. – Ну, попадись ты мне...

– Может, это и не наш Витька... Может, он тама... может, он сгорел? – вытирая слезы концами платка, тихо сказала Дуня.

Огромный сеновал, стоящий посреди выгона, пылал как свеча. Горело горчаковское сено. Ветра не было, и оранжевое пламя цельно и спокойно подымалось вверх, освещая березовые стволы на опушке дальнего леса.

Вам было 8 лет, когда произошла Революция? Что Вы помните об этом времени?

Кого Вы считаете сильнее – мужчину или женщину? Почему?

Поступались ли Вы когда-нибудь своей совестью? Если да, то при каких обстоятельствах?

Извините за легкомысленный вопрос. Что Вы любите из еды?

Как Вы начали курить? Не жалеете ли Вы об этом?

Дружили ли Вы с людьми не Вашего

круга? Как, при каких обстоятельствах? Расскажите о ком-нибудь из них, кого Вы больше всего полюбили и за что?

Как бы Вы могли сформулировать такое понятие, как история?

Почему мы выиграли Отечественную войну, как Вы думаете?

Ваш внук еще ребенок. С какими книгами, живописными произведениями, музыкальными сочинениями Вы познакомили его в первую очередь?

Если бы Вы имели возможность обратиться с советом или просьбой ко всем людям на Земле, что бы Вы сказали им?

Случалось ли Вам бывать несправедливой? Если да, то когда и при каких обстоятельствах?

За всю свою жизнь Вы бывали ведь не только в Москве? Где Вы чувствовали себя лучше? Почему?

Не было ли случая, когда Вы, поступив в высшей степени принципиально, страдали бы от результатов своего поступка?

Всегда ли приходится расплачиваться за свои принципы?

Хотелось бы Вам исправить свою

ошибку? Или для Вас принцип важнее расплаты за него?

Основываясь на своем опыте, что бы Вы посоветовали тем, кто только начинает свою жизнь?

Вы никогда не представляли своего сына солдатом? Не было ли у Вас во время войны такого ощущения, что и по нему когда-нибудь может прийти похоронная?

Симоновская церковь в Юрьевце стояла посреди выжженного на солнце пологого холма, окруженная древними липами и березами. Я помню, как давно, еще до войны, ломали ее купола. Мы с сестрой стояли в редкой толпе женщин, которые с затаенным страхом глядели вверх. Нас сопровождала наша бонна мадам Эжени, толстая, неуклюжая лионка со злыми глазами навывкате и короткой шеей. В руках она держала фунтик, свернутый из бумаги, в котором шевелились коричневые блестящие муравьи. Нам было обещано, что в случае непослушания содержимое бумажного фунтика будет вытряхнуто нам за шиворот.

По крыше церкви, крикливо переговариваясь, деловито поднималось несколько мужиков. Один из них волочил за собой длинный канат. Добравшись до конька крыши, они окружили один из куполов и стали набрасывать канат на его узорный кирпичный барабан. Я подошел ближе и встал за корявым березовым стволом. В промежутке между людьми, стоящими вокруг, я на мгновение увидел встревоженное лицо бонны.

“...сделай прежде всего дым артиллерийских орудий, смешанный в воздухе с пылью, поднятой движением лошадей сражающихся. Эту смесь ты должен делать так: пыль, будучи вещью земистой и тяжелой, хоть и поднимается легко вследствие своей тонкости и мешается с воздухом, тем не менее охотно возвращается вниз; особенно высоко поднимается более легкая часть, так как она будет менее видна и будет казаться почти того же цвета, что и воздух. Дым, смешивающийся с пыльным воздухом, поднимаясь на определенную высоту, будет казаться темным облаком, и наверху дым будет виден более отчетливо, чем пыль...”*

*Леонардо да Винчи. Суждения об искусстве.



Рисунок Андрея Тарковского 1986г.

Я услышал, как где-то рядом заплакала женщина. Я оглянулся, но так и не нашел плачущую среди толпы. Голос ее совпал с криком старика в зеленом френче, который, суетливо размахивая руками, шел вдоль церковной стены и отдавал приказания.

Рабочие, стоявшие внизу, поймали брошенные с крыши концы каната и привязали их к основанию березы, у которой я стоял. Подбежавший старик оттолкнул меня в сторону. Между канатами просунули вагу и стали крутить ее наподобие пропеллера до упора.

“...с той стороны, откуда падает свет, эта смесь воздуха, дыма и пыли будет казаться гораздо более светлой, чем с противоположной стороны. И чем глубже будут сражающиеся в этой мути, тем менее будет их видно и тем меньше будет разница между их светами и тенями.

Фигуры же, находящиеся между тобою и светом, ежели они далеки, будут казаться темными на светлом фоне, и ноги тем меньше будут видны, чем ближе они к земле, так как пыль здесь толще и плотнее...”

Вдруг, словно взвившаяся змея, канат стремительно свинтился вторым узлом. Эта вдвойне скрученная спираль стала медлен-

но и напряженно удлиняться, и в этот момент я на секунду поднял голову и увидел высокий белый купол и над ним крест, еще неподвижный. Над церковной колокольной со звонкой колготней носились встревоженные галки.

Один из мужиков у березы крикнул что-то и всем телом упал на упругий канат. Его примеру последовали другие. Они набросились на звенящий канат и начали в такт раскачиваться на нем до тех пор, пока основание купола не стало поддаваться. Кладка начала крошиться, из нее вываливались кирпичи, и крест стал медленно крениться в сторону.

“... воздух должен быть полон стрел в различных положениях – какая поднимается, какая опускается, иная должна идти по горизонтальной линии; пути ружейников должны сопровождаться некоторым количеством дыма по следам их полета. У передних фигур сделай запыленными волосы, и брови, и другие места, способные удерживать пыль. Сделай победителей бегущими, так чтобы волосы у них и одежда развевались по ветру. А брови были насупленными.

И если ты делаешь кого-нибудь упавшими, то сделай след ранения на пыли, ставшей кровавой грязью; и вокруг, на сравнительно сырой земле, покажи следы ног людей и лошадей, здесь проходивших...”

И вот, сначала все сооружение рухнуло вниз на железную крышу, потом с оглушительным грохотом на землю посыпались обломки кирпича, подымая клубы дыма, и, не успев закрыть глаза, я, ослепленный, уже почти ничего не видел, а только, кашляя, задыхаясь, вытирал ладонью слезы. Снова что-то обрушилось и, ломая длинные, до самой земли ветви берез, со скрежетом ударились о землю, подняв известковую пыль, которую порывистый волжский ветер стремительным облаком уносил между верхушками деревьев.

“...пусть какая-нибудь лошадь тащит своего мертвого господина, и позади нее остаются в пыли и крови следы волочащегося тела. Делай победителей и побежденных бледными, с бровями, поднятыми в местах их схождения, и кожу над ними – испещренной горестными складками... Других сделай

ты кричащими, с разинутым ртом, и бегущими. Сделай многочисленные виды оружия между ногами сражающихся...”

Сделай мертвецов, одних, наполовину прикрытых пылью, других – целиком; пыль, которая, перемешиваясь с пролитой кровью, превращается в красную грязь, и кровь своего цвета, извиристо бегущую по пыли от тела; других – умирающими, со скрежетом зубов, закатывающими глаза, сжимающими кулаки на груди, с искривленными ногами...”

Меня отвели в прохладную тень, на противоположную сторону собора. Я лежал с закрытыми глазами на траве и слышал, как мадам Эжени кричала кому-то сквозь грохот разрушаемого здания:

– Простунья, пожалуйста! Простунья!

Ее никто не понимал, и она продолжала настаивать, требовать от кого-то, кого я не мог видеть, чтобы принесли простыню, потому что она не могла допустить, чтобы я лежал на голой земле. Потом меня уложили на какой-то брезент, принесли кружку с водой, и мадам Эжени, приоткрыв неловкими пальцами мои веки, стала лить мне в глаз воду. Я вырвался.

– Сет ассе! Уи, мон шери? Сет ассе! * – сказала она.

По другую сторону церкви раздавались злые крикливые голоса, все так же глухо падали камни, что-то гремело и сыпалось с нарастающим шумом.

“...ты можешь показать лошадь, легко бегущую с растрепанной по ветру гривой между врагами, причиняя ногами большой урон. Ты покажешь изувеченного, упавшего на землю, прикрывающегося своим щитом, и врага – нагнувшегося, силящегося его убить. Можно показать много людей, грудой упавших на мертвую лошадь. Ты увидишь, как некоторые победители оставляют сражение и выходят из толпы, прочитая обеими руками глаза и щеки, покрытые грязью, образовавшейся от слез из глаз по причине пыли...”

Я слышал также со стороны дороги мычание приближающегося стада, которое гнало на полдни, и пистолетные выстрелы длинных пастушеских кнутов с волосяным концом.

А бонна все лила и лила мне в глаз воду.

* Вот и все! Правда ведь, мой дорогой? Вот и все! (франц.)

Наконец, она убрала руку и тихо сказала, улыбнувшись куда-то в сторону:

– Карл Иванович. Карл... Иванович... Нельзя не читать это... “И я биль золда, и я носил амуниций...” – Она нахмурилась и повторила совсем тихо: – “И я биль золда...”

А потом, уже совсем успокоившись, я снова стоял на безопасном расстоянии от падающих сверху кирпичей и обломков кладки и видел, как однорогая корова нашей соседки, напуганная грохотом, множеством народа и ломающимися деревьями, неожиданно кинулась в самую гущу происходящего, и оборвавшийся березовый сук с шумом упал на нее сверху, и она рухнула как убитая на землю и затихла, даже не пытаясь встать. Купола лежали у подножий исковерканных берез, лопнувшие, раздавленные, с засиженными птицами, погнутыми крестами и запутавшимися в них ветками с глянцевыми листьями, дрожащими в ярком июльском солнце... Вокруг церкви стояли бабы, мелко крестились и вытирали слезы.

“...ты покажешь также начальника, скажущего с поднятым жезлом к вспомогательным отрядам, чтобы показать им то место, где они необходимы. И также реку, и как в ней бегут лошади, взбивая взбаламученную воду пенистыми волнами, и как мутная вода разбрызгивается по воздуху между ногами и телами лошадей. И не следует делать ни одного ровного места, разве только следы ног, наполненные кровью...”

Корова лежала около груди битого кирпича и перебирала ногами. Подбежал раздраженный, в запыленном френче старик, распоряжающийся разрушением, и прежде всего убрал ветку, накрывшую корове голову. Затем присел на корточки, умело и не спеша коснулся пальцами ее вымени, вздохнул и начал привычно и по-мужски сильно доить ее. Тугие струи молока с шипеньем ударялись в землю.

Кончив доить, старик с трудом разогнулся и отошел в сторону, стряхивая молоко со своего защитного френча. Корова тяжело и неловко поднялась, постояла немного, опустив голову, и, пошатываясь, побрела вниз по склону.

Я смотрел ей вслед, и в ушах моих, как эхо, звучали слова, только произносимые почему-то мужским голосом: “И я был золдат... И я был золдат...”

Что такое, по-вашему, русский характер? Его достоинства и недостатки?

Какой Ваш любимый композитор? Почему?

Мать спрыгнула с подножки трамвая и побежала через улицу. Она была без плаща и через секунду вымокла насквозь.

Подойдя к типографии, поправила мокрые волосы и вошла в проходную. Вахтер молча рассматривал ее пропуск. Мать нетерпеливо сказала: “Я спешу...”

Вахтер хотел ей что-то возразить, но, взглянув на ее мокрое платье и осунувшееся лицо, сказал: “Да, дело, конечно, сейчас самое главное...”

Через небольшой коридор она выбежала во внутренний двор. Дверь напротив, лестница на третий этаж, полуоткрытая дверь корректорской... И в пустой комнате – только Милочка, совсем молоденькая, блеклая, испуганно обернулась, когда мать бежала в комнату.

– Что, Мария Николаевна?

– Где сводки, которые я сегодня вычитывала?

Мать бросилась к своему столу.

– Я не знаю... Я ведь только неделю... – почти прошептала Милочка, понимая, что что-то случилось. – Я сейчас...

И она выскочила из комнаты.

Мать тщето хваталась за стопки гранок, торопливо просматривала их и что-то говорила сама себе, беззвучно шевеля губами.

В комнату вошла большая полная женщина. Из-за ее спины выглядывала Милочка.

– Маруся, что?.. Именно в утренних сводках?.. В собрании сочинений? – Женщина говорила густым, чуть охрипшим от волнения голосом и вдруг почти взвизгнула, но добро и как-то беззащитно-участливо: – Не нервничай!.. Маша!..

– Значит, они уже в работе, – почти спокойно сказала мать и потерла виски пальцами. – Я, наверное, опоздала.

– Конечно, уже с двенадцати часов печатают, – как большую радость сообщила Милочка.

Мать направилась к двери, но Елизавета Павловна остановила ее:

– Но это же не беда... Ты зря нервничаешь!



Кадр из фильма.

Иван Гаврилович – Н.Гринько, Елизавета Павловна – А.Демидова.

Потом эта могучая женщина распахнула перед матерью дверь и повторила:

– Не беда...

Они молча шли по пустому коридору, и неожиданно Милочка заплакала.

– Замолчи, идиотка! – мрачно сказала Елизавета Павловна и положила руку на плечо матери.

– Но ведь в таком издании... Это же такое издание, – бормотала идущая за ними Милочка.

– Ну и что? Какое такое особенное издание? Любое издание должно быть без опечаток! – резко сказала Елизавета Павловна.

– Любое издание, – как эхо повторила мать.

Она первая вошла в цех и, быстро обогнав Елизавету Павловну и Милочку, направилась мимо станков в тот угол, где за конторкой сидел худой длиннолицый старик.

– Иван Гаврилович... – и не смогла говорить дальше.

Вокруг собирались наборщики.

– Ну, – неожиданно вздохнув, спокойно сказал Иван Гаврилович, – ну что, сбилась с толку? Ну, сверил я твои ковырялки. Ну что, еще нашла ошибку? Ну и что страшного? Маруся?..

– Нет, страшного, конечно, ничего нет, – мать старалась быть спокойной. – Я просто хочу посмотреть, может быть, я и ошиблась, то есть я не ошиблась...

– Вот именно, все по порядку, Маша, – вмешалась Елизавета Павловна и, обернувшись к собравшимся около них наборщикам, спросила:

– Ну? Что случилось?..

Некоторые отошли, а кто-то сказал:

– Случилось так уж случилось...

Услышав эти слова, мать окончательно потерялась.

– Иван Гаврилович, я хочу только сказать... спросить – они еще у вас или в работе?

– В печатном, – Иван Гаврилович не спеша поднялся. – Ладно, идем, уж больно все срочно, все срочно, все некогда...

– Я лучше сама схожу, одна, – сказала мать и быстро пошла к выходу. Ей казалось, что походка делает ее смелой и независимой. Но со стороны это выглядело иначе.

– Маруся, – негромко, но серьезно сказал Иван Гаврилович.

Мать остановилась.

– Вы думаете, я боюсь? – спросила мать.

– А я знаю, что не боюсь, – спокойно ответил старик, – пусть другие боятся, пусть будет так – кто-то будет бояться, а кто-то будет работать...

Мать и Иван Гаврилович вошли в печатный цех, а Елизавета Павловна остановилась у входа.

Иван Гаврилович остановил мать и, подойдя к невысокому, полному человеку в аккуратном, выглаженном халате, о чем-то спокойно спросил его. Тот пожал плечами. По движению Ивана Гавриловича можно было понять, что ему очень хотелось выругаться. Окинув взглядом огромный зал, он решительно направился к крайней, у самого окна, печатной машине.

Мать оправила платье и, слегка нахмурившись, деловым шагом двинулась за ним.

Мать просматривала правки. И вдруг неожиданно резко повернулась и, опустив голову, быстро пошла к выходу. Она шла долго, через весь этот зал, мимо огромных гремящих печатных машин, мимо мерно поднимающихся и опускающихся рам, выбрасывающих листы бумаги, все так же, не поднимая головы, быстро прошла мимо Елизаветы Павловны, мимо отступивших к стене наборщиков и, выйдя за дверь, бросилась по длинному коридору к корректорской. Стеклопанельная дверь со звоном захлопнулась за ней.

– Ну? – тихо спросила Елизавета Павловна, появляясь на пороге. – Ведь ничего не было? Все в порядке?

И хотя мать ничего не ответила, по какому-то почти неуловимому ее движению Елизавета Павловна поняла, что действительно ничего не случилось.

– Тогда чего плачешь, дуреха? – говорила Елизавета Павловна, обняв мать за пле-

чи, но говорить спокойно было трудно и ей. – Ну, не нервничай... Не нервничай... Не нервничай, – говорила она, размазывая слезы по своему толстому покрасневшему лицу.

Милочка заглянула было в корректорскую, но тут же исчезла за дверью.

– Нет, Лиза, это была бы просто дикая ошибка! Даже сказать неприлично, – засмеялась вдруг мать, хотя у нее лились слезы. – И чего это меня вдруг кольнуло... Я, представляешь, даже убедила себя, как это набрано... Как оно выглядит, это слово...

И теперь уже смеялась Елизавета Павловна, они говорили одновременно, перебивая и не слушая друг друга, принимаясь то плакать, то смеяться.

Отворилась дверь, вошел Иван Гаврилович и молча поставил на стол бутылку.

– Спирт... Тут немного, но все к делу. Ты же промокла вся насквозь. Посмотри, на кого похожа... Чучело...

– Господи, – вдруг, как бы опомнившись, сказала мать, – я же совсем промокла.

Она подошла к окну, за которым бушевал ливень, и шум его сливался с мерным, тяжелым рокотом машин огромной типографии, занимавшей в Замоскворечье целый квартал...

Мать. Я, пожалуй, пойду в душ. Где же гребенка?

Елизавета Павловна. Боже мой, ты знаешь, на кого ты сейчас похожа?

Мать. На кого?

Елизавета Павловна. На Марию Тимофеевну.

Мать. Какую Марию Тимофеевну?

Елизавета Павловна. На!

Мать. Что "на"?

Елизавета Павловна. Ну ты же гребенку ищешь? На!

Мать (нервничая). Слушай, ты можешь, наконец, нормально? Какую Марию Тимофеевну?

Елизавета Павловна. Ну была такая Мария Тимофеевна Лебядкина. Сестра капитана Лебядкина, жена Николая Всеволодовича Ставрогина.

Мать. При чем тут все это?

Елизавета Павловна. Нет, я просто хочу сказать, что ты поразительно похожа на Лебядкину.

Мать (обиженно). Ну хорошо, допустим. А чем же именно я на нее похожа?

Елизавета Павловна. Нет, все-таки



Кадр из фильма.

Федор Михайлович... Что бы ты тут ни говорила...

Мать. Что "я ни говорила"?

Елизавета Павловна (переходя на крик). "Лебядкин, принеси воды, Лебядкин, подавай башмаки!" Вся только разница в том, что братец ей не приносит воды, а бьет ее смертным боем. А она-то думает, что все совершается по ее мановению.

Мать (на глазах ее показываются слезы). Ты прекрати цитировать и объясни. Я не понимаю.

Елизавета Павловна (входя в раж). Да вся твоя жизнь – это "принеси воды" да "подавай башмаки". А что из этого выходит? Видимость независимости?! Да ведь ты же пальцем шевельнуть попросту не умеешь... Если тебя что-нибудь не устраивает – ты или делаешь вид, что этого не существует, или нос воротит. Чистюля ты!

Мать (заливаясь слезами). Кто меня бьет? Что ты такое городишь?

Елизавета Павловна. Нет, я просто поражаюсь терпению твоего бывшего муженька! По моим расчетам, он гораздо раньше делал бы убежать! Опрометью!

Мать (озираясь, в полной панике). Я не

понимаю, что она от меня хочет?

Елизавета Павловна. А ты разве сознаешься когда-нибудь в чем, даже если сама виновата? Да никогда в жизни! Нет, это просто поразительно! Ведь ты же собственными руками создала всю эту ситуацию. Господи! Да если ты не сумела довести своего дражайшего супруга до этого твоего бессмысленного эмансипированного состояния, то будем считать, что он вовремя спасся! А что касается детей, то ты определенно делаешь их несчастными! (Плачет.)

Мать (успокаиваясь). Перестань юрствовать!

Берет из ящика стола мыло, мочалку, полотенце и направляется к двери.

Елизавета Павловна. Маша! Ну что ты, ей-богу!

Мать (захлопнув дверь). Оставь меня в покое!

Елизавета Павловна (неуверенно, вслед).

Земную жизнь пройдя до половины,
Я заблудился в сумрачном лесу.

Совершали ли Вы ошибки в своей жизни? Какие это были ошибки?

Всегда ли Вы говорите правду?

Чему бы Вы смогли сейчас больше всего обрадоваться?

Что такое счастье?

Были бы Вы удовлетворены, если те, кого Вы любите, были счастливы, но вопреки Вашему пониманию счастья? Если нет, то почему?

Вас не пугает высота, или мороз, или гроза, или темнота?

Простите за несколько бестактный вопрос. Было ли в Вашей жизни нечто, чего Вы стыдитесь даже сейчас? Что это было?

Вы были в Москве, когда кончилась война и был праздничный салют? Что Вы делали в этот вечер? Если сможете, припомните поточнее.

Вы думали о том, что большая, может быть, лучшая часть жизни прожита и что Вы уже пожилая женщина? Или Вы старались никогда не думать о таких вещах?

Был ли когда-нибудь такой Новый год, который Вы проспали? Или были не дома, а где-нибудь в дороге? Радует ли он Вас больше сейчас, или больше радовал в молодости, или в детстве?

Какие Ваши самые любимые стихи? Или строчка, или четверостишие?

Вам никогда не казалось, что когда люди веселятся, то Вы чувствуете себя среди них лишней? Вы умеете быть веселой?

Вы никогда не желали смерти кому-нибудь из людей, которых Вы знали? Я не говорю там о Гитлере, или о каких-нибудь убийцах, или садистах.

Вы завидуете молодости? Естественной, здоровой молодости, легкости, красоте, беззаботности, с еще почти детскими представлениями о мире, наивными, но почти святыми?

Огромная запущенная квартира в одном из арбатских переулков.

У зеркала – Наталья, бывшая жена автора. В глубине коридора, у книжной полки – Игнат, их сын. Тихо.

Автор. Ты что, забыла? Я всегда говорил, что ты похожа на мою мать.

Наталья. Ну, видимо, поэтому мы и разошлись. Я с ужасом замечаю, как Игнат

становится все больше похожим на тебя.

Автор. Да? А почему же с ужасом?

Наталья. Видишь ли, Алексей Александрович, мы с тобой никогда не могли по-человечески разговаривать.

Автор. Даже когда я просто вспоминаю! И детство, и мать, то у матери почему-то всегда твое лицо...

...Кстати, я знаю почему. Жалко вас обеих одинаково. И тебя, и ее.

Наталья (обиженно). Почему жалко?

В дверях, со стаканом вина в руках появляется Игнат.

Автор. Игнат, не валяй дурака. Поставь стакан на место. (Наталье.) Ты что-то хотела сказать?..

Наталья. А ты ни с кем не сможешь жить нормально.

Автор. Вполне возможно.

Наталья. Не обижайся. Ты просто почему-то убежден, что сам факт твоего существования рядом должен всех осчастливить. Ты только требуешь...

Автор. Ну это, наверное, потому, что меня женщины воспитывали. Кстати, если не хочешь, чтобы Игнат стал таким же, как я, выходи скорей замуж.

Наталья. За кого?

Автор. Ну, это уж я не знаю, за кого. Или отдай Игната мне.

Наталья. Ты почему с матерью не помирился до сих пор? Ведь ты же виноват.

Автор. Я? Виноват? В чем? В том, что она внушила себе, что лучше меня знает, как мне жить? Или что, в конце концов, может сделать меня счастливым?

Наталья (саркастически улыбаясь). Тебя? Счастливым?

Автор. Ну, во всяком случае, что касается матери и меня, то я острее все это чувствую, чем ты со стороны.

Наталья. Что, что, что? Что ты чувствуешь острее?!

Автор. А то, что мы удаляемся друг от друга и что я ничего не смогу с этим сделать. (Пауза.) Слушай, Наталья, я сейчас должен буду уйти.

Наталья. Хорошо, ладно. Я вот о чем тебя попросить хотела. У нас сейчас в квартире ремонт. Игнат очень хочет с тобой пожить неделю. Как ты на это смотришь?

Автор. Ну, конечно, с удовольствием. Буду очень рад.

Наталья усмехается.

Мы идем по скользким и твердым тропинкам. Ноги мои в постоянных цыпках и невыносимо чешутся. Тропинки бегут рядом среди высокой крапивы, запутанной в паутину с прилипшими к ней листьями облетающей черемухи. По соседней тропке, сложив руки на животе и прижав локти, идет моя мать. Время от времени она беспокойно поглядывает в мою сторону. Над нами тучей носятся комары.

Мы выходим на вытоптаный скотиной выгон. Сгорбленная старуха в намокшем ватнике ковыляет к деревне, погоняя взрывающегося телка.

Мать спрашивает у нее дорогу. Старуха суетливо проводит ладонью под платком и с интересом оглядывает нас с головы до ног. Ее маленькое лицо с живыми глазками забурело от солнца, и только глубокие морщины остались белыми.

– Или захворала? Сами-то откель?

– Да нет, мы знакомые просто, – поправляя промокший воротник кофты, отвечает мать. – В гости. По делам то есть... – Она улыбается и, отвернувшись, смотрит в сторону деревни.

– Дык ведь и дошли уж, вон, под березами-то, пятистенка, крайняя, по-над берегом... Только поспешите, а то, я слышать, доктор – он вроде в город собрался.

– По-над берегом так и идти? – стараясь говорить по-деревенски, оживает мать.

– Во-во, так и дойдете, – теряя к нам интерес, бормочет старуха. – Какой шас город...

Мы направляемся в сторону рощи, маячащей впереди над поворотом реки.

– Ма, а что такое пятистенка? – спрашиваю я.

– Просто большая изба с пятью стенами, – отвечает мать и, неожиданно поскользнувшись, оступается. – Черт побери, – злится она.

– Как это с пятью? – спрашиваю я.

Мать поднимает с земли прут и чертит на тропинке прямоугольник.

– Что ты на меня смотришь? Смотри сюда. Здесь четыре стороны в этом прямоугольнике. Это обычная изба, а если посередине есть еще одна стена, то это уже пятистенка, – мать пересекает прямоугольник прутом.

Я ухмыляюсь.

– Чему ты радуешься? – говорит она и

зябко запахивается кофтой. – Ох, Алексей, Алексей... – вздыхает она. – Ну, теперь ты понял? Понял, что такое пятистенка?

– Угу, – отвечаю я, – я и сам знал, только забыл.

Мы долго стояли на мокром крыльце. На осторожный стук матери никто не отозвался.

– Может, их нет никого? – с надеждой пробормотал я.

Уже смеркалось, и все вокруг погружалось в холодный туман, сквозь который едва различалась широкая, мелкая в этом месте река и замершие в безветрии березы.

– Алексей, ну-ка сходи посмотри с другой стороны. Может быть, там кто-нибудь есть?

Мать озабоченно посмотрела на меня и поняла, что мне ужасно не хочется никуда идти и смотреть, потому что я очень боялся увидеть "кого-нибудь". Меня бросило в жар, и я потер и без того расчесанные ноги намокшим рукавом курточки.

– Боже мой, перестань чесаться, я тебе тысячу раз говорила! – сказала мать.

– Давай лучше постучим погромче. Один раз стукнула еле-еле... Думаешь, они так сразу и прибегут, – ответил я, умоляюще глядя на мать.

– Тогда постой здесь, а я пойду с другой стороны.

И снова я испугался. Я представил себе, что когда мать скроется за углом, дверь отворят и я, не зная, что сказать, буду глядеть на появившегося на пороге доктора Соловьева.

Мать спустилась с крыльца и уже шла по блестящей в тумане тропинке, и когда неожиданно загрохотал железный засов, я бросился за ней, догнал ее и сказал задыхаясь:

– Ма, там открывают...

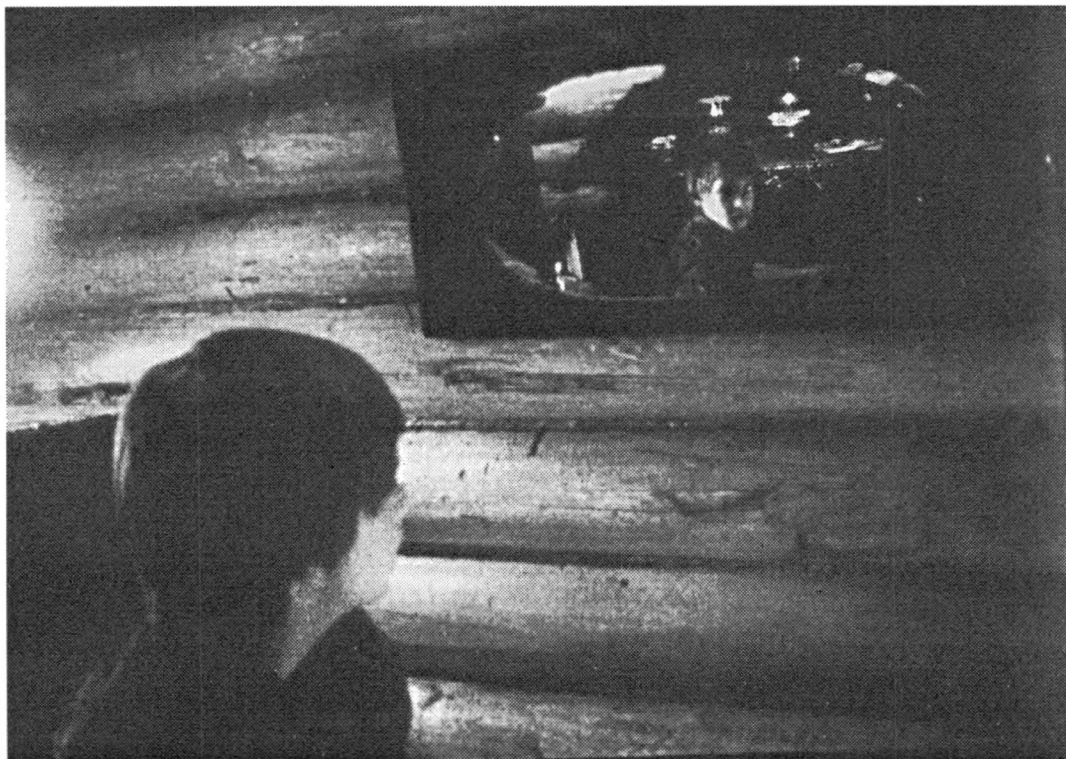
– Что с тобой? – стараясь быть спокойной, спросила она, возвращаясь к крыльцу...

В освещенном проеме двери стояла высокая белокурая женщина в голубом шелковом халате. Я взглянул на мать и проглотил слюну.

– Здравствуйте, – сказала мать и улыбнулась так, как будто нас ждали.

– Здравствуйте... – недоуменно ответила женщина в халате. – Вам кого, собственно?

– Вас, наверное, – игриво улыбаясь, от-



Кадр из фильма. Герой в детстве – Игнат Данильцев.

ветила мать. – Вы Надежда Петровна?

– Да, а что? Я вас раньше...

– Видите ли, – перебила мать. – Я падчерица Николая Матвеевича Петрова. Они, кажется, дружили с вашим мужем. А уж там не знаю... – смутилась она.

– Николай Матвеевич? Какой Николай Матвеевич? – женщина в халате насторожилась.

– Петров... Николай Матвеевич... Врач. Он раньше жил здесь, в Завражье, а потом переехал в Юрьевец. Там он стал судебно-медицинским экспертом, – навязчиво объясняла мать.

– А-а-а... А сами-то вы откуда? Из города?

– Мы, в общем-то, из Москвы. Но в Юрьевце у нас комната, – объяснила мать торпливо.

– Москвичи значит? – неодобрительно буркнула Надежда Петровна.

– Да. Мы эвакуировались прошлой осенью. Бомбежки в Москве начались. А у меня двое детей. А здесь все-таки у мамы старые связи. И потом, я ведь тоже в этих краях выросла.

– Дмитрия Ивановича сейчас дома нет... Он в городе... – вдруг разочарованно протянула Надежда Петровна и убрала руку с косяка. Я даже заулыбался от радости.

– Да мне, собственно, вы нужны. У меня к вам маленький дамский секрет, – как-то некстати вернула мать. В глазах Надежды Петровны мелькнуло не то недоверчивое любопытство, не то страх.

– Ну, проходите, что же здесь-то стоять... – вдруг позволила она.

Вслед за Надеждой Петровной мы вошли в дом. Вместо сеней я увидел нечто вроде прихожей с блестящими полами и зеркалом, висящим на стене в овальной раме. В углу стояли старинные сундуки, а над входом в кухню висела керосиновая лампа с красивым абажуром какого-то почти оранжевого цвета. Громоздкие поблескивающие шкафы с медными ручками и замками. Вешалка у дверей с непонятным кругом внизу. На одной из гладких стен висела картина в тяжелой раме.

– Вытирайте ноги только, Маша мыла полы, – сказала Соловьева.

Мы аккуратно вытерли ноги. Мать, что-

бы подбодрить меня, сделала это с нарочитой старательностью и, как ей, видно, казалось, не без веселой иронии. Больше всего я боялся, что хозяйка заметит, что мы боимся.

Надежда Петровна открыла дверь на кухню и, зябко поеживаясь в своем халате, обернулась к нам.

– Алексей, ты посиди здесь пока, я сейчас вернусь. Мы недолго, – преувеличенно бодро сообщила мать Соловьевой.

Я остался один, сел на стул против зеркала и с удовольствием увидел в нем свое отражение. Наверное, я просто отвык от зеркал. Оно казалось мне предметом совершенно ненужным и поэтому драгоценным. Мое отражение не имело с ним ничего общего. Оно выглядело вопиюще оскорбительным в резной черной раме. Я встал со стула и повернулся к зеркалу спиной.

До меня доносились неразборчивые голоса, звяканье дверок буфета, потом неожиданный смех Надежды Петровны. И мне почему-то стало хорошо.

Я подошел к кухонной двери и осторожно приоткрыл ее. У зеркала, кокетливо поглядывая на себя то с одной, то с другой стороны, стояла Надежда Петровна и примеряла сережки, весело поблескивающие золотом и чем-то голубым.

Я тихонько отошел к двери и сел на сундук.

– Бросили мы тебя тут, да? Тебя как зовут? – неожиданно появляясь в дверях, спросила Надежда Петровна.

– Алексей, – ответил я.

– Вы знаете, – сказала она, обращаясь к матери, – а у меня тоже есть сын. Не такой большой, конечно. Ой, господи, трудно сейчас с детьми, война все-таки. А мне еще хочется, – засмеялась она, – дочку. Он сейчас в спальне. Спит. Хотите посмотреть?

– А мы его не разбудим? – испугалась мать.

– Ничего, мы тихонько. Он у нас чудный! Он тут вдруг подошел к отцу и спросил – а почему пять копеек больше, а десять меньше. Дмитрий Иванович так и не ответил ничего. Не смог! Ему ведь сначала дочку хотелось. Он даже имя ей придумал – Лора. А я приданое розовое приговорила: и конверт, и ленту. Пришлось все перешивать. Надедал нам хлопот, разбойник. Мы уж ведь уверились в дочке-то.

Она была весело возбуждена, и возбуждение это передалось моей матери...

Надежда Петровна осторожно открыла дверь в спальню.

Это была огромная и совершенно пустая комната. Было почти темно, синели только окна, и тихий свет ночника отражался в сияющем паркете. Прямо посреди, между окнами и дверью, откуда мы смотрели, стояла не то кровать, не то еще что-то из красного полированного дерева, с потолка падали каскады чего-то похожего на легкий голубой дым, а под шелковым, тоже голубым одеялом, весь в кружевах, спал розовый курчавый ребенок, положив на щеки длинные, вздрагивающие ресницы.

Вдруг малыш вздрогнул и открыл глаза.

– Разбудили мы тебя все-таки? Да? Вот у тебя мама-то болтает да болтает, – продолжала петь Надежда Петровна. – Кто к нам пришел-то? А? Незнакомые? Ну что же ты? Э-э? Не проснешься никак! Ну и ладно, ну и спи тогда. Усни, моя ягодка, спи.

Я смотрел на него, раскрыв рот и вытянув шею. В тишине раздался счастливый смех Надежды Петровны. Я обернулся и посмотрел на мать.

Глаза ее были полны такой боли и отчаяния, что я испугался. Она вдруг заторопилась, шепотом сказала что-то Соловьевой, и мы вышли обратно в прихожую.

– А они идут мне, правда? – спросила ее хозяйка, закрывая за собой дверь. – Только вот кольцо... Как вы думаете, оно не грубит меня, нет? Как вы думаете?

Мать молча бросилась в кухню. Надежда Петровна за ней.

Надежда Петровна. Что с вами?

Мать. Вы знаете, что-то нехорошо...

Надежда Петровна. Господи, вы, наверное, с дороги устали? Я сразу как-то не сообразила... Вот, выпейте пока... Согрейтесь. Заболтала я совсем. Ведь ужин готовить надо. Из дома-то, небось, когда вышли?

Мать. О, спасибо. Да вы не беспокойтесь, пожалуйста.

Надежда Петровна. Ну как же я вас так-то отпущу.

Мать. Да мы ведь поели перед уходом, недавно.

Из прихожей доносится кашель Алексея.

Надежда Петровна. Ой, что-то у него кашель какой нехороший.

Мать. Да бегают везде, дети, знаете...

Надежда Петровна. Нужно обязательно, чтобы его Дмитрий Иванович послушал. Кстати, он сейчас приедет.

Мать. Нет, спасибо. Мы не сможем подождать. Нам ведь два с лишним часа идти.

Надежда Петровна. А как же сережки? Деньги-то у мужа. Смотрите, как мальчик-то устал. А мы сейчас петушка зарежем. Только у меня к вам просьба маленькая. Сама-то я на четвертом месяце. Тошнит меня все время. Даже когда корову дою, подступает прямо. А уж петуха сейчас... сами понимаете. А вы бы не смогли?

Мать (в полной растерянности). Понимаете, я сама...

Надежда Петровна. Что, тоже?

Мать. Нет, не в этом смысле. Просто мне не приходилось никогда.

Надежда Петровна. А... Так это пара пустяков... В Москве-то, небось, убитых ели. А я вот все это делаю здесь, на бревнышке. Вот топор. Дмитрий Иванович утром наточил.

Мать. Это что, прямо в комнате?

Надежда Петровна. А мы тазик подставим. А завтра утром я вам с собой курочку дам. Вы не думайте, это как презент.

Мать. Вы знаете, я не смогу.

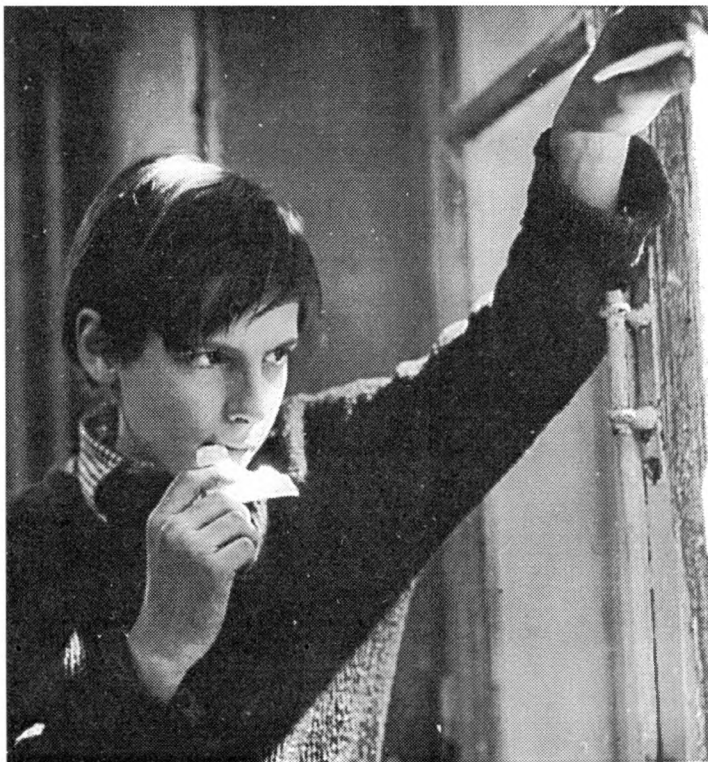
Надежда Петровна. Вот что значит наши женские слабости-то. Может, тогда Алешу попросим? Мужчина все-таки.

Мать. Нет, ну зачем же Алешу...

Надежда Петровна (принесит петуха, кладет его на бревнышко). Тогда держите, держите. Крепче держите, а то вырвется, всю посуду перебьет. Ну-ка. Ой, что-то мне все-таки... Ну!..

Петух забился под руками у матери...

Наш уход был словно побег. Мать отвела невольничка, не соглашалась, говорила, что она передумала, что это слишком дешево, почти вырвалась, когда Соловьева, угваривая, взяла ее за локоть.



Кадр из фильма.

Когда мы возвращались, было совсем темно и шел дождь.

Я не разбирал дороги, то и дело попал в крапиву, но молчал. Мать шла рядом, я слышал шлепанье ее ног по лужам и шорох кустов, которые она задевала в темноте.

Вдруг я услышал всхлипывания. Я замер, потом, стараясь ступать бесшумно, стал прислушиваться, вглядываться в темноту, но ничего не было слышно.

В то далекое довоенное утро я проснулся от счастья. В окна бил праздничный свет. Солнце, пронзительно вспыхнув, капризно преломлялось в граненом флаконе и радуги разбрасывалось по белизне фаянсового умывальника, стоявшего в углу. За открытой дверью никого не было. Я сел на кровать и свесил ноги. Прислушался.

Звонкий отзвук железной дужки о ведро, плеснувшаяся на закачавшуюся лавку вода, свежий глуховатый шум с улицы, доносящийся через открытое окно, сквозь кружевные занавески и кусты с домашним жа-

смином на подоконнике. Я посмотрел сквозь раскрытую дверь в соседнюю комнату и на полу, около дивана, увидел туфли. Туфли с тонкими перемычками и белыми пуговками. Рядом стоял чемодан. Я мгновенно все понял, бросился к дверям и, обалдев от радости, остановился на пороге.

Около зеркала, освещенная белым солнцем, стояла моя мама.

Она, наверное, приехала ночью, а теперь стояла у зеркала и примеряла серьги, поблескивающие золотыми искрами и матово сияющей бирюзой.

Вы когда-нибудь голодали? Вы и Ваша семья?

Вы гордились своими успехами на работе? Были ли у вас друзья на работе, близкие с которыми Вы и сейчас считаете необходимым и естественным делиться своими заботами и радостями? Что Вы ощутили, когда уходили на пенсию и последний раз выходили из здания типографии?

Скажите, когда было слишком трудно, Вы находили силы жить дальше только из-за того, что у Вас на руках двое детей? И старая мать?

Почти у всех людей вид проходящих поездов вызывает грусть... А у Вас? Почему?

Вам никогда не казалось, что Вы честолюбивы? Вы никогда не думали: "Если бы я была главой государства, я бы сделала..."? Что бы Вы хотели сделать? Или Вы считаете, что это свойственно только мужчинам?

Квартира автора. Наталья и Игнат собирают рассыпанные на полу вещи из ее сумки.

Наталья. О господи! Вечная история, вот спешишь... Да ты не складывай, давай прямо так, некогда.

Игнат (отдергивая руку от сумки). Ой, токком...

Наталья. Что?

Игнат. Токком что-то бьет.

Наталья. Каким токком?

Игнат. Как будто это уже было все когда-то. Тоже деньги собирал. А я вообще тут первый раз.

Наталья. Давай сюда деньги и перестань фантазировать, я тебя очень прошу. Ну лад-

но, слушай, собери тут, чтобы грязи не было, ладно? Ты здесь, пожалуйста, ничего не трогай. И потом, если придет Мария Николаевна, скажи ей, чтобы она никуда не уходила. Хорошо?

Наталья уходит. Неожиданно Игнат слышит звяканье посуды и поворачивается. В комнате – две женщины. Одна из них сидит за столом и пьет чай. Кто они и как сюда попали – неизвестно.

Незнакомка. Входи, входи. Здравствуй. (Второй незнакомке.) Евгения Дмитриевна! Еще одну чашечку для молодого человека, хорошо? (Евгения Дмитриевна выходит.) Достань-ка, пожалуйста, тетрадь, там, из шкафа (Игнату), на третьей полке с края. Да, да. Спасибо. Ну-ка, прочти мне страницу, которая лентой заложена.

Игнат (читает). "Руссо в Дижонской диссертации на вопрос, как влияют науки и искусства на нравы людей, ответил – отрицательно".

Незнакомка. Нет, нет. Читай только то, что подчеркнуто красным карандашом. У нас мало времени.

Игнат. "Несмотря на то.." – ой, нет. – "Нет сомнения, что схизма (разделение церковей) отъединила нас от остальной Европы и что мы не принимали участия ни в одном из великих событий, которые ее потрясли, но у нас было свое особое предназначение. Это Россия, это ее необъятные пространства поглотили монгольское нашествие. Татары не посмели перейти наши западные границы и оставить нас в тылу. Они отошли к своим пустыням, и христианская цивилизация была спасена. Для достижения этой цели мы должны были вести совершенно особое существование, которое, оставив нас христианами, сделало нас, однако, совершенно чуждыми христианскому миру..."

...Вы говорите, что источник, откуда мы черпали христианство, был нечист, что Византия была достойна презрения и презираема и т. п. Ах, мой друг, разве сам Иисус Христос не родился евреем и разве Иерусалим не был притчею во языцех? Евангелие от этого разве менее изумительно?..

Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с вами согласиться...

...И (положа руку на сердце) разве не находите вы чего-то значительного в тепе-



Кадр из фильма. Незнакомка – Тамара Огородникова.

решнем положении России, чего-то такого, что поразит будущего историка?..

Хотя лично я сердечно привязан к государю, я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как литератора – меня раздражают, как человека с предрассудками – я оскорблен, – но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам бог ее дал”.

Из письма А. С. Пушкина П. Я. Чаадаеву. 19 октября 1836 года.

Звонок в дверь.

Незнакомка. Иди, иди, открой.

Игнат открывает дверь. На пороге стоит Мария Николаевна.

Мария Николаевна. Я, кажется, не сюда попала.

Игнат захлопывает дверь и возвращается в комнату. В ней никого нет. Игнат испуган. Звонит телефон. Игнат снимает трубку.

Игнат. Да?

Автор. Игнат? Ну как ты там? Все в порядке?

Игнат. Ага.

Автор. Мария Николаевна не приходила?

Игнат. Да нет... Приходила какая-то, не в ту квартиру попала.

Автор. Ты бы там занялся чем-нибудь. Только хаоса не устраивай. Или позови кого-нибудь в гости... У тебя есть знакомые: ребята, девочки?

Игнат. Из класса?.. Они.. Да ну их...

Автор. Ну что же ты? А я в твоём возрасте уже влюблялся. Что ты хмыкаешь? Во время войны. За ней еще наш военрук “бегал”, контуженый. Такая рыжая-рыжая... И губы у нее все время трескались... До сих пор помню... Ты меня слышишь? Игнат!

Наш четвертый класс “Б” маршировал в сторону городского сада, где находился осовахиимовский тир. Командовал нами деревенский парень, тяжело раненный на войне. Он был нашим военруком. У него не хватало куска черепа, и поэтому он носил на голове розовую целлулоидную чеплашку с



Кадр из фильма. В роли девочки – приемная дочь Тарковского, Оля.

дырочками, похожую на дуршлаг. И мы, конечно, дали ему прозвище – простое и незамысловатое – “Контуженый”.

Класс наш делился на две группы – местных и эвакуированных из Москвы и Ленинграда.

– Левой! Левой! – командовал Контуженый, помахивая полевой дерматиновой сумкой. Одет он был всегда одинаково – в кирзовые сапоги, вылинявшую гимнастерку и длинную солдатскую шинель, выдавшую виды. На голове у него была надета ушанка из искусственного меха. – Запевай! – вдруг крикнул он.

Это относилось ко мне. У меня тогда был пронзительный дискант.

До свида-анья, го-рода и ха-аты!
Нас доро-ога дальняя зове-от!
Молодые и смелые ребя-ата,
На заре уходим мы в похо-од!.. – завизжал я что было мочи. Остальные подхватили:

Мы разве-ем вражеские ту-учи,
Размете-ом преграды на пути-и!
И врагу-у от смерти немину-учей,
О-от своей могилы не уйти-и!..

Контуженый улыбался. Прохожие с умилением глядели нам вслед.

Навстречу, во главе с учительницей физкультуры Ниной Петровной, с лыжами на плечах, шли ребята из четвертого “А”. Нина Петровна была высокая тучная блондинка с широко расставленными серыми глазами и вздернутым носом.

Пока мы входили в калитку открытого тира с земляной насыпью позади дощатой стенки, на которую наклеивали мишени, Контуженый с невыразимой тоской, вызывающей издевательское хихиканье учеников, смотрел вслед Нине Петровне. Почувствовав на себе его взгляд, она обернулась, пожала плечами и, усмехнувшись, пошла дальше.

– Контуженый! – крикнули из четвертого “А”.

– Тили-тили тесто! – присовокупил кто-то из наших.

– На месте-е! Стой! Раз, два! – зло командовал Контуженый.

Все приставили ногу, кроме ленинградца Асафьева, дистрофичного длиннолицего подростка.

Стоя на месте, он продолжал топтать по

снегу огромными валенками. Валенки у него были разного цвета – один черный, а другой серый. Мы захохотали.

Контуженый оскалился, махнул рукой и крикнул:

– Стой! Стой, была команда. Оглох, что ли?!

Асафьев перестал топтать и посмотрел на военрука своими прозрачными глазами.

На снегу лежало несколько матов. Старик в защитного цвета ватнике положил на каждый из них по мелкокалиберной винтовке и протянул военруку коробочку с патронами.

Группа из пяти человек выстроилась спиной к матам, и Контуженый крикнул:

– Кру... гом! Раз, два!

Все повернулись лицом к расклеенным в пятидесяти метрах мишеням. Только Асафьев повернулся вокруг собственной оси и, вернувшись в прежнее положение, посмотрел в глаза военруку.

– Кругом была команда! – сказал тот.

– Я и повернулся кругом, – тихо ответил Асафьев.

– Устав строевой службы проходил? Проходил или нет?!

Асафьев пожал плечами и сказал:

– Кругом по-русски означает кругом, именно то, что я и сделал. Поворот кругом, как мне кажется, означает поворот на 360 градусов...

– Каких еще градусов?! Кажется ему! Круу... гом!!!

Асафьев повернулся вокруг себя и снова оказался лицом к лицу с Контуженым. Снова все захохотали. Военрук побледнел, сжал кулаки и опустил голову.

– На огневые позиции – марш! – сказал он тихо.

Ребята стали укладываться на маты. Асафьев не трогался с места.

– Я тебя за родителями отправлю... – подойдя к нему вплотную, сказал Контуженый.

– За какими родителями? – у мальчишки показались слезы.

– За такими, какими надо!

– Что за огневая позиция? Не понимаю... – еле слышно сказал Асафьев.

– А ну, ложись на мат! – вдруг дернув шей и побагровев заорал военрук. – Огневая позиция – это... это огневая позиция, понял?!

Асафьев лег на мат и взял винтовку.

Военрук отвернулся.

– Егоров! – вдруг вызвал он.

– Здесь! – вскочив с мата, ответил Егоров.

– А меня не интересует, что ты здесь.

– А не интересует, так зачем же тогда вызываться – спросил Асафьев.

Военрук и глазом не моргнул.

– Ложись! – снова приказал он Егорову.

– Положено говорить “я”, а не “здесь”, понял? – И выкрикнул снова: – Егоров!

– Я! – снова вскочив на ноги, ответил Егоров.

– Определи основные части мелкори... мельколь... винтовки ТОЗ номер 8.

– Приклад...

– Ну.

– Дуло...

– Сам ты дуло.

– А чего же тогда? Дуло... – упрямо повторил Егоров. – Дуло...

– Какое же такое дуло?

– А что же тогда такое дуло? – спросил я с места.

– Дуло это дуло, понял?

– А я и говорил, что дуло, – промямлил Егоров.

Военрук только рукой махнул.

Каждый получил по пять патронов. Я уперся локтями и стал целиться. Мушка прыгала, и черная мишень плавала за ней мутным пятном. Мы сделали по пять выстрелов.

Контуженый снял со стенки мишени и подошел к нам. Внимательно просмотрев их, он поморщился, порвал все, кроме одной, в клочки и бросил на снег.

– Если бы на фронте мы вот так стреляли... – начал было он.

– ...то вам бы не сделали дырку в голове, – спокойно закончил Асафьев.

Ребята затихли. Контуженый вдруг улыбнулся.

– Это точно... – Он расправил оставшуюся непорванной мишень и посмотрел на меня. – Молодчик! – похвалил он. – Сорок девять из пятидесяти возможных очков. – А вы – мазло, – пренебрежительно бросил он остальным. – Вот ты, ты куда стрелял? Я видел, думаешь, не видел? – обратился он к Репейкину, до ужаса рыжему малому.

– Ты вверх стрелял! За это... за это знаешь, что тебе?..

– А чего я сделал? – пробормотал провинившийся.

– Как это чего?!

– Там ведь нет никого.

– А если бы был?

– Где? Там ведь деревья...

– А если бы кто-нибудь залез на дерево?

Мы посмотрели на верхушки голых берез с пустыми гнездами и захихикали.

– Мазло... – ухмыльнулся военрук, вырвал у меня из рук малокалиберку, лихо выбросил затвором стреляную гильзу и перезарядил. Потом поднял голову, вскинул винтовку и выстрелил. На снег, трепыхаясь, упала подбитая галка. Все в восхищении замерли.

– Вот так... Понял? – удовлетворенно сказал он.

Контуженый вынул из кармана шинели чуть смятые бумажки-мишени и пошел к стенке.

Не ожидая команды “На огневые позиции – марш”, я, дурашливо-разгоряченный похвалой, упал на маты и поэтому дальнейшее видел с уровня земли, отчего все показалось мне особенно неожиданным, опасным и нелепым.

В руке Асафьева мелькнула темно-зеленая нарезная граната-“лимонка”. Через секунду она была уже у кого-то другого... Казалось, что не ребята отнимали ее друг у друга, а она сама скачет, как живая, от одного к другому.

Военрук скорее услышал или догадался, чем увидел, что происходит за его спиной.

Он поймал взглядом гранату в тот момент, когда Асафьев сдернул с нее кольцо и сунул в руку анемичному Зыкину, который, пораженный испугом, сжимал ее изо всех сил, зачем-то прижав к животу.

– Бросай! – надрывно, хрипло крикнул Контуженый и прыгнул в сторону, надеясь успеть вырвать у него “лимонку”.

Зыкин не бросил, а скорее выронил гранату, и она покатилась к стенке.

– Ложись!!! В угол!!! На землю! – услышал я дикий крик военрука и почувствовал, как надо мной пронеслось его тело, задев лицо полой колючей шинели.

Мгновение была тошнотворная темнота и лезущий в горло частый-частый стук сердца. Потом я услышал короткий, похожий на девичье хихиканье смех и открыл глаза. Во-

енрук лежал, вдавившись телом в угол между стенкой с мишенями и землей.

В его позе было такое напряжение, будто он не закрывал собой гранату, а душил кого-то живого и сильного.

– Она же без запала, – тонким заикающимся голосом сказал Асафьев. – Разбиться надо.

Ребята снова захихикали, нестройно и выжидательно.

Контуженый приподнялся и посмотрел на Асафьева. От прыжка у него слетела шапка и целлулоидная чапашка. Не без настороженного интереса ребята смотрели на розовую выемку за левым виском, где пульсировала нежная кожа.

– А еще... пионер, – беззлобно сказал военрук и отвернулся, ища шапку. Было так тихо, что мы слышали каждый тяжелый и хрипящий вздох Контуженого. Говорили, что все легкие у него порезаны осколками.

Асафьев поднялся, резко повернулся в своих нелепых валенках и направился в сторону выхода.

Он шел по городу медленно, как человек, знающий цену затраченному на каждый шаг усилию. В канун Нового года в Юрьевце выпало столько снега, что по городу было почти невозможно ходить... По улицам в разных направлениях медленно двигались люди, неся на коромыслах ведра, полные черного пенистого пива. Асафьев с трудом расходился с ними на узких, протоптанных в снегу тропинках и не слышал, как они поздравляли друг друга с наступающим праздником. Никакого вина в продаже, конечно, не было, но зато в городе был пивной завод, и по праздникам жителям разрешалось покупать пиво в неограниченном количестве.

Через некоторое время его силуэт мелькнул у ограды Симоновской церкви, что стояла посреди пологого холма. Асафьев карабкался к его вершине. Там он остановился – дальше подниматься было некуда. И незачем. В трудности этого подъема не было для него избавления от стыда и горя.

В слезах, наполнявших его глаза, городок двоился и размывался. Дальше, за рекой, немногочисленные ориентиры заснеженной русской равнины отодвигались до неразличимости, и весь этот декабрьский предсумеречный мир казался Асафьеву сейчас долиной ожесточения, безвыходности и возмездия.



Кадр из фильма. Контуженый – Ю.Назаров.



Птицы, символизирующие жизнь и смерть – излюбленный прием А.Тарковского.

Мне с удивительной постоянностью снится один и тот же сон. Будто память моя старается напомнить о самом главном и толкает меня на то, чтобы я непременно вернулся в те, до горечи дорогие мне места, где я не был вот уже более двадцати лет. Мне снится, что я иду по Завражью, мимо березовой рощи, покосившейся, брошенной бани, мимо старой церковки с облупленной штукатуркой, в дверном проеме которой видны ржавые мешки с известью и поломанные колхозные весы. И среди высоких берез я вижу двухэтажный деревянный дом. Дом, в котором я родился и где мой дед Николай Матвеевич – принимал меня на покрытом крахмальной скатертью обеденном столе сорок лет тому назад. И сон этот настолько убедителен и достоверен, что кажется реальнее яви.

Вы верите в то, что снова может начаться война?

Я знаю, Вы любите музыку. Скажите, пожалуйста, она Вам когда-нибудь вот так, реально что ли, помогла? Следите ли Вы за мелодией, за движением музыкальной ткани, или

Вы скорее относитесь к тем людям, которые просто забываются в концертном зале?

Вы умеете ненавидеть? Помните ли Вы зло? Если бы Вам дано было выполнение одного желания, было бы возможно, что это – МЕСТЬ?

Вы любите ходить в кино? Легко Вы верите в происходящее на экране?

Какой период в своей жизни Вы считаете счастливым? Вы вообще считаете себя счастливым человеком?

Меня поразила трамвай: красный, почти пустой, с открытыми окнами, под которыми было написано "не высовываться", он мчался по Бульварному кольцу. Напротив меня сидела мать, держа на руках спящую сестру.

Был сорок третий год. Мы возвращались в Москву.

Я вернулся в этот город. Там, в эвакуации, мне казалось, что я помнил, какой он. Теперь я сидел, растерянно-счастливый, и хотя видел и мелькающие за окном дома, и противотанковые ежи на улицах, оставшиеся с сорок первого года, и пирамиды разряженных зажигалок, и зелень деревьев



в окнах трамвая, все равно я еще себя чувствовал здесь чужим.

Я осторожно встал и подошел к противоположному окну. Перед моими глазами летела сплошная стена зелени. У меня закружилась голова. Я закрыл глаза и вдруг почувствовал, что очень хочу есть. Чтобы не думать о еде, я вытянул из окна руку и схватился за ветку. Вырвавшись, она больно обожгла мне руку, а на ладони остались грязные следы и несколько серых листьев. Я посмотрел на них и увидел, — что листья не такие, как там, в Юрьевце. Тогда я понял, почему мне плохо. Воздух! Здесь он был плотный, как поднимающаяся пыль, освещенная солнцем.

И я серьезно подумал, что, наверное, никогда не смогу жить в Москве, потому что задохнусь.

Тут я почувствовал, как по мне, около уха, что-то ползает. Я быстро взглянул на мать, зная, как она будет расстроена, если увидит. Но она сидела задумавшись и не смотрела в мою сторону.

Я провел рукой за ухом, поймал и некоторое время не знал, что с этим делать. А потом незаметно выбросил в окно. И листья,

которые держал в другой руке, тоже выбросил.

Затем встал, тихо подошел сзади к матери и увидел, как ее легкие светлые волосы чуть развеваются от движения воздуха. Я осторожно дунул на них...

— Мы домой сейчас поедем? — спросил я.

— Нет, к Марии Георгиевне. Ты же знаешь, в нашей комнате еще живут.

Хорошо, что мать ничего не видела. Ведь там, в Юрьевце, обычно говорили: "Вши-то ведь от тоски заводятся".

Трамвай остановился, и мать очень заторопилась.

— Возьми сумку, — сказала она мне, а сама, держа одной рукой сестру, другой подняла чемодан и показала мне глазами, чтобы я взял еще оставшийся узел.

Трамвай задержался, и пока мы выходили, водитель внимательно смотрел на нас. Это был очень старый человек.

У Вас есть любимый цвет? А цвет одежды, который Вам больше всего идет?

Вы хорошо плаваете? Вам бы хоте-



Кадр из фильма. Олег Янковский в роли отца.

лось сейчас уехать на несколько месяцев на море? Где было бы мало народу и Вы могли бы ни о чем не думать? Ну, представьте, что это возможно. С кем бы Вы поехали?

В каком возрасте Вы в первый раз помните себя?

В какой стране Вам бы больше всего хотелось побывать? Есть ли у Вас такие места в каком-нибудь городе за границей, которые Вы знаете по книгам, очень точно себе представляете? Вам бы хотелось самой пройтись по нему? По его площадям, по улицам?

Вы когда-нибудь испытывали унижение, которое, как Вам тогда казалось, Вы не сможете перенести?

Скажите, Вы считаете себя добрым человеком? А другие? А Ваши дети как считают? Вы были близки с ними в детстве или когда они выросли?

Какое время года Вы любите больше других?

Вы часто видите сны? Расскажите, пожалуйста, один из снов, который произвел на Вас неизгладимое впечатление.

Кого из близких Вам людей, или исторических личностей, или литературных героинь Вы считаете для себя идеалом женщины?

Как Вы думаете, смогли бы Вы выжить вместе с детьми в блокадном Ленинграде?

Вы помните тот день, когда Вы поняли, что станете матерью? Расскажите о нем.

Вы мнительны?

Я поднял голову и увидел, как верхушки деревьев раскачиваются от слабого ветра.

Родные березы, ели – не лес и не роща – просто отдельные деревья вокруг дачи, на которой мы жили осенью сорок четвертого года.

Я смотрел вверх и думал: “Почему же здесь, внизу, так тихо?” Мне хотелось залезть на березу и покачаться там, на ветру. Я представил себе, как оттуда, наверное, хорошо видно железную дорогу, станцию и дальний лес за водокачкой.

С самого утра мне было не по себе. Целый день я ходил какой-то оцепенелый, и мать спросила:

– Ты чего сегодня такой?

– Какой “такой”?

Я пожал плечами, потому что я, действительно, не знал, почему я сегодня “такой”.

И вот теперь мать буквально выгнала нас с дачи собирать сморчки. Сестра отчего-то веселилась, бегала неподалеку и то и дело кричала: “Смотри, я еще нашла!..” В другое время меня бы это задело, а сейчас я только кивал головой, когда она издали показывала мне очередной найденный ею гриб.

Я бесцельно бродил среди деревьев, потом наткнулся на лужу, наполненную талой водой. На дне, среди коричневых листьев, почему-то лежала монета. Я наклонился, чтобы достать ее, но сестра именно в это время решила испугать меня и с криком выскочила из-за дерева. Я рассердился, хотел стукнуть ее, но в то же мгновение услышал мужской, знакомый и неповторимый, голос:

– Марина-а-а!

И в ту же секунду мы уже мчались в сторону дома. Я бежал со всех ног, потом в груди у меня что-то прорвалось, я споткнулся, чуть не упал, и из глаз моих хлынули слезы.

Все ближе и ближе я видел его глаза, его черные волосы, его очень худое лицо, его офицерскую форму, его руки, которые обхватили нас. Он прижал нас к себе, и мы плакали теперь все втроем, прижавшись как можно ближе друг к другу, и я только чувствовал, как немеют мои пальцы – с такой силой я вцепился в его гимнастерку.

– Ты насовсем?.. Да?.. Насовсем?.. – захлебываясь, бормотала сестра, а я только крепко-крепко держался за отцовское плечо и не мог говорить.

Неожиданно отец оглянулся и выпрямился. В нескольких шагах от нас стояла мать. Она смотрела на отца, и на лице ее было написано такое страдание и счастье, что я невольно зажмурился.

Я навсегда запомнил слова Леонардо, которые читал мне отец. Отец, видевший страшные битвы на открытых полях, покрытых взрытым и закопченным снегом, горы трупов, танковые атаки и артиллерийские обстрелы.

Не забыть нам и сгоревших городов, и испепеленных деревень. И солдат, расставшихся с жизнью на мертвых полях войны, для того чтобы вражеские руки не коснулись нас.



Кадр из фильма. Хроника.

Мы помним и победы, добытые кровавым потом на опрокинутых полях, и вздыбившуюся землю, стоившую сотен человеческих жизней на каждый квадратный метр.

И вспоминая о потерях, о тяжести преодоления смерти ради победы, думая об исстрадавшейся земле, о цене нашей свободы, мы не можем не обернуться, чтобы взглянуть назад, ради радостного чувства узнавания истоков величия нашего свободолюбия.

К концу ночи выносливый, втоптаный в грязь ковыль распрявился. Островки его в бескрайнем Куликовом поле вздрагивали не от ветра, а от слабости выздоровления.

Туман над Доном оцепенел в его пойме и не мог ни двинуться, ни колыхнуться.

Стон – этот уставший за ночь крик, – напоминая эхо, доносился с разных сторон и, казалось, исходил не от людей.

– Пошла, – ткнул в морду низкой татарской лошади русоголовый, очень молодой парень в рассеченной поперек спины рубахе. – Лезет к чужим, не боится. Одурела, небось, от вчерашнего.

– Будя болтать, ищи! – оборвал его, не оборачиваясь, старый и нагнулся, чтобы отбросить тело мертвого ордынца, навалившегося на грудь богато одетого дружинника.

– Димитрий Иоаннович! – неслось над сумеречным полем. – Князь!

– Гляди! – показал старшой.

Из-под груды тел виднелся шитый серебром белый пояс. Они молча растащили убитых и, приподняв князя, положили его на импровизированные носилки из копий, покрытых плащами. Подбежало еще трое. Князя понесли на холм.

Парень, отстав от остальных, подошел к берегу, не спеша снял шлем и, став на колени, зачерпнул воды из Дона. Но тут же с отвращением выплеснул ее обратно. Вода была темна от вчерашней битвы.

На холме под черным с серебряным шитьем Спасом – княжеской хоругвью – стоял Димитрий, поддерживаемый дружинниками...

...По полю верхом не спеша ехал татарин. Его лошадь в тишине предрассветной

мглы вдруг вскинулась от внезапного звука рога, ша-рахнулась в сторону и понеслась вдоль реки, навстречу встающему солнцу...

Татарин, давно уже мертвый, убитый еще в самом начале боя, начал заваливаться на сторону, и стало видно, что из спины у него торчит стрела. Он рухнул на землю, а лошадь, освободившись от своего бессмысленного груза, неслась и неслась все дальше, в степь.

Уже не один, а десяток рогов трубили над Куликовым полем, призывая всех, кто чувствовал себя в живых, встать и идти под знамя князя Димитрия. Пора было возвращаться домой.

Изменилась война – теперь достаточно маленького осколка, прилипающего к телу жидкого пламени напалма, радиоактивной пыли, чтобы убить человека. В те времена война была прямодушнее и скорее напоминала работу мясника. Но разве цена человеческой жизни стала с тех пор ниже? Разве не за нашу свободу и будущее бились

в отваге и смертной тоске эти мужчины и парни, что делают сейчас свои первые шаги на рассвете?

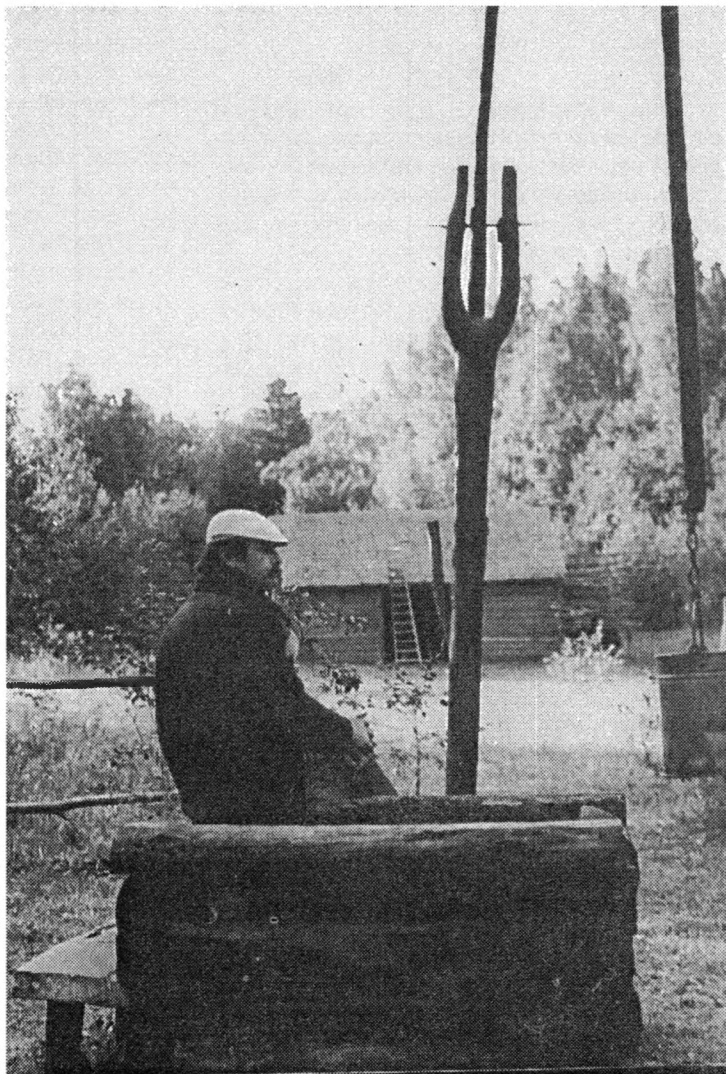
Как Вы относитесь к полетам в космос?

Ваш внук учится в школе? Есть ли у Вас претензии к нему? Какие именно?

Есть ли люди, которые сделали Вам добро? Благодарны ли Вы им и за что именно?

А есть ли люди, сделавшие добро Вашим детям? Кто именно?

Какие качества Вы больше всего



Андрей Тарковский

цените в людях и почему? Какие качества осуждаете, но готовы простить?

Как Вы относитесь к эгоизму?

Что Вы цените в современной молодежи?

Есть ли у Вас в характере странности, которые трудно объяснить? Какие именно?

Самый смешной случай в Вашей жизни?

Почему Вы не назвали своего сына другим именем? Было ли у Вас желание назвать его иначе?

Скажите, пожалуйста, у Вас были

какие-либо осложнения на работе?

Любите ли Вы Баха?

Мне часто снится этот сон. Он повторяется почти буквально, разве что с самыми несущественными вариациями. Просто лишь дом, где я родился, я вижу поразному: и в солнце, и в пасмурную погоду, и зимой, и летом...

Я привык к этому. И теперь, когда мне снятся бревенчатые стены, потемневшие от времени, и белые наличники, и полуоткрытая дверь с крыльца в темноту сеней, я уже во сне знаю, что мне это только снится, и непосильная радость возвращения на родину омрачается ожиданием пробуждения. Но когда я подхожу к крыльцу по шуршащей под ногами листве, чувство реальной тоски по возвращению побеждает, и пробуждение всегда печально и неожиданно...

Какое качество Вы считаете главным в человеке? Или какое больше всего цените?

Вам никогда не казалось, что у Вас вызывают раздражение талантливые люди? Вы хотели бы быть поэтой такого уровня, как Цветаева или Ахматова? Кто из них Вам ближе?

Что Вы думаете о войне во Вьетнаме?

Вам не кажется, что Вы не всегда понимаете, какие вопросы волнуют сегодняшнюю молодежь? Не кажется ли Вам, что Вы отстали и Вас не волнуют проблемы, которые она ставит перед собой?

Расскажите, пожалуйста, все, что Вы помните о Завражье. Что это было за место?

Было раннее холодное утро.

В эту первую послевоенную осень, пока мать еще не устроилась на работу, она часто приходила сюда, на этот маленький, почти в самом центре города, рынок. Тогда почему-то цветы не разрешали продавать даже на рынках. Да и какие тогда были цветы! Не то что сейчас, когда их везут с юга вагонами и самолетами.

Перед воротами рынка, в узком переулке, застроенном старыми, невысокими до-

мами, стояли женщины и продавали поздние вялые астры и крашенный ковыль. Нельзя сказать, чтобы торговля шла бойко – не то было время.

Среди этих женщин, приехавших из-за города, стояла и моя мать. В руках у нее была корзинка, накрытая холстиной. Она вынимала из нее аккуратно связанные букеты "овсюка" и так же, как остальные, ждала покупателя. Я представляю, как она смотрела на людей, шедших на рынок. В ее глазах был вызов, который должен был означать, что она-то здесь случайно, и нетерпеливое желание как можно быстрее распродать свой товар и уйти.

Пожилой человек с бородкой и в длинном светлом пальто подошел к ней, взял цветы и, почти виновато сунув ей деньги, торопливо пошел дальше. Мать на секунду опустила голову, спрятала деньги в карман и вытащила из корзины следующий пучок.

Из ворот рынка вышел худой милиционер и остановился, начальственно поглядев по сторонам. Женщины с цветами бросились за угол. Одна мать оставалась стоять на прежнем месте, и весь вид ее говорил, что вся эта паника, вызванная появлением милиционера, ее не касается.

Она полезла в карман за папиросой, но никак не могла найти спичек. Милиционер подошел к ней, откинул холстину и, увидев цветы, сказал хриплым голосом:

– А ну давай... Давайте отсюда...

– Пожалуйста...

Мать иронически усмехнулась, пожалала плечами и отошла в сторону. В этом ее движении было что-то и очень независимое, и в то же время жалкое. Извинившись, она прикурила у прохожего и глубоко затянулась. Закашлялась. Надо было дождаться, пока милиционер уйдет.

В вагоне было темно и стояла такая духота, что, несмотря на открытые окна, у меня кружилась голова и перед глазами плавали радужные круги. Мы с матерью стояли в проходе, а Антонина Александровна с моей сестрой сидели у окна, притиснутые огромным человеком с потным лицом.

Поезд с грохотом проносился мимо запыленных полустанков, пакгаузов и дымящихся свалок, огороженных колючей проволокой.

Потом пошли леса. Но даже это не при-

носило облегчения, и вагонные сквозняки лишь усиливали во мне сосущую тошноту. В вагоне кричали, смеялись, пели. Сквозь шум и грохот поезда было слышно, как в дальнем конце вагона кто-то с тупой настойчивостью терзал гармошку. У меня потемнело в глазах, и я почувствовал, что бледнею. В этот момент я словно увидел себя со стороны и поразился своему внезапно позеленевшему лицу и провалившимся щекам. Мать вопросительно взглянула на меня.

– Тошнит что-то... Я пойду в тамбур... – пробормотал я и стал протискиваться по забитому проходу.

Мать двинулась за мной. У меня тряслись колени, ноги были как ватные, я ничего не видел вокруг и из последних сил рвался к спасительной площадке. “Только бы не упасть, – думал я. – Только бы не упасть”.

Потом я стоял на верхней ступеньке подножки, придерживаясь за поручень. Мать сзади держала меня за ремень.

Поезд мчался вдоль зеленого склона с выложенной белым кирпичом надписью: “Наше дело правое – мы победим”.

Я подставлял лицо ветру и, стараясь глубоко дышать, понемногу приходил в себя.

– Чего ж это он? – услышал я позади сочувственный женский голос. Мать что-то ответила. Отдышавшись, я повернулся к ней и попытался улыбнуться.

– Ничего, нам скоро выходить, – сказала она.

– Ну-ка, на, выпей, – услышал я тот же голос.

Пожилая женщина, одетая, несмотря на жару, в ватник и резиновые сапоги, наклонилась над большим бидоном и налила в крышку молока. Я посмотрел на мать. Она



Кадр из фильма.

кивнула и отвернулась.

– Спасибо, – сказал я бабе в резиновых сапогах и, стараясь не расплескать молоко, принял из ее рук глубокую жестяную крышку. Пока я пил, она весело смотрела на меня. Мать повернулась и пошла обратно в вагон.

– Мы сейчас... Я пойду за нашими...

Когда поезд ушел, мы долго стояли на деревянной платформе и слушали, как замирает вдали его грохот.

Потом наступила оглушительная тишина, и в мои легкие ворвался пахнущий смолой чистый кислород.

В поле было прохладно. На глинистой дороге стояли глубокие желтые лужи. Солнце светило сквозь легкие прозрачные облака. В сухой траве тихонько посвистывал ветер.

Мы бродили по неровному пару, изрытому кротовыми норами, и собирали "овсюки" – метелочки, похожие на овес, коричневого цвета и покрытые мягкими шелковистыми ворсинками. Каждый раз, собрав несколько небольших пышных букетиков, я, как учила мать, перевязывал их длинными травинками и складывал в корзину. Хоть я и знал, для чего предназначаются эти "букеты", я сказал матери, которая с охапкой "овсюка" шла в мою сторону, время от времени наклоняясь за особо красивыми экземплярами:

– Ма, может, хватит... Ходим, ходим, собираем, собираем... Ну их!..

– Ты что, устал? – не глядя на меня, спросила мать.

– Надоело уж... Ну их!

– Ах тебе надоело? А мне не надоело...

– Не надоело – вот и собирай сама свои "овсюги". Не буду я!

– Ах не будешь?

Мать изменилась в лице, на глазах ее выступили слезы, и она наотмашь ударила меня по лицу. Вспыхнув, я оглянулся.

Сестра ничего не заметила.

Тогда я пошел на самую середину поля... Щека моя горела. Я поднял с земли палку и, чтобы отвлечься, стал разрыть рыхлый холмик над норой, чтобы проследить подземные ходы, вырытые кротом.

Издали я видел, как сестра, Антонина Александровна и мать медленно ходили взад и вперед, то и дело нагибаясь за этими проклятыми "овсюками".

Вы когда-нибудь били своих детей? Нет, конечно, я не говорю о каширинских экзекуциях, но вот так, когда люди не могут выдержать и дают своим детям пощечину?

Расскажите, пожалуйста, без всякой связи, о лучших днях в детстве. Снятся ли Вам сейчас какие-нибудь минуты того времени?

Вы не находите, что в каждом возрасте есть своя красота, неповторимость и что старость, например, не так уж печальна, неинтересна и

безрадостна, если это старость сильного и цельного человека?

Вы не считаете, что любовь – это цель и высшая точка жизни, а все остальное – это или подъем к этой вершине, или спуск с нее?

Вы когда-нибудь рассказывали кому-нибудь из своих детей о своей любви? О том, что Вы называете любовью? С кем Вам легче разговаривать о таких вещах? С ними или с чужими людьми?

Умеете ли Вы прощать? В больших вещах или в малых? Легко ли Вы расстаетесь с людьми?

Она спит на расшатанной кровати с подзором до самого пола. Лицо ее покрыто веснушками, рыжие волосы сбиты на сторону. Она часто дышит и время от времени вздрагивает во сне. Руки ее спокойны и легки. В избе темно, но я уже давно не сплю, и глаза мои привыкли к сумеречной дымной темноте.

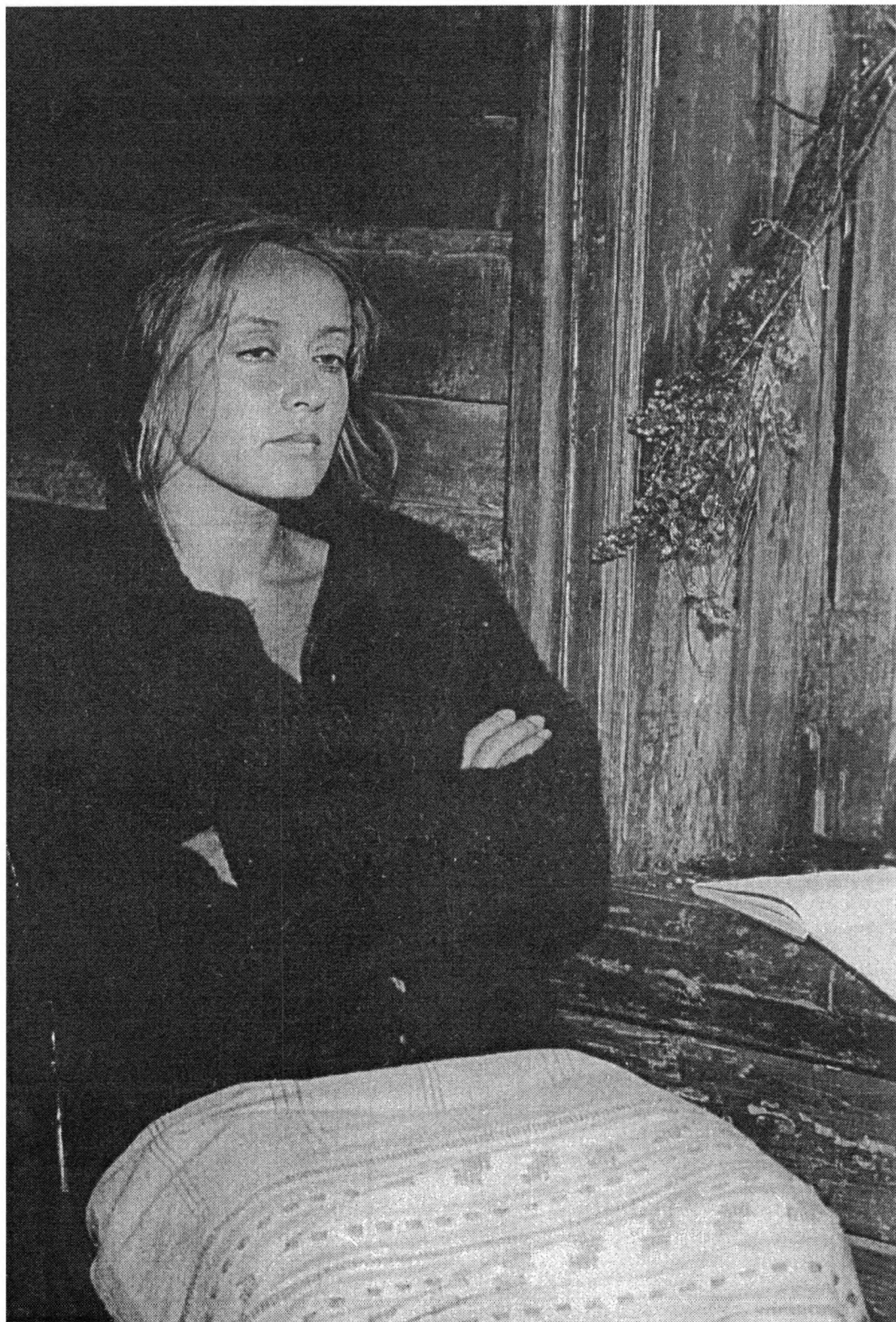
Мимо деревни, где мы живем, петляет узенькая речушка, заросшая ольхой, и туман, поднимающийся над ней, сливается с белым гречишным полем за низиной, по которой она протекает.

За окнами ни звука. И тишина эта вызывает тихое и радостное чувство. Лицо ее, осунувшееся от забот, бледно, под глазами морщинки, которые ее старят и делают беззащитной и до боли дорогой. Темнота лежит на ее лице, и кажется, что даже во сне она прислушивается к враждебной тишине чужого дома и несет свою тяжелую неблагоприятную судьбу – охраняет меня от опасностей, которые, как ей кажется, подстерегают меня на каждом шагу.

Мне чудятся голоса:

"...Босоножку и мовешку надо сперва-наперво удивить – вот как надо за нее браться. А ты не знал? Удивить ее надо до восхищения, до пронзения, до стыда, что в такую чернявку, как она, такой барин влюбился. Истинно славно, что всегда есть и будут хамы да баре на свете, всегда тогда будет и такая поломоечка, и всегда ее господин, а ведь того только и надо для счастья жизни!.."

Слова размеренные, редкие, то неестественно растягиваются во времени, то становятся отчетливыми и неприятными...





Андрей Тарковский в 1948 г.

“...Постой, слушай, Алешка, я твою мать покойницу все удивлял, только в другом выходило роде. Никогда, бывало, ее не ласкаю, а вдруг, как минутка-то наступит, вдруг перед ней так весь и рассыплюсь, на коленях ползаю, ножки целую и доведу ее, всегда помню это вот как сейчас, – до этакого маленького такого смешка, рассыпчатого, звонкого, негромкого, нервного, особенно-го. У ней только он и был...”

Трудно отделить в своей памяти, что ты пережил, что сочинил, а что прочел в книгах, и поэтому, когда я вдруг слышу хриплый и скверный голос старика Карамазова, я уже не могу отличить, что именно я вспоминаю – выдуманное, прочитанное или подслушанное.

“...Знаю, бывало, что так у нее всегда болезнь начиналась, что завтра уж она кли-

кушей выкликивать начнет, и что смешок этот теперешний, маленький, никакого восторга не означает, ну, да ведь ложь и обман, да восторг. Вот оно что значит, свою черточку во всем уметь находить!.. Но, вот тебе Бог, Алеша, не обижал я никогда мою кликушечку! Раз только разве один, еще в первый год: молилась уж тогда она очень, особенно богородичные праздники наблюдала, и меня тогда от себя в кабинет гнала. Думаю, дай-ка выбью из нее я эту мистику! “Видишь, говорю, видишь вот твой образ, вот он, вот я его сниму: смотри-ка, ты его, за чудотворный считаешь, а я вот сейчас на него при тебе плюну, и мне ничего за это не будет!..” Как она увидела, Господи, думаю: убьет она меня теперь, а она только вскочила, всплеснула руками, потом вдруг закрыла руками лицо, вся затряслась и пала на пол... так и опустилась... “Алеша, Алеша! Что с тобой, что с тобой!”

Она вдруг начинает плакать во сне, как будто слышит то, что слышу я. Сначала

беззвучно, а потом взахлеб, сотрясаясь всем телом, и, вскочив на кровати, горько и отчаянно рыдает, придерживая себя то за щеки, то за горло, чтобы было легче дышать. Затем она просыпается.

– Какой я сон видела! Ой, я видела такой плохой сон!

Я успокаиваю ее, с трудом засыпаю и тоже вижу сон.

Будто я сижу перед большим зеркалом, рама которого растворяется в темноте, незаметно переходит в бревенчатые стены... Лица своего я не вижу. А сердце мое полно тоски и страха перед совершившейся неправимой бедой.

Зачем я это сделал, для чего, зачем так бессмысленно и бездарно я разрушил то, ради чего жил, не испытывая ни горя, ни угрызения совести? Кто требовал от меня

этого, кто попустительствовал этому? Для чего это? Зачем эта беда?

Пространство, отраженное в зеркале, освещено свечным светом. Я поднимаю голову и вижу в теплом золотистом стекле чужое лицо. Молодое, красивое в своей наглой и прямодушной глупости, с пристальными светлыми глазами и расширенными зрачками. Оглянувшись, я вижу в стороне того, другого, того, с кем я поменялся своим лицом. Он стоит, спокойно прислонившись плечом к стене, и не глядит в мою сторону. Он рассматривает свои руки, затем сглотывает палец и пытается оттереть чем-то испачканную ладонь. И у него мое лицо.

Зачем я это сделал?! Теперь уже ведь ничего не вернешь! Уже поздно, слишком поздно! Пусть мое, то есть теперь уже его лицо, не так уж и красиво, немолодо, асимметрично, но все же это мое лицо. И не такое уже оно глупое, даже наоборот, скорее оно умное, это старое, перепроданное и ненавистное мне лицо.

Зачем я это сделал? Зачем?

Когда я проснулся, было уже светло. В горнице никого не было, только хозяйка за стеной громыхала ухватками.

– Слышь, милый, я в церкву пошла, спешу, а покушать здесь под полотенцем. Мух чего-то нынче... Блинов спекла, ты кушай, а то твои все уж на работу побежали к речке.

– Это по какому же поводу блины-то? – спросил я.

– Дык ведь сегодня шестое по-старому. Преображение. Слыхал про праздники-то?

Кого Вы больше любите? Своих внуков или детей, когда они были детьми?

До того, как у Вас родился первый ребенок, Вы любили детей? И хотели их иметь?

Был ли в Вашей жизни такой человек, с которым Вам хотелось бы сойтись ближе, но по тем или иным причинам этого не произошло? Кто он – мужчина или женщина?

Хочется ли Вам прожить жизнь за-

ново? И так ли Вы ее прожили? Не жалеете ли Вы о поступках, которые определили дальнейшую Вашу жизнь?

Скажите, пожалуйста, Вы часто вспоминаете о своей матери? Или об отце? И вообще о своем детстве?

Если бы, как в сказке, исполнились три Ваших желания, чего бы Вы попросили? А для себя?

Что Вы помните о войне в Испании?

Они говорили одновременно, так что трудно было разобрать отдельные слова. Было это летом, в открытом кафе на перекрестке Столешникова переулка и Петровки. Четверо мужчин и одна женщина – испанцы.

Среди водоворота летней толпы, жары, приезжих, атакующих магазины, в углу маленькой площади под тентом сидели сорокалетние люди в темных костюмах. Перед ними стояла начатая бутылка красного вина и маслины. Двое мужчин, перебивая друг друга, рассказывали о своей недавней поездке в Испанию.

– Мы с ним поспорили... Я ведь точно помню – здесь была католическая школа, а напротив дом тети Анхели. Я же помню...

– Ты говорил, что справа был гараж... А там нет никакого гаража.

– Мы входим... четырнадцать ступеней налево. Почему-то их шестнадцать.

– Открывают совсем незнакомые люди.

– Хулио, это же ее племянник! Она совсем слепая стала, не может жить одна. Бог мой, она узнала меня! Понимаете, она узнала меня. По голосу. А как можно узнать по голосу, я уезжал – мне было двенадцать лет.

– Знаете, равиоли, это оказывается вроде наших пельменей...

– Дяди Алонсо уже нет... Игнасио умер в прошлом году... О, вы бы посмотрели на моих внуков! Да, да, внуки. У меня был двоюродный брат, он теперь работает в Гамбурге, он гораздо старше меня, так у него уже внуки, значит они и мне тоже внуки... Бернардико... Томас...

– Обычный свет, знаешь, в проеме улиц,

он совсем другой. Лимонный какой-то... У меня в Бильбао никого не осталось, вы же знаете... Один дедушка – боже мой, у него табачная лавка, так он смотрит на меня, как на нищего. Сам звал и сам же боится написать на меня завещание. Вы бы посмотрели на него – это просто разбойник. Хотя ему уже девяносто лет. А старухи так и сидят перед дверями на табуретках. Единственное ласковое слово в нашем доме я услышал от старухи Аррилагой. “Вы будете похожи на свою мамашу, располнеете к сорока годам...” А мне уже сорок шесть.

– Нет, сейчас живут лучше. В общем, неплохо... туристы, немцы западные, американцы. Ты ведь знаешь, мы видели Гомеса, футболист, у него машина. Но я бы не смог так жить... Он подает мячи на тренировках, вроде как у нас мальчишки на “Динамо”...

– А вино... Разве это вино!.. Это Мытищинский плодоовощной комбинат. В Сан-Себастьяне в каждом кафе написано: “О политике не говорите, а когда уходите, платите...” Да, конечно, говорят... Видел, видел Долину Павших. Крест в полтора метра... Грандиозно выглядит. А в соборе, под мозаикой восемьдесят тысяч...

– Восемьдесят пять...

– Восемьдесят пять тысяч республиканцев.

– Там же не только республиканцы, но и мятежники, франкисты. Это вообще памятник гражданской войне.

– Но строили его политзаключенные. Как рабы. Десять лет строили...

– А Матео по-прежнему пишет там стихи для листовок. Говорят, он в подполье.

– Странное ощущение в первое утро. Еще не открыл глаза, а в уши лезет испанская речь. Только испанская... Все окна открыты, базарный день... И голоса, голоса... Так медленно, не торопясь, они идут на базар. Я уткнулся в подушку, чтобы не слышать, как будто ничего не было. Мне девятнадцать лет, мать пошла на базар за зеленью...

Женщина с распущенными волосами резко встала, отвернулась, замерла на секунду

и бросилась прочь из кафе. Один из мужчин побежал за ней.

– Лючия, Лючия! – кричал он, не обращая внимания на оборачивающихся людей. – Что с тобой?.. Ну, перестань, перестань. Ты думаешь, мне не хочется зареветь? Лючия!

Женщина уткнулась лицом в его плечо. Он был небольшого роста, лысоватый, и она рослая и красивая женщина.

– Мы не могли бы жить там, – продолжал он. – Это уже другое. Это, в общем-то, воспоминание... Ну давай поговорим, скажи что-нибудь, только не плачь... У нас дети, которых ничего не связывает с Испанией. Но мы здесь свободные люди, мы давали с тобой клятву, тогда, детьми... Помнишь?.. Что мы вернемся.

– Когда, когда? – смогла только выговорить Лючия.

– Ну хорошо, уезжай тогда в Мадрид, – вдруг закричал он. – Уезжай! Куда ты пошла?

Лючия решительно двинулась к очереди, ожидающей открытия мехового магазина.

– Куда ты мчишься как угорелая?

– Я заняла очередь. У Алонсо нет зимней шапки. Говорили, будут после обеда...

Некоторое время они стояли в толпе молча, потом Лючия тихо сказала, отвернувшись:

– Не могу... И уехать не могу, и...

– Но мы же поклялись... поклялись вернуться в Мадрид... В наш Мадрид... В наш...

Он произносил эти слова, как заклинание, не обращая ни к кому, кроме себя. Они звучали и как вопрос, и как суть смысла всей их жизни.

Не торопясь разворачивался к Одесскому причалу теплоход “Орджоникидзе”, испанские пионеры облепили поручни, окна, надстройки корабля. Марш интербригад звучал и на палубе, и на пристани. Никогда не затихающий марш...

И снова я иду мимо разрушенной баньки, мимо редких деревьев по Завражью. Все так же, как и всегда, когда мне снится мое



Мать Тарковского Мария Ивановна на съемках фильма "Зеркало".

возвращение. Но теперь я не один. Со мной моя мать. Мы медленно идем вдоль старых заборов, по знакомым мне с детства тропинкам. Вот и роща, в которой стоял дом. Но дома нет. Верхушки берез торчат из воды, затопившей все вокруг: и церковь, и флигель за домом моего детства, и сам дом.

Я раздеваюсь и прыгаю в воду. Мутный сумеречный свет опускается на неровное травянистое дно. Мои глаза привыкают к этой полумгле, и я постепенно начинаю различать в почти непрозрачной воде очертания знакомых предметов: стволы берез, белющих рядом с развалившимся забором, угол церкви, ее покосившийся купол без креста. А вот и дом...

Черные провалы окон, сорванная дверь, висящая на одной петле, рассыпавшаяся труба, кирпичи, лежащие на ободранной крыше. Я поднимаю голову и ищу поблескивающую поверхность воды и сквозь нее – тусклое сияние неяркого солнца. Надо мной проплывает дно лодки.

Я развожу руками, отталкиваюсь от подавленной под ногами проржавевшей крыши и всплываю на поверхность. В лодке сидит моя мать и смотрит на меня. И у нас обоих такое чувство, словно мы обмануты в самых своих верных и светлых надеждах. Неторопливая, трепетная радость возвращения медленно, словно кровь у смертельно раненного, вытекает из нашего сердца, уступая место горькой и тоскливой опустошенности.

До нас долетает низкий и хриплый гудок парохода...

Не стоило приезжать сюда. Никогда не возвращайтесь на развалины – будь то город, дом, где ты родился, или человек, с которым ты расстался. Когда построили Куйбышевскую ГЭС, Волга поднялась, и Завражье ушло навсегда под воду...

Помните ли Вы свой самый счастливый день? Расскажите о нем, пожалуйста. А самый печальный или странный?

Какова, по-вашему, цель искусства?

Какое Ваше самое любимое дерево? Почему?

Каким бы Вы хотели видеть своего сына? Вы желали бы ему другой судьбы?

Вы любите бокс? Наверняка Вы не любите драки, но был ли когда-нибудь в Вашей жизни такой случай, когда Вы сочли, что удар был нанесен справедливо и другого выхода не было?

Вы считали себя красивой в молодости? За Вами многие ухаживали? Завидовали ли Вы когда-нибудь красоте другой женщины? Как Вы относитесь к умным, незаурядным, но не красивым женщинам?

Не кажется ли Вам, что нравы сегодняшней молодежи слишком вольны?

Что бы Вы считали для себя сейчас самым большим несчастьем?

Считаете ли Вы, что “эмансипированная” женщина – это хорошо? Или плохо? Как Вы относитесь к мнению Толстого, что это губительно для существа женщины, ее отличности от мужчины?

Вы считаете себя общественным человеком? Не обязательно в смысле общественной работы. Что Вы подразумеваете под словом “народ”?

Как Вы соотноситесь с ним, что такое для Вас служить народу, быть его частью? Что для Вас болезненнее, труднее: горе народа или горе ваших близких?

Вы никогда не были на ипподроме?

Ипподром ревел...

До финиша оставалось не более тридцати метров, но лошади шли по-прежнему кучно. Жокеев в ярких разноцветных камзолах, приподнявшись на стремянах, “раскачивали” лошадей, и казалось, что еще секунда, и кто-нибудь из них с размаху опрокинется вперед. Немолодая женщина рядом со мной крикнула: “Бригадочка!”...

Я оглянулся – моя сестра, которой минуто назад все это было неинтересно, от воз-

буждения вскочила с места. Ее сын – худой, черноглазый мальчик – казался испуганным.

Вот-вот должен был ударить колокол. Я повернулся, чтобы узнать, кто же все-таки выиграет скачку, и неожиданно увидел мать. Она искала кого-то в толпе. Ее то и дело толкали в тесном проходе, но она не замечала этого и только испуганно отпрянула, когда какой-то парень чуть не сшиб ее с ног, неожиданно бросившись в сторону касс. Я невольно двинулся ей навстречу, но она уже увидела мою сестру и, решительно отстраняя людей, направилась в ее сторону. Я так и не увидел, кто выиграл скачку. Лошади, теперь уже сдерживаемые жокеями, пронеслись дальше, к повороту. Вокруг меня уже не кричали, хотя кто-то ругался, а в воздух полетели пачки тотализаторных билетов.

Мать поднялась до ряда, где сидели сестра и Мишка, но дальше пройти не могла. Четверо полных пожилых армян в длинных пальто, загородив собой проход, горячо обсуждали последний заезд. Мать все раздраженно кричала что-то сестре, но ее голоса не было слышно. Сестра растерянно и виновато смотрела на нее. Наконец, мать с трудом протиснулась к своим. Она положила руку на плечо внука, и я догадался, что мать возмущена его присутствием здесь.

Мужчина, сидевший рядом, подвинулся, уступая ей место, но она не захотела садиться.

До следующих скачек было еще время, и поэтому многие пошли вниз. На трибуне стало тише, и я со своего места различал отдельные слова из разговора матери с сестрой.

– Не знаю, не знаю... Что ему здесь делать?.. Еще не хватало, чтобы мальчишка...

– Он же все равно ничего не понимает... Пусть подышит воздухом...

– ...Не знаю... Ты же хотела его сегодня мять... Что это, вертеп какой-то... Здесь...

Сестра кивнула в сторону сидевшей неподалеку женщины в ярком платье с двумя девочками, и я понял, что она сказала:

– Здесь же не один он, вот и другие дети... – Или что-нибудь в этом роде. Потом сестра встала и начала торопливо про-

талкиваться к выходу. Мать крикнула ей вслед:

– Только, ну, в общем, недолго... А где...

– Да он здесь где-то, придет скоро... Здесь он!

Я понял, что они говорили обо мне. Мать сидела рядом с Мишкой и старалась успокоиться. Достала папиросу и закурила.

Мишка встал и вдруг потянулся – ему стало скучно.

Мать неторопливо сказала ему что-то, и я увидел, что она застеснялась и даже улыбнулась, удивляясь раздражению и тому, что она только что говорила дочери, и своему присутствию здесь.

Двум девочкам принесли мороженое, и их отец, подвыпивший мужчина в помятой шляпе, протянул Мишке шоколадку и сказал:

– А это тебе... Давай!..

В этот момент к ней подошла пожилая женщина с программкой в руках и предложила:

– Не хотите сыграть? “Абрека” с четырьмя там?..

– Какой “Абрек”... Что вы?.. – мать растерялась.

Женщина, не обидевшись, отошла.

Пачкая губы и подбородок, Мишка ел шоколадку. Мать посмотрела перед собой и, глубоко затянувшись папиросой, наверное, только сейчас увидела и беговые дорожки внизу, под трибунами, и конкурное поле, и конюшни по ту сторону ипподрома, и огромную, раскинувшуюся вдаль, за полем, панораму города. И по выражению ее лица я понял, что ей здесь нравится.

В этот момент перед самой нашей трибуной с топотом пронеслось несколько лошадей. Мать вздрогнула, но тут же, успокоившись, повернулась к Мишке и начала что-то говорить ему, чуть улыбаясь. Но ипподром уже снова шумел тысячами голосов, и я не услышал ее голоса.

Я не смотрел на скаковую дорожку, а сидел у перил, подперев подбородок кулаками. Мать уже никогда не скажет мне слов, которые говорит сейчас внуку.

В это время слева, из-за поворота, на

финишную прямую вырвалась лидирующая группа лошадей. Уже почти все вокруг меня кричали – был центральный в этот день призовой заезд.

Люди на трибунах бросились к самому барьеру. Опытные наездники, ожесточенно работая стэками, старались прижать своих соперников к бровке. Шла жестокая скаковая борьба. И жестокость эта передавалась трибунам. Ипподром ревел и тем самым еще больше подстегивал наездников. Я видел, как мать встала и крепко взяла Мишку за руку. Удивительно, но среди рева ипподрома было слышно тяжелое, хрипящее дыхание распластанных в воздухе лошадей и короткие, жесткие, как удар бича, крики жокеев.

Мать уже не смотрела на дорожку, лицо ее было бледно и напряженно. Она отвернулась от поля и стала искать кого-то глазами.

Вдруг две лошади, на полном скаку, коротко ударились друг о друга крупами. Один из жокеев чуть не вылетел из седла и какое-то мгновение висел в воздухе. Другие лошади шарахнулись в сторону, к самым трибунам. Ипподром ахнул...

Я почувствовал чей-то взгляд, оглянулся и увидел глаза матери. Это меня она искала в толпе. Я понял, что она вспомнила здесь, на ипподроме, и почему не может отвести от меня испуганного взгляда...

...Тот осенний день, когда лошадь, чего-то испугавшись, выбросила меня из седла, и я запутался одной ногой в стремях. Я волочился по жесткой, промерзшей земле в редком лесу, а лошадь все несла и несла, и я понял, что еще секунда, и она копытом, уже поблескивающим у самых моих глаз, разобьет мне голову...

Каким-то чудом моя нога высвободилась, и я понял, что лежу на земле и не могу вдохнуть. Мать знала об этом, я ей рассказал.

Что Вы называете гражданским долгом?

Расскажите, пожалуйста, самый невероятный случай из своей жизни.

Как Вы думаете, опыт Вашей жизни был бы полезен для Ваших детей? Или Вы считаете его индивидуальным?

Смогли бы Вы многое прощать талантливому человеку?

Какую черту человеческого характера Вы определили бы как самую отвратительную?

Вы не можете рассказать, что Вы делали, когда началась война? Что Вы почувствовали? Какая была Ваша первая мысль?

Вам никогда не хотелось усыновить чужого ребенка? Необязательно, чтобы у него не было родителей, нет, а просто бы Вам захотелось иметь именно такого сына или дочь?

Скажите, вот эти мальчик и девочка, они похожи на Ваших детей, когда они были в таком возрасте? Есть что-нибудь общее?

Комната автора. В комнате Наталья, автор и Игнат.

Наталья. Ты хоть бы почаще появлялся у нас. Ты же знаешь, как он скучает.

Автор. Вот что, Наталья. Пускай Игнат живет со мной.

Наталья. Ты что это, серьезно?

Автор. Ну ты же сама как-то говорила, что он бы хотел этого.

Наталья. Тебе просто ничего нельзя сказать...

Автор. Ты что, воображаешь, что все это я придумал для собственного удовольствия, развлечения. Давай без лишних эмоций спросим у него самого. Как он решит, так и... Кстати, и тебе будет легче.

Наталья. В чем мне будет легче?

Автор. Игнат!

Наталья. Ты учебники собрал? Иди прощайся с отцом.

Автор. Игнат, мы с мамой хотели тебя спросить...

Игнат. Чего?

Автор. Может быть, тебе лучше у меня жить?

Игнат. Как?

Автор. Ну остаться здесь, будем жить



Кадр из фильма.

вместе... В другую школу перейдешь. Ты ведь говорил как-то маме об этом... Нет?

Игнат. Что говорил? Когда? Да нет, не надо!

Пауза. Наталья рассматривает фотографии Марии Николаевны.

Наталья. Нет, а мы с ней действительно очень похожи.

Автор. Вот уж ничего общего!

Игнат выходит из комнаты.

Наталья. А что ты хочешь от матери? Каких отношений? А? Те, что были в детстве – невозможны: ты не тот, она не та. То, что ты мне говоришь о своем каком-то чувстве вины перед ней, что она жизнь на вас угробила... что ж. От этого никуда не денешься. Ей от тебя ничего не нужно. Ей нужно, чтобы ты снова ребенком стал, чтобы она тебя могла на руках носить и защищать... Господи, и что я лезу не в свои дела? Как всегда. (Плачет.)

Автор. Что ты воешь? Ты мне можешь объяснить?

Наталья. Выходить мне за него замуж или нет?

Автор. За кого? Я хоть его знаю?

Наталья. "Та ни-и!..."

Автор. Он украинец?

Наталья. Ну какое это имеет значение?

Автор. Ну все-таки, чем он занимается?

Наталья. Ну, писатель...

Автор. А его фамилия случайно не Достоевский?

Наталья. Достоевский.

Автор. До сих пор ни черта не написал. Никому не известен. Лет сорок, наверное. Да? Значит, бездарность.

Наталья. Знаешь, ты очень изменился.

Автор. Так вот: бездарен, ничего не пишет.

Наталья. Почему? Он пишет. Только не печатается.

Автор. О, вон полюбуйся, наш дорогой двоечник что-то поджег. Теперь меня оштрафуют.

Наталья. Ты совершенно напрасно иронизируешь насчет двоек.

Автор. Вот не кончит он школу, загремит в армию! И будешь ты обивать пороги и освобождать его от службы! Причем стыдно будет мне. Это все плоды твоего воспитания, между прочим! Он не готов к армии. Кстати, ничего бы страшного с ним в армии не случилось...

Наталья. Ты почему матери не звонишь? Она после смерти тети Лизы три дня лежала.

Автор. Я не знал.

Наталья. Ведь ты же не звонишь!

Автор. Она же... Она же должна была сюда прийти в пять часов.

Наталья. А самому первый шаг трудно сделать?

Автор. Мы ведь сейчас об Игнате разговариваем, кажется. Не знаю, может быть, я тоже виноват. Или мы просто обуржуазились. А? Только с чего бы? И буржуазность-то наша какая-то дремучая, азиатская. Вроде не накопители. У меня вон один костюм, в котором выйти можно. Частной собственности нет, благосостояние растет. Ничего понять нельзя.

Наталья. Ты все время раздражаешься?

Автор. У одних моих знакомых сын. Пятнадцать лет. Пришел к родителям и говорит: "Ухожу от вас. Все. Мне противно смотреть, как вы крутитесь. И вашим, и нашим!" Хороший мальчик, не то что наш балбес. Наш ничего такого, к сожалению, не скажет.

Наталья. Представляю себе твоих знакомых!

Автор. А что? Не хуже нас. Он в газете работает. Тоже писателем себя считает. Только никак не может понять, что книга – это не сочинительство и не заработок, а поступок. Поэт призван вызывать душевное потрясение, а не воспитывать идоло- поклонников.

Наталья. Слушай, а ты не помнишь, кому это куст горящим явился? Ну, ангел в виде куста?

Автор. Не знаю, не помню. Во всяком случае, не Игнату.

Наталья. А может, его в суворовское училище отдать?

Автор. Моисею. Ну... Ангел в виде

горящего куста явился пророку Моисею. Он еще народ свой там вывел через море.

Наталья. А почему мне ничего такого не являлось?

Я видел все так отчетливо, стоя за кустом, шагах в десяти от них.

А они, мальчишка и девочка, бегали по нашей неглубокой, тихой Вороне, как когда-то бегали по ней мы с сестрой. И так же брызгались и что-то кричали друг другу. И так же на мостках из двух ольшин полоскала белье мать и изредка, откинув упавшую на глаза прядь волос, смотрела на ребят, как когда-то смотрела на нас с сестрой.

Это была не та, не молодая мать, какой я помню ее в детстве. Да, это моя мать, но пожилая, какой я привык ее видеть теперь, когда, уже взрослый, изредка встречаюсь с ней.

Она стояла на мостках и лила воду из ведра в эмалированный таз. Потом она позвала мальчишку, а он не слушался, и мать не сердилась на него за это. Я старался увидеть ее глазами, и когда она повернулась, в ее взгляде, каким она смотрела на ребят, была такая неистребимая готовность защитить и спасти, что я невольно опустил голову. Я вспомнил этот взгляд. Мне захотелось выбежать из-за куста и сказать ей что-нибудь бессвязное и нежное, просить прощения, уткнуться лицом в ее мокрые руки, почувствовать себя снова ребенком, когда еще все впереди, когда еще все возможно...

...Мать вымыла мальчишке голову, наклонилась к нему и знакомым мне жестом слегка потрепала жесткие, еще мокрые волосы мальчишки. И в этот момент мне вдруг стало спокойно, и я отчетливо понял, что МАТЬ – бессмертна.

Она скрылась за бугром, а я не спешил, чтобы не видеть, как они подойдут к тому пустому месту, где раньше, во времена моего детства стоял хутор, на котором мы жили...

1966 – 1972 гг.

Редакция благодарит Музей кино за предоставленные иллюстрации.

Александр Мишарин

“Работать было радостно и интересно”

Мы знакомы с Андреем Тарковским с 1964 года, последний раз я видел его в 1982 году.

У нас разница в годах – он старше меня на 8 лет, и сначала это была дружба старшего с младшим. Мы жили рядом, оба были в опале, оба сидели без денег...

В тот период мы никогда не говорили о работе, просто дружили, хотя Андрей был режиссером “Иванова детства”, а я писал, печатался и ставился в театрах. Но однажды, протянув свойopus, – это была моя повесть “Путеводитель по разрушенному городу”, – я сказал: “Написал повесть, почитай, пожалуйста”. Зная его строгий литературный вкус, я отдавал ее не без трепета. Он был прямолинеен, говорил, что думает, и я был готов услышать: “Что за глупости ты написал!” Когда я пришел к нему в следующий раз, на мой немой вопрос: “Ну как?”, – он воскликнул: “Почему мы раньше не работали вместе?!” ...Его реакция значила, что он принял мою манеру, мои мысли, мое мироощущение...

Шли годы, но до нашей совместной работы было еще далеко. Пожалуй, переходным мостиком к будущему содружеству стал Томас Манн. Мы загорелись экранизировать “Волшебную гору”, и хотя работа не состоялась, но мостик был перекинут.

Я познакомился с Андреем, когда он после “Иванова детства” отказывался даже от очень выгодных и престижных предложений, к примеру, от совместной постановки с США. Он насмерть стоял на своем, – на “Андрее Рублеве”, но повсюду был отказ. Был даже срочный вызов к Л. Ф. Ильичеву, в то время секретарю ЦК КПСС, который спрашивал Андрея про его планы. Узнав, что фильм “Рублев” по срокам выйдет нескоро, – он, видимо, предчувствуя перемены (год-то был 1964-й), спокойно разрешил постановку фильма.

Когда Андрей закончил снимать “Рублева”, все чаще стал возникать вопрос, что мы будем делать дальше. Как-то мы провели целый день на Измайловских прудах. Было солнечно, жарко, мы много гуляли, говорили и думали, как сделать картину о современной России, о реалиях нашей действительности. Сыграло большую роль и то, что в его семейной жизни наступил сложный период, и предполагаемая сценарная история во многом совпадала с его реальной жизнью. Сам он в свое время болезненно переживал уход отца. Андрея и его сестру Марину воспитывала их мать Мария Ивановна, которая всю жизнь проработала в Первой Образцовой типографии им. Жданова. Жили они в маленьком деревянном домике на “Щипке”, была жива бабушка – мать Марии Ивановны, жили очень бедно – Андрей все это хорошо помнил. Сложные отношения с отцом и непростые с матерью вели его к осмыслению прошлого. Естественно, что для него раньше, чем для меня – он был старше, – наступил момент осмысления своего юношеского и детского опыта.

Сценарий писали сказочно быстро. В самом начале 68-го года мы взяли путевки на два месяца в Дом творчества “Репино”. Первый месяц мы занимались чем угодно, только не писали, а общались. Потом все разъехались, мы остались вдвоем. Была ранняя весна, в феврале пошла капель, солнце такое, что можно было открывать окна... С самого утра Андрей приходил ко мне в номер, мы обговаривали эпизоды. Главное, и это поражало меня всегда, что каждый рассказанный им эпизод был на пределе отточенности формы. Не просто: “Мы напишем об этом”. Нет, мы знали, как это выглядит, как решается, какой это образ, какая последняя фраза. Каждый раз отправная точка для его построений была разная. Мы могли начать вспоминать “Детство, отрочество, юность” Толстого, Карла Ивановича, а потом – сцены разрушения церквей, и тут же рождался эпизод. Это было какое-



На съемочной площадке фильма "Зеркало". Фото В.Мурашко.

то вулканическое извержение идей, образов. И он всегда добивался крайне точного зрительного образа и безумно радовался, когда это получалось. Я помню, как мы не могли найти один эпизод. Мы ходили, думали, искали, и никак ничего не приходило на ум. "Бездарно, бездарно, бездарно, оба бездарны..." – повторяли мы. И вдруг я сказал: "Ты знаешь, вот мне в детстве птица на голову села". И он, как пружина, взвился – он уже увидел этот эпизод

Наконец, наступил момент, когда нужно было сесть и систематизировать все, что мы придумали. У нас получилось примерно 36 эпизодов. Это было многовато, мы обсуждали каждый и дошли до 28 эпизодов, которые и должны были составлять наш будущий сценарий. С легкостью гениев и легкомыслием молодости мы посчитали, что на запись придуманного уйдет 14 дней. Утром каждый из нас пишет по эпизоду, мы сходимся, читаем, обсуждаем. Если говорить правду, так и было на самом деле: утром мы расходились по комнатам, в 5 часов собирались, читали вслух, правили. Мы заранее обговорили, какой эпизод пишет каждый из нас, и дали друг другу слово, что никто в жизни не узнает, кто какой эпизод писал, кроме одной сцены, которую Андрей написал когда-то раньше и опубликовал – история с продажей сережек. Я за это его очень ругал, он извинялся, хотя формально

он был прав – история была вполне самостоятельна. Но принцип есть принцип.

Итак, 28 эпизодов мы написали, действительно, за 14 дней. Вообще писалось очень быстро, невероятно быстро, без переделок и помарок. Но все-таки был один конфликтный случай с самым, на мой взгляд, сложным эпизодом, который достался мне. Это был единственный раз, когда в чем-то мы не совпали, и единственный эпизод, когда что-то переписывалось. Андрей прибежал ко мне в час дня, прочитал написанное мной, и я понял, что он недоволен. Я раздраженно спросил его: "Ну, что?! Что тебя не устраивает?! Мы ведь все обсуждали, обговаривали, я так и написал..." Он сказал совершенно замечательную фразу: "Знаешь, немного поталантливее бы". Меня это так оскорбило, что я разорвал все написанное на куски, "к чертовой матери", обозвал его всякими словами. За обедом мы фыркали друг на друга, не разговаривали, после обеда я лег спать, заснуть не мог, встал и к ужину переписал все заново. Андрей несколько раз открывал дверь, я оборачивался, рычал на него. Он чувствовал, что я "в заводе", и не мешал. Позже он пришел, прочитал, бросился на шею, расцеловал меня – он был человек крайних оценок. После этого мы собрали 28 эпизодов, разложили, и нам показалось, что все нормально. Появилась бутылка водки, которую мы припасли



на этот случай, открыли... Тут мы решили ставить эпизодам оценки: вот этот – пять, этот – четыре, этот – три... Получилось две тройки, две четверки, остальные пятерки...

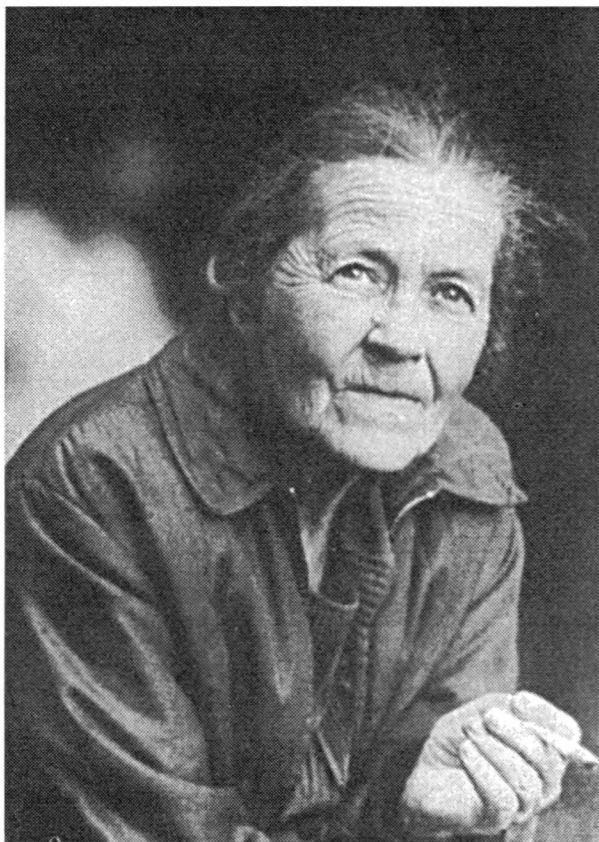
Андрей обладал удивительным чувством редактора. Я в жизни много имел дел с редакторами, но никогда не встречал столь тонкого и музыкального. Он всегда говорил, что проза – это как ткань. Вот Гоголь – это бостон, а Писемский – это трико, Бабаевский – ситец... Литературно Андрей был одарен абсолютно, и работая с ним, я не чувствовал себя ведущим, но и ведомым не ощущал... Наверное, поэтому так легко и естественно, в одной манере, одной рукой была написана наша история и в столь короткое время. Причем мы писали не более полутора-двух часов в день, и это не было высиживание, это не был каторжный труд, это было радостное, приятное дело, мы искали только, чтобы это было “поталантливее, поблестящее...”

Итак, сценарий, который мы вместе создали, состоял из четырех лет притираний, двух недель работы и месяца до этого разгульной жизни. Андрей был счастлив скоростью и результатом и улетел на две недели раньше в Москву с готовым сценарием. Тогда он работал в экспериментальном объединении Григория Чухрая, где можно было быстро “запуститься” и быстро снять фильм. На студии все были единодушно “за”, апри-

орно приняв наш сценарий. Зато в Комитете сценарий был отвергнут категорически самим А. В. Романовым... Наступил тяжелый период – перспектив на работу не было, и тогда Андрей дал согласие на съемку фильма “Солярис”. На два года мы почти прекратили отношения. Я был обижен, хотя, конечно, понимал, что человек не может без конца бороться, тем более, что времена были такие, когда казалось, ничего не сдвинется с мертвой точки...

Но вот “Солярис” был снят.

Наступил период, когда снова нужно было думать о работе. В Комитет пришел Ф. Т. Ермаш. Он повел себя крайне демократично, сказав Андрею: “Вы можете ставить, что хотите”. Когда Ермаш был в ЦК, он тоже поддерживал Тарковского. Но Андрей ужасно боялся нашего сценария. Построенный на жизни его матери и комментариях к этой жизни, сценарий был пронизан диалогом с матерью через анкету. Андрей мучился вопросом, как снимать “анкету”. Тем более, что на роль матери он планировал собственную мать. Обмануть ее, не раскрывая замысла до конца, – безнравственно, да и потом Мария Ивановна была очень чутким человеком. Зная ее железный, непоколебимый характер, Андрей чувствовал, что она не согласится сниматься, поняв конечную цель. А Марию Ивановну надо было знать! Это был сложный, тяжелый по характеру и



**Мать Андрея Тарковского,
Мария Ивановна Вешнякова.**

очень интересный человек. Она была способна пожертвовать многим ради своих принципов, сурова и непреклонна была эта удивительная женщина!.. Итак, Андрей не решался. Его также смущало, что сценарий слишком личностный и в нем он сильно обнажается. Сколько было у нас с Андреем в тот период посиделок, разговоров, даже выпивок – нет, не пьянства... Такое бывает только в молодости – бурные, долгие, переходящие в ночные бдения, обостренные обсуждения. Сыграла решающую роль одна неожиданная вещь. Мне в руки попала повесть В. Гроссмана “Все течет...”. Там есть одна глава, вставная новелла про жену наркомана, которая проходит все круги ада. Я помню, был солнечный день. Андрей, как обычно, в 11 часов приехал ко мне, я сказал ему: “Ложись на диван, вот тебе повесть Гроссмана, вот коньяк – читай, только вслух. Читай эту главу без выражения, но вслух”. Он начал читать, голос его задрожал, а я подначивал и все повторял: “Не плачь, а читай, читай, читай...” Потом, весь в слезах, Андрей закрыл книгу и сказал: “Все.

Мы будем делать “Зеркало”. Это было бесповоротное решение. После этого не было никаких оговорок, все стало просто, ясно, все стало по силам. Рубикон был перейден.

Работали мы в идеальных условиях. Нас запустили с тем сценарием, который был когда-то нами написан, но мы все время передельвали его в процессе. Андрей приезжал утром, группа еще не знала, что будем снимать. Мы запирались с ним в комнате, обсуждали, что и как будем снимать сегодня. Бедный редактор Нина Скуйбина, которая была служащей на студии, а не как мы – вольные художники! – ходила за мной, просила: “Ну хоть какие-нибудь листочки”, – а я отвечал: “У меня их просто нет”. Андрей с лоскутками и обрывками записей убежал на съемочную площадку – по ним он снимал.

У него было замечательное творческое окружение, люди, которые работали с ним, – оператор Рерберг, художник Двигубский, композитор Артемьев. Приведу только один пример, как мы работали над сценой пожара. Дети пьют молоко, мать разговаривает с посторонним мужчиной, а тут загорелось сено, горит ток, пожар... Период написания режиссерского сценария, – мы сидим в мастерской Двигубского и рассуждаем:

“А что же у нас за окном? Вон там, вдали, стог сена, на переднем плане – окно, а здесь огород... Что в огороде?” Четыре взрослых человека совершенно серьезно думают – что же там, в огороде? Застряли на двое суток, дальше не двигаемся. Вдруг Коля Двигубский говорит: “Там цветет картошка”. У нас наступает приступ ясности: вот этот цветок – желто-фиолетовый цвет картофеля! – дает ту плотность, которой насыщена вся картина. В ней, действительно, нет ничего случайного, все обдумывалось до мелочей.

Положение у нас было сложное, даже трагическое, потому что все было отснято, а картина не складывалась. Пропущены сроки, группа не получает премии... Но Андрей придумал такую вещь, – он был педант, – сделал тканевую кассу с кармашками, как в школе делается касса для букв, и разложил по кармашкам карточки с названиями эпизодов – “типография”, “продажа сережек”, “испанцы”, “глухонемой” и т. д. Мы занимались пасьянсом, раскладывая и перекладывая эти карточки, и каждый раз два-три эпизода оказывались лишними. Естественная

последовательность не складывалась, одно не вытекало из другого. Так мы провели месяц – 20 дней это уж точно. И вдруг, загоровшись от идеи вынести эпизод глухонемого в пролог, мы кинулись к нашей кассе и, вырывая друг у друга карточки, стали судорожно, нервно рассовывать их по кармашкам – и вся картина легла. Я никогда так явноственно не ощущал, что форма действительно существует. Попробуй переставить эпизоды иначе – фильма не было бы.

К нашей картине не знали, как относиться. Мы показали ее В. Шкловскому, П. Капице, П. Нилину, Ю. Бондареву, Ч. Айтматову. И, наконец, Д. Шостаковичу. Он не мог ходить, и мы организовали просмотр в таком зале, куда можно было почти въехать на машине. Этим людям картина нравилась. Реакция Кинокомитета была неожиданная, даже смешная. После просмотра у Ф. Т. Ермаша наступила тишина, была длинная пауза. “Киноминистр” громко хлопнул себя по ноге и сказал: “У нас, конечно, есть свобода творчества! Но не до такой же степени!” Поправок не было, но слова Ермаша решили судьбу картины. Ее показывали только в нескольких кинотеатрах, и там всегда была огромная очередь.

Ермаш обещал послать картину в Канн, дал слово, но не послал. Потом был Московский фестиваль, и ее снова не выставили. Но государство заработало на ней солидное количество денег: когда, по слухам, спросили Ермаша: “Что делать с этой картиной?”, – он ответил: “Ну заломите какую-нибудь цену, на которую не согласятся, в два-три раза больше, чем обычно”. Западники согласились на назначенную цену и купили ее так хитро, что она обошла большое количество стран. Андрей был поражен, увидев бесконечную очередь на Елисейских полях на просмотр фильма “Зеркало”... Чтобы в течение двух недель на Елисейских полях стояла очередь за чем-нибудь – невероятно! Она получила национальную премию Италии, как лучший иностранный фильм года, премию Донателло в 1980 году...

Последняя наша встреча с Андреем была в Италии, – три незабываемых дня в Риме... С утра я приходил к нему, мы ездили к итальянским кинематографистам, общались, говорили, но не это было интересно Андрею. Ему было важно, что мы будем делать дальше. И забываемый на всю оставшуюся жизнь день – шесть часов в соборе св. Петра. Мы не смотрим на стены, на богатые украшения, – вся эта пышная оперная живопись нас не волнует, – мы говорим и го-

ворим, о чем будем писать дальше, обмениваемся мыслями, которых так много накопилось за годы разлуки. Сидим в кафе на вилле Боргезе. Солнечный день, белые стулья. Гуляем и говорим только о том, что писать дальше... И теперь, когда я смотрю “Грехопадение” (“Жертвоприношение”), – мне очень трудно смотреть этот фильм! – я вспоминаю все то, о чем мы говорили, чем он делился со мной, а я, в свою очередь, с ним тогда в Риме. Это дневник Андрея, дневник его мыслей, будто с того света он отвечает мне...

Он попытался вернуть искусству нашего времени достоинство подлинной культуры. Он всегда говорил: “Хорошую вещь могу сделать только на трех вещах – на крови, культуре и истории”. Культура и история были разорваны временем Пролеткульта, когда ушла одна и пришла другая интеллигенция, пришло новое кино, построенное на других принципах. Андрей был одним из первых, кто попытался преодолеть разрыв, и он сумел возвести мост. Ему, может быть, было легче сделать это, потому что его отец – большой поэт. Не случайно в “Зеркале” рядом стихи Арсения Тарковского, письмо Александра Пушкина Петру Чаадаеву о судьбе России, о ее великом предназначении, фрагмент Куликовской битвы... И конечно, война, которая гнала его всю жизнь – он тяжело болел туберкулезом во время войны, лежал в санаториях, учился в лесной школе... – и все-таки нагнала его: он умер от рака легких.

Андрей – классический тип художника, который пишет одну и ту же книгу. Он, как никто другой, прекрасно понимал русскую культуру. В картине “Зеркало” он возвращается в места, где он родился, где его корни, его предки – земские врачи, и идет дальше – к своим дворянским корням, и всегда с таким достоинством! Андрей очень серьезно относился к творчеству. В этом я вижу какое-то внутреннее ощущение если не мессианства, то большой ответственности. Потому что никто из крупных художников не сделал так много для подъема советского кинематографа... Он создал наше кино, определил значение кино в России как самостоятельного искусства – такого же вечного, как взъсны Театр, Литература, Живопись. Он жил трудно, как очень немногие в истории искусства. И как никто другой, Андрей Тарковский сделал мощную инъекцию не только русской, хотя ей в первую очередь, но и всей мировой культуре.

Леонид Нехорошев

ТЕСНЫЕ ВРАТА

Свидетельства о “Сталкере”

Андрей Тарковский решил ставить фильм “Сталкер” из-за безденежья. Поздней осенью семьдесят пятого года я, в то время главный редактор “Мосфильма”, получил от режиссера письмо:

“Мясное”¹

19. 11. 75

Добрый день – Леня!

Пишет твой товарищ из ссылки, в которой он живет уже 6 месяцев.

Ну, шутки в сторону – я по поводу заявки на “Смерть Ивана Ильича”. Дело в том, что заявка на нее не пишется. Ты сам знаешь, это совсем не просто.

Кроме того, написать сценарий будет несколько трудно, что он никак не сможет быть “легкой” картиной перед “Уходом Льва Толстого” (Кстати грядет юбилей Толстого – поэтому прошу мои толстовские дела подверстать к этому случаю).

Давай пока пробьём (если надо пробивать) Стругацких. Что по этому поводу говорит Сизов²? Да и говорит ли он вообще чего-либо?

Я бы хотел сдать его (Стругацких) в начале 1976³ года и начать “Уход Толстого”.

Теперь относительно объединения. Я бы хотел у Чухрая. И только по причине денег. Я совсем гол, как сокол. Если нет (не влезу из-за планов ЭТО⁴), то Арнштам⁵.

Что такое Чухрай, я отлично себе представляю.

Но если бы можно было снимать у него – это принесло несколько больше денег, чем в любом другом месте: 1) Фантастика, 2) Одна серия, 3) Очень интересная.

Вот и все пока.

Надеюсь скоро увидеться.

Твой Андрей Т.

Милос
19X175

Добрый день - вечер!

Почему тебе твои товарищи
не сказали, в какой он ин-
тересен, в смысле?

Ну, кстати в сторону -
я же побуду жадным на
«Смерти Ивана Илича».

Дети в том, что записка на нее
не пишется, ты сам знаешь,
это совсем не прощай.
Кроме того написано сценарий
ранее идет параллельно проекту,
что он никак не сможет быть
«алкоголь» Кортенной перед
«Уродцы Алла Милосого».
(Кстати, градеет виллы
Милосого - побуду прочту мои
поисковые дела подтверждает
к этому случаю)
Видно пока прощай (если
надо это прощай?) Стругац-
ких это по этому поводу
получит Сидор? Да и вообще
он вообще кто-нибудь?
Я бы хотел сдать его (Стругацкий)
в начале 1976 года и тогда
а уже Милосого.

1977?

Милос отключилась обедн-
венно. Я бы хотел у Стругац

И только по пришло дело.
Я совсем гол как сокол.
Есть реф (не вижу из-за кинеско-
па) по Арктикам.
Это ранне Стругац, я думаю
еще предсказывая
но если бы можно было сам-
шар у него - это принесло
несколько большие деньги, так
в Москве иду там милье?
1) Заинтересован 2) была связь
3) была интересна я.

Вот и все пока
Надеюсь скоро увидимся.

Милос Андрей

А в предыдущем письме ко мне (от 10 октября 1975 года) он писал:

“Умоляю, сделай что-нибудь со своей стороны, ибо я совершенно пропа-
даю без работы и, соответственно, без копейки денег. Неужели мне, как и
после “Рублева” предстоит пять лет сидеть без работы?”

Впереди – зима. А там – еще одно безработное и безденежное лето? И режиссер
решил сделать проходной для себя фильм – “проходной” и... “проходимый” – такое в то
веселое время бытовало понятие в отношении некоторых сценариев и картин...

Уже в конце октября я получил по почте от Аркадия Стругацкого заявку на сценарий
для режиссера А. Тарковского.

Мы (то есть те, кто пребывал в руководстве киностудии “Мосфильм”) вздохнули облег-
ченно: кажется, Тарковский “взялся за ум”, и новая его работа, скорее всего, не грозит
студии теми неприятностями, которые она испытала с его последней картиной “Зеркало”
– этот фильм резко не понравился, да и не мог понравиться, ни по своему содержанию, ни
по своей “заумной” форме – начальству. Кинематографическому. А тем паче более высо-
кому.

Руководство злило то, что оно фильм не понимает. С одной стороны – обидно: какое
же ты в таком разе начальство, а с другой – не скрывается ли в “Зеркале” какая-либо
мысль возмутительная? Один из начальников спросил режиссера: “А что означает у вас
там... в конце... библейский горящий куст?” “ ” Не знаю, – ответил прикинувшийся проста-
ком Тарковский. – Я Библии не читал”.

В сценарии же “Сталкер”, написанном Аркадием и Борисом Стругацкими по мотивам
своей повести “Пикник на обочине”, никаких таких “кустов” не было: нормальная совет-
ская (хорошая) фантастика – четкая по сюжету, с героем, большим количеством необык-
новенных событий, с нравственным выводом. Довольно легко сценарий прошел все ут-
верждающие инстанции. Особых происшествий, связанных с фильмом, не предвиделось.

Сентябрь 1977 года. На “Мосфильме” идет заседание Художественного совета. Он необычайно многолюден и блестящ: показывают материал картины Тарковского. Материала много – почти целый фильм – 2160 полезных метров из 2700. Кроме того, членам Худсовета роздан для обсуждения новый – двухсерийный! – вариант сценария этого фильма.

Собравшихся ожидало обнаружение интриги сенсационной. Я как председательствующий на Совете обозначил ее так: “Мы должны отказаться от того материала, который снят... Режиссер считает его браком от начала до конца и не может взять ни одного метра з картину... Материал должен быть списан (а это 300 тысяч рублей – сумма по тем временам огромная – Л. Н.) ...Мы оказались перед лицом двухсерийного сценария” – произведение, по сути дела, нового: раньше “это был научно-фантастический сценарий”, теперь “произошел перевод в нравственно-философскую притчу, где главное не в событиях, а в отношении людей к тем вопросам, которые их волнуют... сценарий стал интереснее... Характеристика Сталкера изменилась... Если там был человек грубый, резкий, сильный, то здесь он, наоборот, становится лицом страдательным – это мечтатель, который хотел сделать людей счастливыми и понял, что потерпел поражение”.⁶

Мастера кино, которые собрались в тот день в конференц-зале “Мосфильма”, должны были ответить на вопрос руководства Госкино: продолжать или не продолжать работу над фильмом “Сталкер” и дает ли сценарий основание для продолжения работы?

Говорили долго – несколько часов.

Позиция А. Тарковского была жесткой: “Я буду снимать только в условиях, если расходы спишут и мы снова запустимся. Сейчас закрывается натура. Если проблема запуска этого двухсерийного фильма откладывается на два месяца, то я вообще отказываюсь снимать. Я не могу свою жизнь посвящать картине, которая является для меня проходной (так!). Я хотел снять фантастическую картину, но я не хочу заниматься этим всю жизнь.”⁷

Выяснить, кто виноват в том, что материал на три четверти снятой картины нужно списывать не удалось. Технические службы студии? Пленка? Оптика? Оператор Георгий Рерберг? Сам режиссер? Или просто, как считает ассистент Тарковского, Мария Чугунова: “С Георгием Ивановичем они по личным причинам расстались, не по операторским”?⁸

Суть теперь уже была не столько в браке, сколько в том, что режиссер хотел делать другую картину. По другому сценарию.

Вспомним еще раз его письмо мне: “1) Фантастика. 2) Одна серия. 3) Очень интересная.”

Теперь же: 1) Не фантастика. 2) Две серии. 3) Интересная? Смотря кому. Начальству, во всяком случае, не очень.⁹

Друзья-кинематографисты хотя и пощипали сценарий, но отнеслись к новому замыслу режиссера с уважением и, в большинстве своем, поддержали его.

“Путь, который я почувствовал в сценарии, – сказал Марлен Хуциев, – мне больше нравится, чем путь, который я увидел на экране.”¹⁰

Новизна пути, как теперь ясно, выражалась прежде всего в изменившемся жанре вещи.

Притча присутствовала и в предыдущих картинах Андрея Тарковского (вспомним хотя бы новеллу “Колокол” в “Рублеве”). Но здесь – в новом сценарии “Сталкер” – притча определяла все. Рассказ был об одном, а на самом деле говорилось (по притчевому принципу уподобления) о другом. Режиссер неминуемо пришел к притче – это была, пожалуй, единственная возможность высказывания во враждебной атмосфере запретительства. Когда смысл сюжета иносказанием не только раскрывается, но и прикрывается. От тех, кому не нужно его знать – от непосвященных.

“И приступивши ученики сказали Ему: для чего притчами говоришь им?”

Он сказал им в ответ: для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано... Потому говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют”(Евангелие от Матфея, XIII, 10–11, 13).

Те же, кто имеет уши слышать, тот услышит!

Но притчевый путь опасен минами плоских политических прочтений. И подобные мины стали взрываться уже на Художественном совете. Что такое “Зона”? Откуда она взялась? Огороженная колючей проволокой, с вышкой и пулеметом – не похожа ли она на концентрационный лагерь?

Андрей Тарковский сразу же отреагировал: “Не понравились мне эти оговорки фрейдистские – вместо фамилии Солоницын говорили Солженицын, огражденная зона – это концлагерь...”¹¹

Решено было продолжить съемки картины “Сталкер”, но одновременно провести окончательную работу над сценарием: выделить из многих проблем основную тему, уточнить происхождение и характер Зоны, существенно сократить страдающие многословием диалоги...

А что же режиссер? Лишь бы разрешили съемки уходящей природы. Доделывать сценарий он был согласен. Во время заседания худсовета Андрей Тарковский неожиданно передает главному редактору Госкино новый вариант сценария, который короче обсуждаемого на целых 10 страниц...

Но разрешения на съемки уходящей природы дано не было.

Со стороны Госкино следует контрвыпад: Даль Орлов присылает мне сокращенный сценарий “Сталкера” с собственноручной запиской: “Мосфильм”. Тов. Нехорошеву Л. Н. Направляю Вам сценарий “Сталкер”, полученный мною от режиссера А. Тарковского. 28. 9. 77. Д. Орлов.”

Нет, вы там на студии рассмотрите этот новый вариант сценария, официально представьте его в Госкино с вашими предложениями и (еще лучше) предложениями самого режиссера.

И вот мы с режиссером сидим, “вырабатываем предложения”. Я пишу за Андрея его личное письмо председателю Госкино СССР тов. Ермашу Ф. Т., потом мы его долго редактируем...

Началось мучительное перетягивание каната по всем правилам бюрократических состязаний: бумага – заключение со студии в комитет, бумага – заключение из комитета на студию, новый вариант сценария, новая бумага со студии, новая бумага из комитета... И так далее.

Случилось то, чего так боялся Тарковский: у него пропадал еще один год.

Как только картина “Сталкер” перестала для режиссера быть “проходной”, она сразу же стала “непроходимой”.

Тогда я записал в своем дневнике (цитирую буквально, как записалось в тот день):

“18. 11. 77 г.

Позавчера полдня у Ермаша.

Тарковский. Долгий и подспудно напряженный разговор. Пред. тянул жилы, придираясь к репликам исправленного сценария. Тарковский нахально и порой до хулиганства нападал, огрызаясь: сняли с экрана фильм “Зеркало”, хотя в трех кинотеатрах он шел, покупали билеты за день, у меня есть фотографии и записи звуковые – интервью со зрителями. Обещали пустить шире. Не пустили. А сейчас в ретроспективе моих фильмов в Ленинграде он опять шел битково.

– Ну, видишь, мы же не запретили.

– Вы неискренны со мной, Филипп Тимофеевич!

Приходилось удивляться, что пред. это терпит. Имел силу выдержать, боясь разрыва. Думаю, Тарковский нарывался сознательно, он уже хочет, чтобы картину (“Сталкер” – Л. Н.) закрыли, чтобы был межд. скандал. Пред. не хочет дать ему этой возможности.

Решил: делайте картину, но сценарий надо освободить от претенциозной многословности.

Тарковский в разговоре назвал меня своим другом. Это не понр. преду, задело его, он на другой день (!) отозвался об этом неодобр. Сизову. Теперь я должен отредактировать сценарий. Сизов: он только тебя послушает.”



Л.Нехорошев, А.Тарковский и жена Тарковского Лариса.

У меня сохранился экземпляр сценария двухсерийного фильма "Сталкер", довольно нахально – вплоть до вписывания кусков диалога – исчерканный моим карандашом. Поверх них – исправления Тарковского, сделанные шариковой ручкой. С очень немногими сокращениями и изменениями Андрей согласился, большинство исправленных реплик он восстановил или переименовал их по-своему.

"Разговорный текст героев", как писалось в наших "предложениях", был несколько сокращен и отредактирован, но никакого привнесения "элементов большей фантастичности" и усиления сомнений в том, что "в Зоне совершаются чудеса", – не произошло. Тем не менее сценарий в конце концов был утвержден.

В те годы в нашем кино пытались установить договорные отношения между режиссерами и студиями. Составлялся так называемый режиссерский договор: "студия обязана...", "режиссер обязан..." И так далее. Киностудия, в первую очередь цеха никаких убытков за нарушение обязательств, разумеется, не несла. Но режиссера за нарушение обязательств можно было вытащить за ушко на солнышко и спросить: "Ты почему, милый, писал в своей экспликации одно, а снял другое?"

Когда мне принесли режиссерскую экспликацию на фильм "Сталкер", я глазам своим не поверил. Вместо экспликации в режиссерский договор рукой А. Тарковского была вписана строфа из нашего партийного гимна:

Никто не даст нам избавленья –
Ни Бог, ни царь и ни герой.
Добьемся мы освобожденья
Своею собственной рукой.

Истинно верующий коммунист, я был ошарашен и, честно говоря, возмущен: поступок Тарковского мне казался кощунственным. И даже издевательским.

Андрей же искренне меня не понимал; он настаивал на том, что приведенные им строки совершенно точно передают смысловую суть задуманного им фильма. Я отказался в таком виде визировать договор, и Тарковскому пришлось излагать своими словами идейный замысел фильма "Сталкер". Счастье человека зависит от него самого – вот к чему этот замысел сводился.

Сейчас-то мне понятно, что и эта формула, и текст "Интернационала" использовались Андреем Арсеньевичем тоже как аллегории – скорее, для прикрытия истинного смысла будущей картины, чем для его обнародования.

И вот опять лето – теперь уже 1978 года.

Серый августовский день. Я приехал в Таллинн на несколько дней в съемочную группу "Сталкер". Присутствую на съемочной площадке. Раз за разом, дубль за дублем идет Писатель – Солоницын к зданию разрушенной гидроэлектростанции и оборачивается назад. Ничего вроде особенного: за не такие уж большие деньги, выделенные на вторую серию, Андрей Тарковский вместе с оператором Сашей Княжинским, вместе с группой преданных людей снимают весь – от начала до конца – двухсерийный фильм...

В воскресенье перед отъездом я обедаю у Тарковских. Мы с его женой и вторым режиссером фильма Ларисой пьем водку, Андрей к ней не притрагивается. Серьезно и настойчиво он втолковывает мне то, что я должен сделать по возвращении в Москву. Не надеясь на мою замутненную алкоголем память, тут же набрасывает и вручает мне памятку:

Лене на память:
от Андрея

1. Поговори с Сизовым насчет моей постановки в Италии.
2. Насчет Оганесяна (Ереван, ученик Тарковского, фильмы: «Терпкий виноград», «Осеннее солнце»)
Очень хочет ставить «Старика» Трифонова.
3. Узнать у Сизова о судьбе просьбы, направленной в Моссовет, насчет ~~двух~~ объединения двух квартир у Тарковского.
4. Попробовать помочь пробить «Зеркало» на экраны.

август 1978

Лариса
Тарковская

"Лене на память от Андрея.

1. Поговори с Сизовым насчет моей постановки в Италии.
2. Насчет Оганесяна (Ереван, ученик Тарковского, фильмы: "Терпкий виноград", "Осеннее солнце"). Очень хочет ставить "Старика" Трифонова.
3. Узнать у Сизова о судьбе просьбы, направленной в Моссовет, насчет объединения двух квартир у Тарковского.
4. Попробовать помочь пробить "Зеркало" на экраны."

Пробить, пробить, пробить... Потом, уже живя за границей, А. Тарковский скажет: "Художник всегда испытывает давление, какое-то излучение... Можно сказать, что искусство существует лишь потому, что мир плохо устроен." ¹²

Конечно же, сдавалась картина "Сталкер" с трудом. Я вспоминаю одно из "толковищ" в Госкино. В отсутствие Тарковского, мы, представители киностудии, доказываем хозяину кабинета, что все возможное в фильме "Сталкер" сделано, что Госкино ничего не остается, как принять его.

Начальство слушает и не верит нам. Затем оно медленно достает и кладет перед собой какую-то бумагу. Таинственно улыбается.



– Я вот вам прочту отзыв на “Сталкера” одного из наших внештатных консультантов... Человека весьма в кино авторитетного...

И руководитель читает нам отзыв, в котором очень подробно, в выражениях осторожных, но твердых объясняется, что фильм “Сталкер” – произведение крайне злобное, полное аллюзий, содержащее поклеп на нашу страну, ибо (внимание!) под видом Зоны режиссер изображает Советский Союз, который-де окружил себя колючей проволокой, пулеметами на вышках и так далее...

Мы обалдеваем. Не розыгрыш ли? Нет, не розыгрыш. Но кто автор такого отзыва? Кто?

– Ну, нет, этого я вам никогда не скажу.

Хозяин кабинета доволен произведенным сильным эффектом. Он прячет свою козырную карту в ящик стола и запирает его на ключ.

Отдышавшись от нокдауна, но все еще в состоянии легкого “гроги”, мы возвращаемся на студию и, конечно, ни слова не говорим Тарковскому об отзыве: жалеем его.

Так создавалась и сдавалась последняя картина режиссера, поставленная им на Родине.

Мария Чугунова, касаясь отношений Анатолия Солоницына и Андрея Тарковского, заметила: “Толя заболел на “Сталкере”, Андрей Арсеньевич, наверное, в 1976 году – так шведы ему сказали.”¹³

Значит, тоже на “Сталкере”.

У меня сохранилась такая моя запись на отдельном листочке: “Тарковский заболел. 28. 11. 78 г.”

Многочисленные общественные просмотры “Сталкера” – поток восторженных благодарственных писем на киностудию, в Госкино – и, конечно, не только благодаря этому фильм принят к прокату 7 июня 1979 года.

Итак, даты: ноябрь 1975 – июнь 1979 года. Три с половиной года – для “проходной” картины, на которой Тарковский не хотел “сидеть годы” – не так уж плохо, не так ли?

Андрей и Лариса едут с фильмом в Италию и возвращаются оттуда счастливые: международный успех “Сталкера” очевиден, им говорили там, что это – лучший фильм Тар-

ковского. И, кажется, двинулось дело с совместной постановкой “Ностальгии”...

Андрей и Лариса – мои соседи по дому. Мы сидим у них в квартире за большим квадратным столом, отмечаем их возвращение, успех “Сталкера” и пьем теперь водку втроем.

Андрей Тарковский ни разу при мне, насколько мне помнится, не произносил имени Бога. Я не слышал, чтобы он ходил молиться в храм. В доме его я не видел икон, предназначенных для поклонения. То немногое, что находилось в его кабинете – выглядело, скорее, как обязательная принадлежность русского интеллигента, связанного всем существом своим с отечественной культурой.

Может быть, его вера была глубоко скрытой и интимной?

И только в творчестве – там, где Андрей Тарковский не мог не быть до конца откровенным, – эта вера проявлялась?

Его герой – Сталкер вел своих спутников к заветной “комнате”, страстно желая помочь им приобрести к надежде.

Создавая фильм “Сталкер”, Тарковский не уставал повторять: “Счастье человека лежит в нем и зависит от его собственных поступков.” Но режиссер не договаривал главного – того, что он договорил в самом фильме: поступки эти – движение к Богу.

Спутники Сталкера не смогли и не захотели перешагнуть порог комнаты. Да, с ними Сталкер потерпел неудачу: чуда не произошло. Но разве не чудо – любовь к Сталкеру его жены, с такой силой открывшаяся в ее предфинальном монологе?

Тарковский, как и его герой Сталкер, шел путем падений и озарений, моментов отчаяния и раз за разом обретаемой надежды. Он мог потерять веру в людей, но не терял веру в высшее – в Бога.

В работе над фильмом “Сталкер” не были ли для Андрея Тарковского путеводительными слова нашего Спасителя: “Подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут” (Евангелие от Луки, XIII, 24).

Примечания.

1. Деревня Мясное Шиловского района Рязанской области, п/о Березовое.
2. Сизов Н. Т. – в то время генеральный директор киностудии “Мосфильм”.
3. Явная описка: фильм можно было бы сдать только в 1977 году.
4. Экспериментальное творческое объединение, художественным руководителем которого являлся Г. Н. Чухрай.
5. Арнштам Л. О. руководил на киностудии “Мосфильм” Вторым творческим объединением.
6. Цит. по: “Стенограмме Бюро Художественного совета студии. Обсуждение материала и сценария художественного цветного фильма “Сталкер”. 21 сентября 1977 г. Киностудия “Мосфильм”, с. 3–4.
7. “Стенограмма...”, с. 11–12
8. М. Туровская. Семь с половиной, или Фильмы Андрея Тарковского. М., 1991, с. 119.
9. “Тот сценарий был более интересным...” – заметил в своем выступлении на Художественном совете главный редактор Госкино Даль Орлов. (“Стенограмма...”, с. 47–48).
10. “Стенограмма...”, с. 80–81.
11. “Стенограмма...”, с. 97.
12. “Для целей личности высоких”. Андрей Тарковский о себе. – “Искусство кино”. 1992, N 4, с. 121.
13. М. Туровская. Семь с половиной или фильмы Андрея Тарковского. М, 1991, с. 121

В следующих номерах нашего журнала будут

впервые опубликованы

фрагменты дневников Андрея Тарковского

Алла Демидова

Андрей Тарковский

Я не люблю амикошества в отношениях актера и режиссера. Не люблю “ты” на площадке. Но ученичество и раболепие еще опаснее. Надо работать на равных, в соавторстве. Ученическая пристройка “снизу” у меня была к Тарковскому, когда я снималась в “Зеркале”. Может быть, это произошло подсознательно, после того как меня не утвердили в “Солярисе”. Но работать с Тарковским ужасно хотелось. Было полное доверие и любопытство. Я бросала все свои дела и мчалась на студию.

Мне было интересно все: и как Тарковский говорит, и как Тарковский репетирует, всегда нервничая и до конца никогда не объясняя, что он видит в той или иной сцене.

На съемочной площадке у него – открытый процесс творчества. Тарковский может минут сорок сидеть и вслух рассуждать, что он потом не сможет свести эту сцену за монтажным столом, потому что он запутался, уже не знает, справа налево надо снимать или наоборот. Но что бы он ни говорил, что ни делал – мне все казалось бесспорным. Он мне не объяснял многоречиво, какой должна быть моя роль, а говорил, чтобы я делала то-то и то-то. Я исполняла. Хотя иногда понимала, что это мне противопоказано, но все равно, восхищаясь им и полностью доверяя ему, я повиновалась.

А когда посмотрели материал, я поняла, что сыграла плохо, однозначно, без глубины характера, хотя роль и маленькая, но маленькая роль тем более требует каких-то точных деталей, точного отбора жеста, пластики, точного замысла. Я не знала, в каком месте фильма будет стоять этот эпизод, не знала заданного ритма, тона – в картину я вошла поздно, когда больше половины фильма было уже снято.

Может быть, поэтому у Тарковского непрофессионалы выглядят лучше профессионалов. Потому что просто типажности, экзальтации, нерва на площадке добиться в общем-то легко.

Когда я не знаю, как играть, я всегда немного подпускаю слезу. Снималась сцена в типографии. Сначала мой крупный план, потом Риты Тереховой. У меня не получалось. Я точно не могла понять, что от меня хотят. Стала плакать, Тарковский сказал – хорошо. Сняли. План Риты. Тоже – мучилась. Заплакала – сняли. Хорошо. Мы потом с ней посмеялись над этим. Когда вызывают на пробы и не знаешь, как играть роль, то стоит пустить слезу, и тебя утверждают. Потому что слезы – это единственная реакция, которая не может обмануть на крупном плане, то есть это всегда эмоционально и почти всегда естественно.

У Тарковского в “Зеркале”, как мне кажется, все актеры должны были в той или иной степени играть его самого, потому что это очень личный фильм. Для того чтобы точно

выполнить все задания такого режиссера, нужно долго с ним работать и очень хорошо его знать. Есть, правда, другой выход – точное попадание типажей. Типаж, как бы он ни хотел выполнить то, что ему говорит режиссер, всегда скован рамками своих возможностей, в которых он, кстати, весьма убедителен. Поэтому очень часто актер средних возможностей “переигрывает” хорошего актера.

Но это возможно, правда, только в кино. Точнее, в “режиссерском” кино.

В начале февраля 87-го года наш театр был на гастролях в Париже. В первые же дни многие наши актеры поехали на русское кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, чтобы поклониться могиле Андрея Тарковского. У меня же были кое-какие поручения к Ларисе Тарковской, и я решила, что, встретившись с ней, мы вместе и съездим туда. С Ларисой я не встретилась. Но это другая история. Уже к концу гастролей, отыграв “Вишневый сад”, я сговорилась поехать туда с Виктором Платоновичем Некрасовым и с нашим общим приятелем – французским физиком, с которым долго ждали Некрасова в любимом кафе Виктора Платоновича “Монпарнас”. Наконец он появился, здороваясь на ходу с официантами и завсегдатаями этого кафе. Мы еще немножко посидели вместе, поговорили о московских и французских новостях, Некрасов выпил свою порцию пива, и мы двинулись в путь.

Сен-Женевьев-де-Буа – это пригород Парижа. Километров пятьдесят от города. По дороге Некрасов рассказывал о светских похоронах Тарковского, о роскошном черном наряде в шляпе с вуалью вдовы, об отпевании в небольшой русской церкви, о Ростроповиче, который играл на виолончели чуть ли не на паперти, об освященной земле в серебряной чаше, которую, зачерпывая серебряной ложкой, бросали в могилу, о быстроте самих похорон без плача и русского надрыва, о том, как делово все разъезжались. “Может быть, поджигал короткий зимний день”, – благосклонно добавил он. Сам Некрасов на похоронах не был, рассказывал с чужих слов. Но, как всегда, рассказывал интересно, немного зло, остроумно пересыпая свою речь словами, как говорят, нелитературными, но тем не менее существующими в словаре Даля.

Мы подъехали к воротам кладбища, когда уже начало смеркаться. Калитка была еще открыта. Небольшая ухоженная русская церковь. Никого не было видно. Мы были одни. Кладбище, по русским понятиям, небольшое. С тесными рядами могил. Без привычных русских оград, но с такими знакомыми и любимыми русскими именами на памятниках: Бунин, Добужинский, Мережковский, Ремизов, Сомов, Коровин, Германова, Зайцев... История русской культуры начала XX века. Мы разбрелись по кладбищу в поисках могилы Тарковского, и я, наткаясь на всем известные имена, думала, что Андрей лежит не в такой уж плохой компании. Хотя отчетливо помню тот день, давным-давно, когда я еще пробовалась у него в “Солярисе”, по какой-то витиеватой ассоциации разговора о том, что такое человек, мы поделились каждый своим желанием, где бы он хотел лежать после смерти. Я тогда сказала, что хотела бы лежать рядом с Донским монастырем, около стены которого похоронена первая Демидова, жена того знаменитого уральского купца. Андрей возразил: “Нет, я не хочу быть рядом с кем-то, я хочу лежать на открытом месте в Тарусе”. Мы поговорили о Цветаевой, которая тоже хотела быть похороненной в Тарусе, где на ее могиле была бы надпись: “Здесь хотела бы лежать Цветаева”. Цветаева повесилась в Елабуге 31 августа 41-го года. Как известно, когда хоронили Цветаеву, никого из близких не было. Даже ее сына. И никто не знает, в каком месте кладбища она похоронена. Могилу потом сделали условную. Соседка Бредельщиковых, у которых Цветаева снимала комнату вместе с сыном в последние десять дней августа 41-го года, рассказывала нам, как уже в 60-х годах приехала сестра Цветаевой, Анастасия Ивановна, как она долго ходила по кладбищу, “такая страшная, старая, седая, с палкой, и вдруг как палкой застучит о землю: вот тут она лежит, тут, я чувствую, тут! Ну, на этом месте могилу-то и сделали”.

С этими и приблизительно такими мыслями я бродила по кладбищу Сен-Женевьев-де-Буа. Вдруг издалека слышу Некрасова: “Алла, Алла, идите сюда, я нашел Галича!” Большой кусок черного мрамора. На нем черная мраморная роза. Внушительный памятник рядом со скромными могилами первой эмиграции. В корзине цветов, которую мы несли



Алла Демидова и Виктор Некрасов у могилы Андрея Тарковского

на могилу Тарковского, я нашла красивую нераспустившуюся белую розу, положила ее рядом с мраморной. Мы постояли, повспоминали песни Галича – Виктор Платонович их очень хорошо все знал – и пошли дальше на свои печальные поиски. Нас тоже поджимал короткий зимний день. Время от времени я клала на знакомые могилы из своей корзины цветы, но Тарковского мы так и не могли найти. И не нашли бы. Помогла служительница.

Тарковского похоронили в чужой могиле. Большой белый каменный крест, массивный, вычурный, внизу которого латинскими крупными буквами выбито: Владимир Григорьев, 1895–1973, а чуть повыше этого имени прибита маленькая металлическая табличка, на которой тоже латинскими, но очень мелкими буквами выгравировано: Андрей Тарковский, 1987 год. (Умер он, как известно, 29 декабря 1986 года.)

На могиле – свежие цветы. Небольшой венок с большой лентой: от Элема Климова. Он был в Париже до нас в январе. Я поставила свою круглую корзину с белыми цветами. Шел мокрый снег. Сумерки сгущались. В записной книжке я пометила для знакомых, чтобы они не искали так долго, как мы, номер участка – рядом на углу была табличка. Это был угол 94–95-го участков, номер могилы – 7583.

Служительница за нами запирала калитку. Мы ее спросили, часто ли здесь хоронят в чужие могилы. Она ответила, что земля стоит дорого и что это иногда практикуется. Когда по прошествии какого-то срока за могилой никто не ухаживает, тогда в нее могут захоронить чужого человека. Мы спросили, кто такой Григорьев. Она припомнила и сказала, что это кто-то из первых эмигрантов. “Есаул белой гвардии,” – добавила она. “Но почему Тарковского именно к нему?” – допытывался Некрасов. Говорили мы по-французски. Она была не в курсе этой трагической истории и не очень понимала, о ком мы говорим. И мы тоже не очень понимали причины такой спешки, когда хоронят в цинковом гробу в чужую могилу. Пусть это будет на совести тех, кто это сделал...

Сейчас, говорят, Тарковского перезахоронили в чистую землю, видимо, недалеко от этого места, потому что в том углу кладбища оставалась земля для будущих могил.

А Н О Н С

В следующих номерах нашего журнала читайте сценарии

"Охота на бабочек"

Отара Иоселиани;

"Человек не как другие"

Александра Пятигорского
и Одри Кантли;

"Дети чугунных богов"

Петра Луцика и Алексея Саморядова;

"Прорва"

Надежды Кожушаной;

"Очарование зла"

Николая Досталю и Александра Бородянского;

а также:

продолжение книги воспоминаний Валерия Фрида
о годах, проведенных в лагере, **"58 1/2"**;

окончание книги Василя Катаняна

"Серезу или Страсти по Параджанову";

фрагменты дневников Андрея Тарковского
и Юрия Нагибина.

В будущем году мы продолжим публикацию материалов под уже знакомыми вам рубриками **"Снимается кино"**, **"Дебют"**, **"Из классики зарубежного кино"**, **"Из архива мастеров"**, **"Из жизни звезд"** и др.;

Продолжим серию наших **интервью** – знакомств с кинодраматургами, их рассказами и воспоминаниями.

Наших постоянных подписчиков ждет новогодний сюрприз: дополнительный, **внеочередной номер журнала**, полностью подготовленный силами студентов и выпускников ВГИКа.

И, наконец, в будущем году вы будете первыми читателями лучших **сценариев – победителей конкурса "Зеркало"**.

С Новым годом!

ШЛАГ! АНШЛАГ! АНШЛАГ! АНШЛАГ! А



СЕРИЯ
КВАНТ

АНШЛАГ! АНШЛАГ! АНШЛАГ! АНШЛАГ!

АНШЛАГ! АНШЛАГ! АНШЛАГ! АНШЛАГ!



"УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ"

РЕЖИССЕР НИКИТА МИХАЛКОВ

В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ:
НИКИТА МИХАЛКОВ
НАДЯ МИХАЛКОВА
ОЛЕГ МЕНЬШИКОВ
ИНГЕБОРГА ДАПКУНАЙТЕ



Сценарий фильма
опубликован в четвертом
номере нашего журнала
за этот год

АНШЛАГ! АНШЛАГ! АНШЛАГ! АНШЛАГ!



А. Леонтьев
А. Бабаян

Черный Дьявол тайги

Часть первая

...Тигр рвал медведя. Медведь рвал тигра. Чудовищный рев несся по тайге. Исполненные бойцы подымались на задние лапы, рвали когтями, клыками...

Медведь медленно отступал, гибкой кошкой приседал тигр, готовясь для последнего прыжка...

И медведь сдался, – выбрав момент, резко прыгнул в сторону, сбил грудью ель, бурным комом сиганул вниз, к ручью... Покатился грохот потревоженных камней.

Коротко рыкнул победитель.

Еще не остыв от схватки, бил себя хвостом по бокам, подымаясь звериной тропой на вершину сопки.

Здесь вновь заревел грозно и властно, дабы оповестить всех, кто есть истинный владыка этих мест...

И вдруг донесся ответный рев! Рев куда более могучего зверя.

Прижал уши полосатый хозяин тайги. А рев несся.

Внизу лежало серое, штормовое море.

И рев шел оттуда. Далеко в море – пароход.

Титр: РОССИЯ. НАЧАЛО ВЕКА... ЕХАЛИ НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК ПОДНЯТЫЕ СТОЛЫПИНЫМ КРЕСТЬЯНЕ. ЕХАЛИ ЗА ВОЛЬНОЙ ЗЕМЛЕЙ И НОВОЙ ДОЛЕЙ...

– "...Упокой, Боже, рабу Твою Пелагею и учини ее в рай, идиже лица святых, Господи, и праведники сияют яко светила..."

Била волна в борт старого парохода "Казак Хабаров".

Ходила ходуном палуба.

На мокрой доске – завернутое в парусину, с чугунной балясиной у ног, тело.

Читал молитву попик:

– "...успошю рабу Твою упокой, презирая все ее согрешения..."

Сгрудились на палубе, столь непохожие на мореходов, с непокрытыми головами, мужики в зипунах, бабы, детишки.

– "...Со духи праведным душу рабы Твоей Пелагеи спасе, упокой!.. Вечная память!"

Вились над волнами, кричали, стонали чайки.

Махнул рукой попик. Вновь прогудел пароходный гудок.

Скользнуло по доске обернутое парусиной тело... Отчаянный крик:

– Мама!.. Мамочка!!
Билась на палубе в руках отца шестнадцатилетняя красавица Груня:
– Матушка!.. Ни креста тебе, ни холмика!..
С криком взмыла выше всех совсем белая чайка.

– “42 градуса 50 минут северной широты, 145 градусов 11 минут восточной долготы...”

Капитан сделал запись в судовом журнале.

– “Пелагея Макова, крестьянка Тверской губернии, Колодежной волости...” Далеко рабу Божию занесло!

Капитан взглянул на палубу, где сгрудились переселенцы, поднял рупор:
– Эй, Русь! По палубам разойтись! Живо!.. Неровен час – пароход перевернете!

Груня стояла у борта. Летели в лицо брызги, смешивались со слезами..

Качало, вздымало палубу. Показался долговязый парень – Федька Козин, чуть старше Груни. Приблизился несмело:

– Груня... Грунюшка...

Вдруг скорчился, метнулся на корму, перевесился за борт...

У пароходной трубы, укрывшись от ветра, мужики поминали покойницу:

– Прости, Пелагея! Тут тебе и могила и памятник надгробный!

Проплывал вдали рыжий, грозящий скалами берег.

За спиной Груни вышел из каюты рослый, молодой, чисто одетый Степан Безродный.

Подожел:

– Горюешь, девка? Не горюй. Мать уже не вернешь... Солена вода – богородицны слезы! Моряки, говорят, кто в море почил – душа того в чайку обращается.

Стонала, вилась над пароходом белая чайка.

Степан приобнял девушку за плечи:

– Ишь, дрожишь вся! Озябла?.. Пошли в каюту.

Вспыхнула Груня, оттолкнула с силой:

– Пошла бы, да упряжь не в коня!

– Упряжь подберем... Одеть тебя в шелка да сафьян – княгиня!

– Пусти!!

Не пускал, посмеивался:

– Эка, шалая!.. Люблю таких... Сам шальный!

– Не лапай деву!..

Пошатываясь от морской болезни, шел Федька.

– ...Слышь? Ну!

– Отдохни, сморчок! – Безродный беззлобно толкнул парня в грудь.

Тот грохнулся на уходящую из-под ног палубу. Вскочил и кинулся на Безродного... Раз за разом летел под его ударами на зыбкий настил. Уже в кровь лицо... Кричала Груня.

Из-за пароходной трубы повалили мужики. Впереди Терентий – отец Груни и громадный, как шкаф, родитель Федьки – Калина Козин.

– Ах ты, мурло! Наших бить!

Разгоряченные водкой мужики приперли Безродного к борту. Мелькали тяжелые кулаки. Уже рвали одежду... Позади бушевало море...

Степан выхватил из кармана наган.

Смолк гвалт...

И грохнул выстрел.

Все замерли.

Еще выстрел... Еще...

Стреляли на берегу.

Свистел ветер, тяжело била волна.

– Хунхузы шалят! – непонятно сказал капитан с мостика. – Из Маньчжурии набегают... Ну, что опять скопом встали? Сказано: разойдись!

Разбрелись притихшие мужики. Увела Груня Федьку. Утирала кровь с его разбитого лица.

Остался один Степан.

С прищуром, не мигая смотрел на горбатящийся горами берег. Сквозь разрывы туч прорвалось солнце. Садилось на западе, за вершинами сопок.

И не то померещилось в слезящихся от ветра глазах то ли в лучах уходящего солнца – некий мираж... только возник вдруг над сопками черный силуэт огромной собаки... Казалось, пляла медленным скачками в фиолетовом пламени заката...

Нагой человек был привязан к дереву. Мошка облепила смуглое тело, широкоскулое лицо.

Рядом лежала, уткнув морду в лапы, большая черная собака.

Человек еще был жив. Из-под распухших век тускло смотрели щелочки глаз.

Поодаль, в пожухлой траве, – “человекообразный” корень женьшеня.

Собака встала. Осторожно взяла зубами корень. Положила его у ног хозяина...

Пароходный гудок отозвался эхом в горах. Взгомонил, всполошил птиц.

Грохнула якорная цепь. Близкие сопки терялись в таинственном мареве хморных таежных зарослей.

От берега шла пузатая шаланда.

Переговаривались мужики на “Хабарове”:

– Ты глян! Одни горы... Где пахать будем?

– Не боись! Был бы мужик – земля найдется!

Подбадривали себя:

– Земля мужиком сильна!

А кто-то вздохнул:

– Только бы деньги из казны без обмана дали!

Ткнулась в борт шаланда.

Первым поднялся чернявый, жилистый, кинулся к стоящему в стороне Безродному.

– Здоров ли, Степан Егорыч? Жду – не дождусь!

– Здоров, Цыган. Чего сделал? Говори.

Не торопились, ждали, пока по веревочному трапу спустятся в шаланду другие.

– Охота тут отличная, – говорил Цыган. – Фазана много.

– Не ори...

– А чего? Фазан – птица золотая!

– Коня и винтовку купил?

– Как приказал...

Выходили на берег переселенцы. Пошатывались после долгого плавания.

Падали на колени. Молились истово:

– Господи! Прости меня, грешного...

Внемли гласу моему... Возьми жизнь мою в руки Свои...

Проходил мимо Безродный, не удержался, пнул в спину Федьку:

– Посторонись, земля!

Вскочил Федька, бросился на обидчика. Повисла на нем Груня.

– Будя! Не затевай!

– Цыц! – одернул сына Козин-старший.

– Не вяжись – говорят, каторжный он.

Подъехал чиновник в тарантасе. Стал читать бумагу. Ветер относил слова.

– Смоленской губернии... Тверской... Пензенской... Тамбовской...

Терентий Маков перекрестился:

– Господи, не отверзи лика Своего от раба Твоего и страдальца!

Упал лицом на рыжую землю, поцеловал.

Тарахтели телеги по тракту.

Везли мешки с мукой и овсом, плуги, бороны... Ехали Маковы и Козины с крестьянским обзаведением.

У Козиных двое коней. У Терентия – мерин и кобыла с жеребенком. Груня бегала с жеребенком, то отставая, то обгоняя маленький обоз, кормила его с рук.

Шел трактом, вместе с переселенцами, старый таежник Макар Булавин.

Посмеиваясь, говорил:

– Тайгу нашу Бог сеял с устатку. Вначале Расею, потом Сибирь, а уж к нашим краям – устал страсть! Вот все из мешка и вытряхнул на эти сопки... На вершине – северный стланик, ниже кедрач, а потом виноград, лимонник, женьшень-корень...

– Правда, дедушка Макар, что за него золотом купцы платят? – спросил Федька. – Быть того не может.

– По мне, так он дороже золота. Корень жизни. Цены ему нет.

Указал в сторону от тракта:

– Во-он, где кедрач – мне дорога. На займку приведет.

Не разглядеть было в тайге неприметной тропки.

– Куда ж ты на ночь? – сказал Калина Козин. – Неужто не боишься?

– Струсил в тайге – пропал. Только всякий зверь человеческого глаза страшится... А встретил его – уступи дорогу. Он пойдет себе – ты себе.

– А какой злой человек? Хунхуз, к при-
меру?

Помрачнел Макар:

– Хунхузы – не люди.

– Слышали, – сказал Терентий. – Говорят, как звери...

– На зверей не грешите. Изуверствуют, манз бьют.

– Это кто еще такие?

– Манзы – корневщики. Женьшень в тайге ищут... – Улыбнулся, глядя на подошедшую Груню. – Не к ночи разговор. Только не бери в голову, дочка: хунхуз сам русского боится. Манзы у нас защиты просят.

Поклонился в пояс:

– Доброго вам новоселья!

По тропе поднимались на конях двое. За спинами – винтовки.

– Тайга здесь, Цыган, не в пример нашей, алтайской, – говорил Степан. – Куда строже! Страшную силу надо иметь, чтоб тут снова зажечь... Ты нужного человека среди манз нашел?

– Все разведал.

– Смотри, если брешешь, Цыган.

– Собака брешет... Да что ты все – Цыган да Цыган! Хоть раз бы назвал полным званием: Григорий Севастьяныч.

– Может, полным званием тебя на нарах величали?... А, Цыган?

– Тебя там тоже не Безродным кликали.

– А вот это – забудь! Не было Степана Стрельникова. Сгинул навек. Есть Безродный... А коли ты такой памятный, скажи: сколько мне наша воля стоила?

– Десять тысяч, – нехотя произнес Цыган.

– Золотом... И ты – мой раб и слуга до последнего вдоха.

Мерно шли кони.

– Дай срок: дворец из мрамора в тайге построю. Чтоб и через тысячу лет здесь Степана Безродного не забыли!

– Мне дворца мраморного не надо. Были б бабы да водка.

– Для баб и водки тоже деньги нужны, Цыган...

На ночь маленький обоз остановился на перевале.

В стороне от тракта развели костер.

Кто-то шуршал листьями в тайге. Потрескивали сучья в костре. Пофыркивая, паслись стреноженные лошади, рядом с кобылой жеребенок...

Спали у костра, завернувшись в зипуны, старшие.

А молодые сидели в сторонке возле телеги. Федька положил голову на колени Груни. Она перебирала пальцами кудрявые волосы прикорнувшего парня. Робко ласкала.

И не заметила, как задремала и сама...

...Снилась Груне земля тверская...

Васильковый луг... Бежит Груня. Навстречу Федя в белой рубашке, веселый...

На пути речушка. На вид тихая, смиренная. Федя с той стороны кличет...

Бросилась с разбегу в воду... И враз закрутила и понесла стремнина...

А Федя пропал...

Зовет его Груня – голоса нет... Не слышит Федя... Тянет ко дну быстрая вода...

Вдруг на берегу собака. Огромная, черная.

Прыгнула в воду – брызги столбом!.. Плышет к Груне. Рядом уже... Раскрыла алую пасть...

Грозный рык!..

...Вскочили мужики у костра. Крик Груни!!

Вываляли горящие сучья, бросились на голос. Навстречу с храпом, на губах пена – стреноженные лошади.

– Дочка!!!

Из темноты Федька. На руках – Груня.

– Доченька!!

– Обмерла! – пролепетал Федька. – Тигр лошонка вашего унес! – мотнул головой в темноту.

Забыл о дочери Терентий. Взвыл раненым зверем, выхватил из телеги топор.

– Куда?! Стой!! – кричал Козин-старший.

Да разве остановишь мужика! Не помня себя ломился Терентий через чащу с факелом в руке.

– Не уйдешь! – хрипел.

Короткий рык...

Словно споткнулся Терентий.

В свете факела тигр стоял над лежащим на жухлой траве жеребенком. Зевнув, показал красную пасть и верхковые зубы.

Попятился Терентий, запнулся за валежину, упал, покатился вниз со склона.

Открыл глаза в страхе.

Над ним – Калина Козин:

– Цел?.. Уходим скорей! Не ровен час вернется!.. Федька, гоноши костер!

Вскочил Терентий. Хватал головешки из костра, с силой метал в кусты.

– Сдурел?! – перехватил его Калина. – Пошто тайгу поджигаеть?!

– Я за своего жеребенка... всю тайгу пожу! На что она мне!

– Охолони! – оттаскивал Козин-старший.

Федор и Груня забивали наломанными ветвями занявшийся огонь.... Запрягали лошадей. Руки дрожали. Тянула в темь голову кобыла, жалобно ржала.

– Мне б только Макара того встретить! – бормотал Терентий. – “Зверь глаза человеческого боится!..”

– Туточки я...

Из леса неслышно возник старый таежник.

– Ты!.. Ты... – рванул Терентий. – Тигр... тигр жеребенка моего...

– Тигрица, – перебил Макар. – Тигрица это была. Тигренка у нее убили – дитя... Худо! Чужие люди в тайге.

Притихли переселенцы.

– С Богом... – сказал Макар. – Провожу вас до места.

Двинулись телеги. Заскрипели колеса.

Позади шел Макар Булавин.

Чутко слушал тайгу. Ночные звуки.

– Поберегись!!

Ломая сучья близстоящих деревьев, с гулким треском рушился кедр. Вывернулся из земли огромный комель...

Терентий Маков корчевал лес, отвоевывал пашню. Осунулся, руки в ссадинах, сваялась сивая борода.

– Поберегись!

Окапывал деревья...

Рубил топором змеящиеся корни...

Как одержимый бился с тайгой.

– Поберегись!!

С орудийным залпом валилось дерево... До глаз замотанная платком Груня обру- бала сучья.

Стук топоров шел по тайге... Жгли костры.

Выворачивали с корнями заросли орешника, таволги...

Волоком вывозили лошадьями лес...

Стонала тайга.

Бежали звери.

А за перевалом – тишина. Осень. Тепло. Сопки в жарких кострах кленов, в золоте берез, в малахите кедров...

По склону косо сбегала тропа, уходила в ельник. Журчал внизу ручей.

Проскакал олень... Перебежал тропу пятнистый кабанчик...

Прокричала лесная птица.

Показалась цепочка манз – корневщиков, искателей женьшеня.

Впереди людей бежала большая черная сука.

Человек десять растянулось по склону. На плечах питаузы – котомки с драгоценным корнем.

Вдруг собака насторожилась. Залаяла...

И тут из леса ударили выстрелы.

Заметались безоружные люди. Кричали смертно по-удэгейски, по-корейски.

Оставались недвижно лежать на тропе... Вновь тишина в золотой тайге.

Из засады вышли двое. Лиц не видать.

Срывали с убитых питаузы. Торопились... Сыпались из котомок корни – “люди”.

Тревожный крик птицы над головой.

Двое опрометью кинулись в ельник.

Там ждали оседланные лошади.

Вскочили в седла. Погнали рысью...

Когда затих стук копыт, на тропу из чащи вышла черная сука. Прижимаясь к земле, почти ползком приблизилась к лежавшим на тропе. Обнюхала. Встала дыбом шерсть.

Вскинула лохматую морду.

Завыла тоскливо, безнадежно...

Плуг с хрустом резал землю...

Прокладывал Терентий Маков первую борозду.

Сам за плугом, впереди Груня, тянет с натугой под уздцы пару лошадей.

– Н-нно!

Отваливаются от лемеха жирные пласты... Черной полосой прошла по целине борозда... А навстречу вторая.

Ступают маленькие босые ноги Груни по взрыхленной земле...

Бережно, любовно пересыпает ее в ладонях отец.

– Н-нно!..

Тянут с трудом две лошади тяжело ползущий плуг.

Пот заливает лицо Терентия. Счастливый пот.

Ложатся борозды...

Ширится пашня.

Вечером, искупавшись, Груня подымалась от реки.

Стук копыт.

– Посторонись, стопчу!

Степан на коне, без бороды, в рысьей шапке, щерит белые зубы:

– Небось заскучали по мне, Аграфена Терентьевна?

Глянула Груня, покривила губы:

– Нам скучать недосуг.

Степан похлопал по прикладу винтовки.

– Тут мои и плуг и борона. Не то что зверю – комару в ухо попаду. Пятак соборлей добыл – хлебом до лета сыт...

Поскрипывая колесами, по дороге приближались подводы. С ними – Цыган. Везли струганые плахи, железные скобы, стекло, кровлю.

– Дом ставить буду, для молодой хозяйки... Когда сватов засылать?

Вздыхнула Груня притворно:

– Долго ж вы, Степан Егорыч, комара в ухо пулей били... Уж все гости разошлись!

Сползла с лица Степана улыбка:

– Неужто просватана?... За сморчка того?

Сверкнула глазами:

– Да уж не за тебя!

– Жаль!..

Груня руками развела: “Что ж поделаешь!”

– ...Тебя жаль, – продолжал Безродный.

– Я ведь жену озолочу!

– У Феде отец козу продает. Купи, коли денег много. А я – не продажная.

Повернулась и пошла не оглядываясь.

С прищуром смотрел ей вслед Степан.

Поровнялись подводы.

Хлестнул коня, подскакал к Цыгану.

– Ползете, как клопов давите! Гони к месту!.. Будешь ты у меня во дворце жить!..

Застучали топоры над рекой.

Ставили дом Безродному. Место выбрали завидное: внизу река, позади горбатые сопки, тайга...

Росли венцы не крестьянского – светло-го двухэтажного дома.

Под сопкой примостилась землянка. Поодаль – навес с изгородью, амбарчик под замком.

Подъехал Терентий с пахоты.

Выпряг лошадей.

Любовно обихаживал, отирал травой запавшие от тяжелой работы влажные бока... Задавал корм.

В тесной землянке пекла блины Груня.

Отец ел обжигаясь, рассуждал:

– И в кого ты такая удалась?... Мужу ведь какая баба нужна?... Толстомясая! Чтоб, в случае, вместо кобылы плуг или борону волоочь.

– Зря, выходит, сюда ехали, тятя... Ушла бы в город Тверь. Там парни за толстомясыми не гонятся.

– Я те покажу – Тверь! Не погляжу, что невеста, вожжи-то, вот они!

– Держите, тятенька! – сорвала со стены вожжи, бросила отца.

– Цыц!

Стукнула дверь.

– Можно войти?

Пригнувшись, протиснулся в землянку Федька. Смотрел на смутившуюся Груню, на Терентия с вожжами.

– Заходи, Федя, – Груня тронула тыльной стороной ладони щеки. – Блины пеку. В жар кинуло... Сейчас тебе горяченьких...

– С чем пожаловал? – поинтересовался Терентий.

– Отец послал, – понизил голос, – слух пошел: за перевалом опять манз убитых наших.

Терентий перекрестился в угол, на икону.

– Кто?

– Говорят: хунхузы.

– Неровен час – сюда доберутся!

– А дедушка Макар говорил, – встряла все слышавшая Груня, – хунхузы русских обходят!

– Твой дедушка много чего говорил... Береженого Бог бережет.

Встал, накиннул зипун.

– А блины, тятя?

– Женишка угости. Глянь, отощал, как бычок на пахоте.

Вышел.

Придвинулась Груня к Федору, обняла. Счастливо прошептала:

– И впрямь отощал!

Вечер был тих. Только взвизгивали пилы да стучали топоры на стройке Безродного.

Хрумкали, пережевывая овес, лошади в загоне. Двери амбарчика – на пудовом замке...

Стоял Терентий хозяином, оглядывал свое “подворье”.

Зацокали копыта. Ехал верхом Цыган. Приостановился:

– Здорово ли поживаешь, сосед?

– Как Бог послал, так и живем.

– Все штанами над землей трясешь? И для чо?

– Тебя, дурака, не спросил.

– А зря! Когда задумаешь бежать назад – приходи. Верную дорогу укажу...

Ускакал.

– “Бежать”... – запоздало проворчал Терентий. – Кто ж от своего счастья бежит!

Дрожали над сопками звезды. Где-то глухо ухал филин.

Когда вернулся в землянку, Федьки уже не было.

Груня лежала, мечтала о чем-то своем.
Терентий помолился на почерневшую
икону. Перекрестил дочку:
– Спи! Завтра чуть свет подниму.
Задул лучину.

Ночью пошел дождь.
Шумел в тайге. Молотил по корявой кры-
ше землянки...
Качает пароход. Часто бьет в борт вол-
на... Скрипит, скрипит палуба...
Вьется, стонет белая чайка...
Скрипит палуба...

Груня проснулась.
В землянке темно. Хлещет дождь за тус-
клым оконцем. И не палуба скрипит: будто
кто-то скребется в дверь. Почудилось?..
Нет... Не только скребется, но и поскулива-
ет.

Встала Груня, осторожно приоткрыла
дверь.

В землянку прошмыгнула собака, заде-
ла шерстью голые ноги.

Груня зажгла лучину.

Большая черная сука, мокрая от дождя,
смотрела на нее.

Зашевелился отец.

– Это еще что?..

Собака нырнула под нары.

– Ты зачем суку пустила!? Гони!

– Не надо, тятя. Щенная она!

– Только псарни в наших хоромах не хва-
тало!

– Видишь, умная какая?.. От непогоды к
людям пришла, укрылась. Пусть живет. Я ее
Найдой назову.

Терентий только рукой махнул.

– Кипятку взгрей. Лимонник завари... Эко
зарядило! Нынче вместе с плугом увязнешь.

Хлестал дождь. В серой утренней мгле
сопки.

Терентий вышел из землянки. Располза-
лись ноги на рыжей земле.

Согнувшись, нахлобучив шапку, побрел
под дождем.

И вдруг побежал!

Поскользнулся, упал... Поднялся и опять
побежал...

В беззвучном крике зиял открытый рот...

А в землянке щенячий писк.

Копшатся под нарами черные комочки.
Слепо тыкаются в брюхо матери.

Светила лучиной Груня:

– Кутеньки! Кутеньки маленькие...

Зарычала сука.

– Да не трону, не трону детишек твоих...
Экие же смешные!..

Один, самый крупный, черный без отме-
тины, приподнял голову на ее голос.

– Чистый Шарик!..

Рычала, показывая клыки, Найда.

– Шарик... Шарик!..

Загородка забора повалена.

Лошадей под навесом не было.

Распахнут настезь амбар, сорван замок.

Груня просовывала под нары глиняную
плошку.

– Найда. Найдочка!.. Не бойся!.. Никто
здесь тебя не обидит... На, ешь!

Сука с рычаньем выползла из-под нар.

– Ешь, ешь...

Сука осторожно обнюхала миску. Жадно
залакала.

– Вот и хорошо! Тебе теперь много есть
надо...

Ворвался ветер, дождь.

Ввалился Терентий в грязи до ушей. Гла-
за безумные...

– Что?.. Что, тятя? Говори!

– Спасите! – молил Терентий. – Коней
увели! Весь припас украли... Помогите!.. Еще
догоним лиходеёв!

– Отводили мужики глаза.

– Здесь тайга, Терентий. Получить пулю
за спаси Христос – запросто. Нет, ослобо-
ни!

– Сердца у вас нет!

– У нас дети. Оставлять их сиротами не
след...

Калина Козин смотрел в черную пашню.
Устало вздымались бока впряженных в плуг
лошадей.

– Всякий час Бога молю: сохрани, не дай
одрам моим откинуть копыта... Чуть свою-
то пашню тнут... Понимаю, беда у тебя,
сват, рад бы помочь, да своя нужда не пу-
скает... Вот и Федька в горячке слег. А дома
еще семь ртов... Не рви душу, Терентий! Не
могу тебе коней своих дать!

Грохотали удары.

Ходила ходуном дверь амбара Калины...

Бился в нее изнутри Федька. Всклипы-
вал.

Страхивала капли дождя тайга.
Поднимались по тропе верхами Степан
и Цыган.

Выехали на перевал.
Огромной дугой перекинулась над хреб-
том радуга. Уходила концом в море.

И вдруг в радужном разноцветье Безрод-
ному почудилось... На склоне одной сопки –
будто черная собака. Не бежит – плывет
огромными скачками...

– Ты что? – обернулся Цыган.

– Радуга... – выдохнул Степан.

Поглядел Цыган.

– Ну, радуга... И чо?

– А ни чо... Езжай, знай себе.

Цыган послал вперед коня. Степан, пе-
рекрестившись, за ним. Не удержался, обер-
нулся... Собаки не было.

Терентий был страшен.

Впрягся в плуг. Крикнул стоящей у ру-
котьок дочери:

– Тронули!

– Тятя! Опомнись!

– Нн-о!!

Навалился всем телом на постромки.

– Но-о!.. – безумно выплевывал, под-
гоняя себя. – Нноо!!!

– Тятенька!! – рыдала Груня.

– Ннн-о...

Захрипел и рухнул на нетронутую цели-
ну. Последним усилием перевернулся на
спину.

С отчаянным криком метнулась к отцу
Груня. Упала на колени... И увидел Терен-
тий кричавшую в небе белую-белую чайку...

Пришла зима.

На заснеженной поляне перекрещива-
лись строчки следов.

Проскакала, задрав пушистый хвост, бел-
ка. Стремглав забралась на дерево. Посы-
пались вниз легкие хлопья.

Взметнув снег, с шумом вылетел из куст-
тов тетерев.

Шарахнулась в сторону безрогая кабар-
га.

Опустела поляна...

Из чащи вышла Найда.

Принюхалась, разбираясь в путанице
следов на снегу.

Шла трактором Груня с котомкой за спи-
ной. Мела поземка.

Свернула к одиноко стоящему хутору.
Брехнул из конуры цепной пес.

Взошла на крыльцо, обила голиком дра-
ные валенки.

Робко вошла.

В избе семья сидела за столом. В руке
хозяйки половник. Груня поклонилась в пояс:

– Здравствуйте, добрые люди!

Никто не ответил. Дымился кулеш.

– Подайте, Христа ради! Тятю схорони-
ла. Последнее за долги унесли... Два дня
росинки маковой во рту не было.

– Бог подаст, – хмуро отозвался борода-
тый хозяин.

– Иди, иди с Богом! – поддержала
хозяйка. – Ты, Селиван, проводи. Да пса
спусти... Много тут таких ходит!

Бежала Груня от хутора. Глотала слезы.
Бил снег в лицо.

Заяц сидел за сугробом, в орешнике.
Прядал ушами, чутко прислушиваясь, насто-
роженно поводил носом.

Наконец, убедившись в безопасности,
выскочил из укрытия.

Запетлял по поляне.

Из кустов метнулось большое темное
тело.

Косой рванулся было вверх, свечкой...

Поздно... Сомкнулись клыки.

Скулили подростшие щенки на руках Гру-
ни. Сидела у печи, уткнувшись лицом в их
мягкую шерсть.

Самый большой, черный, дотянулся до
лица, слизнул розовым языком слезы.

– Фу!.. Шарик, ну тебя!.. – улыбнулась
сквозь слезы. Завывал за стенкой землянки
ветер... Сквозь шум его послышался еще
какой-то звук. Словно кто-то пытался от-
крыть занесенную снегом дверь.

Встрепенулась Груня:

– Сейчас, сейчас!..

Поспешно опустила щенка.

– ...Федя? – рванула забухшую дверь.

В дверях Найда. Держала в пасти при-
давленного зайца. Залетал в землянку снег.

Найда вошла и положила зайца у ног
Груни.

– Ты... мне?!

Ковыляя, торопились щенки. Первым
Шарик. Впился зубами в заячью лапу. За-
рычала Найда.

Но щенки уже рвали добычу.
– Ешьте, ешьте... – Вновь потекли непрошенные слезы. – Ешьте, милые...

И снова брела Груня с тощей котомкой. Вьюжило.

Вошла в деревеньку. Над крайней, обнесенной забором избой курился дым над трубой.

Груня припала к щели в заборе.

Из избы вышла женщина с ведром, над которым поднимался теплый парок. Подошла к сараюшке.

В распахнувшейся двери захрюкала свинья. Женщина вывалила в корыто дымящуюся на морозе брюкву.

Груня невольно сглотнула голодную слюну.

Зачавкала свинья. Женщина пошла обратно, оставив открытой дверь сараюшки.

Груня стрельнула глазами по деревенской улице – никого.

Скользнула во двор, мигом очутилась у сараюшки...

Выхватила из корыта пару брюквин – и назад.

Отчаянный визг свиньи!

Бежала Груня.

– Ратуйте! Ратуйте, люди добрые! Воры!

Гналась хозяйка, прихватив из поленницы увесистое полено.

– Воры! Ратуйте! – Огрела поленом по спине.

На крик сбегались бабы из соседних дворов. Груню окружили.

– Воровка! Бей ее! Ходят тут! Тащат последнее!

Разъяренные лица женщин. Следующий удар пришелся по голове.

Груня упала...

Последнее, что услышала – конский топот. Знакомый, властный мужской голос... Крики женщин... Сильные руки подхватили ее...

И она словно взлетела...

...Раскачиваются качели.

Вверх – вниз!..

Смеется Груня.

А на другом конце – черный мохнатый Шарик.

Вверх – вниз!.. Вверх!.. Вниз!..

Весело твякает Шарик.

Вверх!

Только это уже не качели – вздымается над волнами палуба...

И на другом конце ее – Степан.

Подымает наган...

Смотрит на нее глазок дула.

– Федя! – в страхе зовет Груня. – Федя!..

Вверх – вниз!..

– Федюша!..

Черный зрачек все ближе...

– Мама!.. Мамочка!..

Кричит чайка...

Вверх!..

Груня открывает глаза.

Близко над ней – широкое морщинистое лицо, раскосые щелочки глаз.

Груня зажмурилась: продолжался горячий бред... Услышала тот самый знакомый голос:

– Оклемалась?

Приоткрыла веки... Степан!

Не понимая, огляделась: просторная чистая горница, светлого дерева мебель.

Прошептала:

– Где я?

– В доме моем.

Рванулась было, прижимая к груди одеяло... Но силы оставили, упала обратно на подушку.

– Лежи, лежи!..

Поднес в чашке питье.

– Испей – женьшень это. В Китае его сам император пьет... Верно, Сан Ли?

– Шибко верно, – кивнул старый китаец. – Его долго-долго молодой быть хочет.

– Вот мы на Груне это и проверим! – улыбнулся Степан... – Ты пей, пей!

Уступила Груня, выпила.

Старый китаец доставал из сафьянового футляра золотые иглы.

– Вот и лекаря тебе привез. Лучше во всей округе нет.

Подходил китаец с иглами:

– Твоя мало-мало больно будет.

– Уйди... – сквозь зубы попросила Груня. Тот повиновался.

– Моя десять дней лечи – и твоя шибко ходить будет! – сказал китаец.

Мелькали в морщинистых пальцах золотые иглы...

– Спи! – говорил китаец.

Глаза его смотрели со странной, властной силой.

– Спи!.. Твоя мало-мало спать надо!

И засыпала без снов под его взглядом.

А когда просыпалась – в ночь-полночь, – сидел у постели Степан. Поил отваром трав.
– Пошто не спишь? – спрашивала.
– Как увидал тогда тебя на пароходе – так нет мне сна, – улыбался Степан.
...И снова мелькали золотые иглы...
– Спи! – приказывали глаза-щелочки. – Спи! Мало-мало спать надо!
Смежались веки...

И наступил день, когда, проснувшись, увидела Груня, что лежит возле постели шубка из колонка. Рядом сарафан новый, шаль пуховая, маленькие, легкие унты, перчатки из замши...

Светило солнце, и новый дом стоял как игрушка.

Ставни и наличники, в затейливой резьбе, покрыты веселой краской, нарядно покрашено крыльцо.

Неволью загляделась Груня.

Просторный двор, добротные построй-ки. За отворенными воротами – недалний лес.

Оттуда – будто ждала! – черная собака. Кинулась к Груне.

– Найда!!.. Найдошка!.. Нашла?!

Вставала на задние лапы, визжа норови-ла лизнуть в лицо.

– Не забыла!.. А Шарик твой – где?

Повалились в снег, отбивалась Груня:

– Да погоди!.. Шубейку попортишь...

Вдруг отпрянула Найда, глухо зарычала.

– Ты что? – поднялась Груня.

Скаля зубы, собака рычала на показав-шегося на крыльце Безродного.

– На тебя она, Степан!.. Пошто?

У Найды даже шерсть стала дыбом.

– Ревнует, – усмехнулся Степан. – И вер-но – будя тебе с сукой миловаться.

Ушел.

– Ну что ты?.. Что? – успокаивала Груня, обнимая мохнатую шею. – Хорошая моя!..

Послышалось повизгивание. От ворот спешил черный колобок.

– Шарик! И ты тут? Иди скорее!

Щенок ткнулся носом в ее теплые руки.

Поскрипывал снег под ногами. Вывел Степан Груню в тайгу.

Шли берегом замершей реки, искрился лед.

У пологого спуска к воде остановились. Заснеженные кусты.

– Помнишь, летось я тебя тут повстре-чал?

– Чуть конем не стоптал, – улыбнулась Груня.

– А что спросил тогда, тоже помнишь?

Не ответила Груня. Отвела глаза.

– Глянь! – протянула руку.

По льду реки перебиралась на тот берег огромная, пятнистая с рыжиной кошка.

– Рысь! – прищурил глаз Степан. – Хит-рый зверь. Опасный.

Вынул наган – тот самый, что в бреду привиделся.

– Не надо! Пусть себе идет, Степан...

– А завтра она в кедраче Степану горло перервет? Или тебе меня вовсе не жаль?

– Типун тебе!

Протянул наган:

– Тогда давай сама.

– Боже святой!

– Держи. – Взгляд его был тверд. – В тайге живешь. Тут либо ты поспел, либо – тебя. А я сердцем покоен быть хочу. Не всякий час рядом буду... Держи!

Повиновалась, взяла тяжелый наган.

– Руки у тебя ослабшие, двумя возьми...

– настаивал Степан. – Вот так... В голову меть...

Прижмурившись, целилась Груня.

– Мушку чуток ниже... Так... Бей! – при-казал как выстрелил.

Нажала на спуск Груня. Прокатился вы-стрел над рекой.

Блеснули на солнце осколки льда рядом с рысью... А сама огромная кошка в два прыжка очутилась на том берегу, исчезла за деревьями.

– Ушла... – процедил Степан. – Но глаз у тебя верный. Другой раз не промахнешь... Ну-ка, дай от греха, – забрал револьвер.

Улыбнулся:

– Говорят, раз в год – и веник стреляет... Крепко взял за руку.

– А теперь, коли помнишь, что я тебе ле-тось тут сказал – ответь!

Молчала Груня. Смотрела на деревню, на дым из труб.

– Во-он он – дом стоит!.. – продолжал Степан. Голос его дрогнул. – Княгиню ждет... Так когда сватов засылать, Аграфена Терен-тьевна?

Ждал ответа Степан Безродный. Робок казался он сейчас и беззащитен.

Вздыхнула Груня.
Поднялась на цыпочки и сама поцеловала его в губы.

– "...И ныне, Владыка, ниспосли руку Твою и сочитай раба Твоего сего Степана и рабу Твою сию Аграфену..."

Жарко горели свечи.

В их колеблющемся свете венцы над молодыми.

– "Венчается раб Божий Степан рабе Божией Аграфене во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь..."

Груня в подвенечном платье, фате.

– "Венчается раба Божия Аграфена рабу Божию Степану, во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь..."

Тесно в церкви. Горят свечи. Звучит голос священника:

– "Господи Боже наш, благоволи ныне рабы Твои Степана и Аграфену честный брак показати, в мире и единомыслии их сохрани, нескверное ложе их соблюди и способности старости маститеи достигнути чистым сердцем..."

Рвалась во дворе Безродного с привязи Найда...

А в доме шумела-гуляла свадьба.

– Брага горчит!..

Целовал жену Степан.

– Горько! Го-о-рь-ко!..

– Здоровье князя молодого и княгинюшки!

Лились брага и спирт.

Степан, бледный, хмельной, говорил:

– Нашли мы, други мои, плантацию женьшеня в глухой тайге... Туда сам дьявол не забирается, поди!

– Трех тигров убили, – вторил Цыган. – А медведей!

– От хунзузов два раза ноги уносили! Страшно и спомнить...

– Корни чудо – один на два фунта потянул... В Харбине купцы из рук рвали!

Не было за щедрым столом лишь Федя и отца его.

Переговаривались бабы:

– А Федька Козин в тайгу подался.

– Упорхнула от него касаточка!

– Отцу своему перечить не посмел.

– А кабы посмел?.. Да за такого сокола, как Степан, любая пойдет!

– У такого б ноги мыла да воду пила...

– А сама-то, сама-то – дитя совсем...

– Н-да... Орех на дереве растет да не фрукт.

– Дай срок – войдет в женскую силу...

Все мы, бабы, до поры застенчивы.

– А потом – упаси Бог!

А Степан говорил:

– Жить нам – не тужить, мужики! Вы мне подмогнете – и я вас не обижу... Только надо нам скопом держаться.

– Верно, Егорыч, скопом!

– Здесь в одиночку можно только с бабой переспать!

Гоготали. Смущалась Груня.

– Пирог горек!

– Го-орько!

Припадал к жене Степан.

– Г-оо-рько-о!!!

Распахнулась вдруг дверь.

Черной бурей – Найда с обрывком привязи на шее.

Вскочила на стол...

Повалились скамейки, полетела посуда:

– Бешеная!!!

Разметав штофы – прыжком к горлу жениха!..

В последний миг успел Степан выхватить наган – не расстался с ним и на собственной свадьбе.

Грохнул выстрел.

Страшно закричала Груня.

Опустела просторная горница. Брошен неприбранным пиршественный стол...

А под ним осталась лежать мертвая сука.

А в распахнутой настеж двери показался черный, как мать, щенок.

Подковылял, уткнулся носом в густую шерсть.

Вить он еще не умел, не мог. Надрывно заскулил.

Пришло новое лето.

Зной в тайге.

Прошла к водопою олениха с олененком.

Жадно пила у ручья.

Вдруг вскинула голову олениха-мать. Встревоженно всхрипнула и бросилась прочь.

Олененок за ней.

Шла по следу тигрица.

Припадала к земле, как кошка, нюхала, фыркала.

Шли звериной тропой старый таежник Макар Булавин и Федя.

– Тигр на человека зряшно не нападет, – говорил Макар. – Если не ранен и здоров.

– Косарей до смерти перепугал. Мальца одного чуть не загрыз!..

– Бабы в поле выходить боятся. Ночью костры жгем.

– Зверь, Федюша, только большого пожара боится...

Приглядывался Макар к одному ему приметным следам.

– Не иначе, тигрица к вам повадилась...

Прошлый год вы с маткой, у которой тигренка убили, повстречались – не забыл?.. Ну а пугаться человеку не надо, хоть и говорят: тигр хозяин тайги. Да прежде чем тигренок станет умным да храбрым, мамаша его три года за собой водит, учит. Медведь много умнее, но на человека только со спины бросается... Самый храбрый зверь и самый умный – волк. Всегда чует, когда с ружьем идешь!.. А вот воды боится. Нипочем не пойдет. Собака речку переплывает, а волк – нет...

И вдруг встал. Нагнулся низко – только что не понюхал тропу. Огляделся настороженно.

– Чего, дядя Макар?! – обеспокоился Федька.

– На прежний след вышли... Кружит тигрица нас по тайге! Мы ее следим, а она – нас.

Вздрогнул Федька, сорвал с плеча берданку.

– Погодь...

Ударом ножа срубил Макар раздвоенное деревце. Скинул куртку оленьей замши, набросил на рогульку.

– Держи... И уходи.

– Куда?.. – Вокруг стоял пугающий лес.

– А как шел. Пусть она думает, что нас двое идет. А я останусь здесь сторожить.

Замялся парень.

– Да как же, дядя Макар... Ты один...

– Не опасайся – иди... В тайге и козел страшен, коль к нему без ума подходить!

Пробиралась через тайгу куртка на рогулке, пряталась за деревья.

А с ней и Федька. Оглядывался поминутно, вслушивался...

Неожиданно вспорхнул рябчик из-под ног.

Отскочил в страхе Федька... Запутался в кустах, повалился в валежник...

– Чтоб тебя! – пробормотал, отирая пот.

Позади хлестнули выстрелы.

На звериной тропе распласталась тигрица – поддалась на обман.

Медведем вывалился из чащи Федька.

Макар предостерегающе поднял руку.

– Тихо! – прошептал. – Люди!

С винтовками наготове вышли к поляне с лесным бочажком.

Возле него сбились в кучу несколько человек с питаузами-котомками за спиной – корневщики.

Испуганно переговаривались.

Вышел из укрытия охотник:

– Здоровы ли будете, господа манзы?

Узнали, обрадовались:

– Макар!.. Макар!..

Горел костерок.

В стороне сохла на распялках тигриная шкура.

У костра пили таежный чай.

Что-то рассказывали Макару корневщики на своем языке, жаловались, просили.

Хмурился старик, изредка переспрашивал.

– Выстрелов испугались, – пояснил Федьке. – Опять манз в тайге побили.

– Хунхузы? – понимающе кивнул Федька.

Покачал головой Макар:

– Хунхузы в землю живьем закопают, к дереву на съедение гнусу привяжут... А тех кто-то ночью сонных ножами, как чушек, переколел.

Опять говорили корневщики.

– Боятся дальше идти, – сказал Макар. – Попросят нас проводить.

– Наша буду хорошо платить! – заглядывая в глаза Федьке, сказал старший из корневщиков.

Степан Безродный подъехал к воротам

своего дома и сильно постучал в столб-верёу.

Груня распахнула ворота.

– Принимай добро, жена! – сбросил на землю тяжёлую суму. – Как тут жила? Как мужа ждала?

– Уже и жданки потеряла... Аль в тайге другую нашёл?

Соскочил, обнял.

– Да где ж другая такая народилась?... Готовь баню. Мошка и клещ заели... Ещё пару таких ходок – и богач я!..

Поставив коня, присел на крыльцо, стягивал сапоги. Вдруг послышался вой.

Откуда ни возьмись, выросший в здорового пса Шарик. С рычанием пошёл на Безродного.

Хлестнул пса плеткой:

– Тебя не хватало!

Шарик присел на задние лапы, прыгнул... Вскочил в одном сапоге Безродный, отбивался наотмашь плеткой от наседавшего пса.

– От дьявол!.. Хунхуз!

Пес не отступал, лез без звука, молча, по-волчьи. Рвал сапоги, штаны...

Во двор въехал поотставший Цыган.

Пес ударил грудью. Не удержавшись, Степан скатился с крыльца.

Прямо с коня прыгнул Цыган на вновь изготовившуюся к прыжку собаку, подмял под себя...

Вдвоем набросили на мохнатую шею ременную петлю.

Задыхался, хрипел чёрный пес, но не уступал, рвался на противников...

Выбежала Груня:

– Что делаете?! Оставьте его!.. Шарик!!!

Обернулся Степан:

– Тебе собака дороже мужа?! Ради кого меня в тайге гнус точил?!

– Пусти! Пусти, говорю! – Груня вырвала ремень из рук Цыгана. – Пошли, Шарик! Пошли!..

– Шарик?! Хунхуз... Чистый Хунхуз!! – Степан провел по лицу, размазывая кровь.

– Идем! Идем, Шарик!

Пес оборачивался, скалил зубы...

– Чуть не пришлось тебя в бабушкин поминальник записывать, – сказал Цыган.

– На цепь его посади!.. – приказал Сте-

пан. – Да ошейник медью обитый, чтоб не сорвался. Силен дьяволина!.. В тайгу с собой возьмем. Будет фазанов искать.

Цыган усмехнулся:

– У него мать из тайги пришла. Волчий помет... Смотри, сожрет он тебя вместо фазана.

– Укороти язык, ботало! Будет за три сопки на свист мой бежать. Покорю!

Возле заимки Макара Булавина кипел на огне котел. Подбрасывал сучья Федька.

Макар помешивал в котле, бурлила кипятком хвоя.

Подцепив, вытащил... капкан... второй...

– Вишь, Федюня! Я капкан в пихте проварил – железа запах отбил. А силки-насторожки в валерьяновом корне выварим... Будем ловушки ставить, колья набьем без протески – все под цвет тайги. И ходить по ней, кормилице, надо, как барс ходит – чтобы шаг свой ты даже сам не слышал.

– Все-то тебе, дядя Макар, в тайге известно... А вот чем Безродный промышляет – знаешь?

Вздыхнул старик:

– Здесь ястреб – свидетель, медведь – прокурор.

– Двор его рядом с нашим, – продолжал Федька. – Пес здоровенный на цепи сидит. Степан его всякий день смертным боем бьет – учит. Груня плачет, Христом-Богом просит: "Пощади!.." А Степан еще злее... Только не покоряется ему пес. Зверем бросается!

– На Степана?.. А на других?

– Не примечал...

Здрав голову, Федька смотрел, как в небе, распластав крылья, парил орлан.

– Как ты, дядя Макар, сказал? Ястреб – свидетель?.. Погоди, Безродный, за все разочтемся...

Пустынен утром берег таежной реки. Ни души.

На берегу, под кустами, девичий сарафан и рубашка. Груня заплывала за бурливый пережат. Долго ныряла и плескалась в тихом плесе.

Поблескивали на солнце золотом серьги

в ушах, крест на груди, кольца... А когда, поживаясь от утренней прохлады, вышла на берег – одежды не было:

Съежилась, прикрылась руками.

И услышала за кустами тихое всхлипывание.

Осторожно раздвигая ветви, пошла на звуки.

Федька сидел на валежине, плакал, утирая слезы ее сарафаном.

Сжалось сердце, забыла, что нагая:

– Не плачь! Не надо!

Вздрыгнул Федя, испуганно вскочил, бросил ей в лицо сарафан и кинулся бежать.

– погоди! – крикнула, натягивая одежду.

– Пошто ты от меня бежишь?

Приостановился Федор:

– А ты теперь мужняя баба.

– Сам виноват...

На мокром теле никак не натягивалась залипшая юбка, и Груня вдруг всхлипнула:

– Дурак...

Справилась, наконец, с сарафаном.

– Ну, что молчишь?.. Давай дружить, Федя.

– Чокнулась?! Ить ты замужем!

– Ну и что? Если замужем, разве нельзя ни с кем дружить?

– Дурочка ты... Глянь, сколько золота на тебе! Чье?

Озлилась Груня:

– А ты бы в тайгу сходил, как Степан, да принес мне сережку в ушко.

Передернуло Федьку, вырвалось:

– Кровь на тех сережках...

Не поняла Груня:

– Что?.. – Заглянула в глаза. – О чем ты, Федя? Какая кровь?

Не помня себя, выпалил:

– Убийца твой Степан! Он манз убивает!

Отшатнулась Груня. Только и смогла прошептать:

– Врешь...

– Вру – недорого беру...

Повернулся и побежал по косогору.

Бежала за ним Груня. Задыхаясь, кричала вслед:

– Врешь!.. Врешь!.. Завидуешь!.. Дурак!!

Билась на постели в рыданиях.

– Покажи! – метался по горнице Степан.

– Покажи, кто такое ляпнул?! Убью!

– Вот оно! – выдохнула Груня, вскинула в слезах лицо.

– Ну что ты?! Что?.. Разве я похож на убийцу?! Наговор! Счастью нашему завидуют... Груня, Грунюшка... Врут! Все врут!.. Богом клянусь!..

Поднялась Груня, сорвала с божнички бронзовое распятие.

– Целуй!.. – Поднесла к губам мужа. – Смотри, Степан, – страшен грех клятвопреступника!

– Клянусь, чист и безгрешен я перед Богом и перед тобой!

– Целуй!

Трижды приложился к распятию Безродный.

– Теперь верю... – облегченно вздохнула Груня.

– Да как ты могла!.. Лебедь моя белая...

Обнимал, целовал молодую жену...

Сдавалась, закрыв глаза, отвечала на поцелуи Груня... Прошептала в ухо:

– Степан... Соленого хочу...

– Что?..

– Дитя у нас будет...

– Чего же молчала?! – возликовал Степан. – Вот радость-то!

Еще жарче обнял жену.

– погоди... погоди... – шептала, уступая, Груня.

На рассвете из леса вывалился медведь.

Спустился к реке.

Сел у самой стремнины.

Проблескивала в воде серебром рыба...

Медведь бил лапами неожиданно, сильно.

Вытаскивал добычу бурый рыболов.

И вдруг зарычал глухо. Подался задом от реки...

Вода несла мертвое тело. Вцепилась рука в пустую котомку-питауз.

“Хунхуз” сидел на цепи. Прошитый медными бляхами ошейник придавил густую шерсть на шее.

Из дома вышел Степан. Хунхуз вскинул голову, завыл.

– Опять развылся? – пнул собаку Безродный.

И запрыгал на одной ноге – пес прокусил ичиг – мягкий сапог.

– В бога мать!

Подобрал было лежащую на земле палку, но пес опередил, клацнули зубы... Степан едва отдернул окровавленную руку. Озверев, выдернул из поленницы здоровенное полено.

Пес прыгнул навстречу... И захрипел, упал – цепь не пустила.

А человек бил куда попало. Пес крутился, уворачивался и раз за разом молча бросался на врага... Гремела цепь.

Степан неистово избивал собаку:

– Врешь! – Все больше зверел. – Запросишь пощады!.. Врешь! Покорю!!

Белой птицей слетела с крыльца Груня:

– Остановись! Богом молю!..

– Сдурела баба? Мужу перечить!

Оттолкнул, отбросил. Вновь с поленом на окровавленную собаку:

– Покорю!!

В руке Груни наган – совала мужу.

– Держи! – кричала. – Застрели лучше его, чем так изуверовать! Стреляй!

Страшен был окровавленный пес. Оскалив зубы, шел на Степана... Не помня себя, выстрелил Безродный.

Хунхуз ткнулся носом в землю. Пробежала по телу дрожь. Замер.

А рядом, обмерев, повалилась Груня.

Бросился к ней, поднял на руки Степан. Понес в дом.

Лежала посреди двора убитая собака.

На крыльце вновь показался Безродный. Был мрачен. Позвал:

– Цыган! Падаль убери!.. Эй, Цыган!..

Никто не отозвался.

Спустился, подошел к телу Хунхуза.

Нагнувшись, снял прошитый бляхами широкий ошейник...

И вдруг пес поднял голову!

Отшатнулся Степан.

А пес встал покачиваясь. Пошел на человека. Пузырилась кровавая пена на пасти. Страх охватил Степана, в горле застрял

крик...

А окровавленный пес прыгнул! На этот раз цепь не держала его.

Упал Степан.

Страшные клыки над ним... Успел лишь прикрыть рукой горло...

На миг все заволокло тьмой...

А пес не спешил. Покрутил головой – и словно понял, что он свободен!

Враг его лежал неподвижно, не кричал, не бил.

И пес оставил его, кинулся к распахнутым воротам.

Сквозь щелочки век Степан в страхе следил за ним.

А пес вернулся.

Обнюхал не подававшего признаков жизни человека... Поднял лапу, помочился.

И, распустив хвост–полено, метнулся на улицу.

Вскочил Степан. Заорал:

– Цыган! Винтовку! В бога мать!

Когда он выскочил с берданкой за ворота, пес скакал наметом в сторону близкого леса.

Летел, едва касаясь лапами земли.

Степан прицелился, выстрелил...

Промазал.

Он выстрелил еще раз.

Мимо.

В третий раз выстрелил Безродный.

Исчез в тайге черный пес...

– Ушел? – подоспел Цыган.

Тяжело перевел дух Степан.

– Пес этот – судьба твоя, – проговорил Цыган. – А судьбу мы не выбираем... Разве только ты стрелять разучился?

Над сопками широкими кругами ходил орлан.

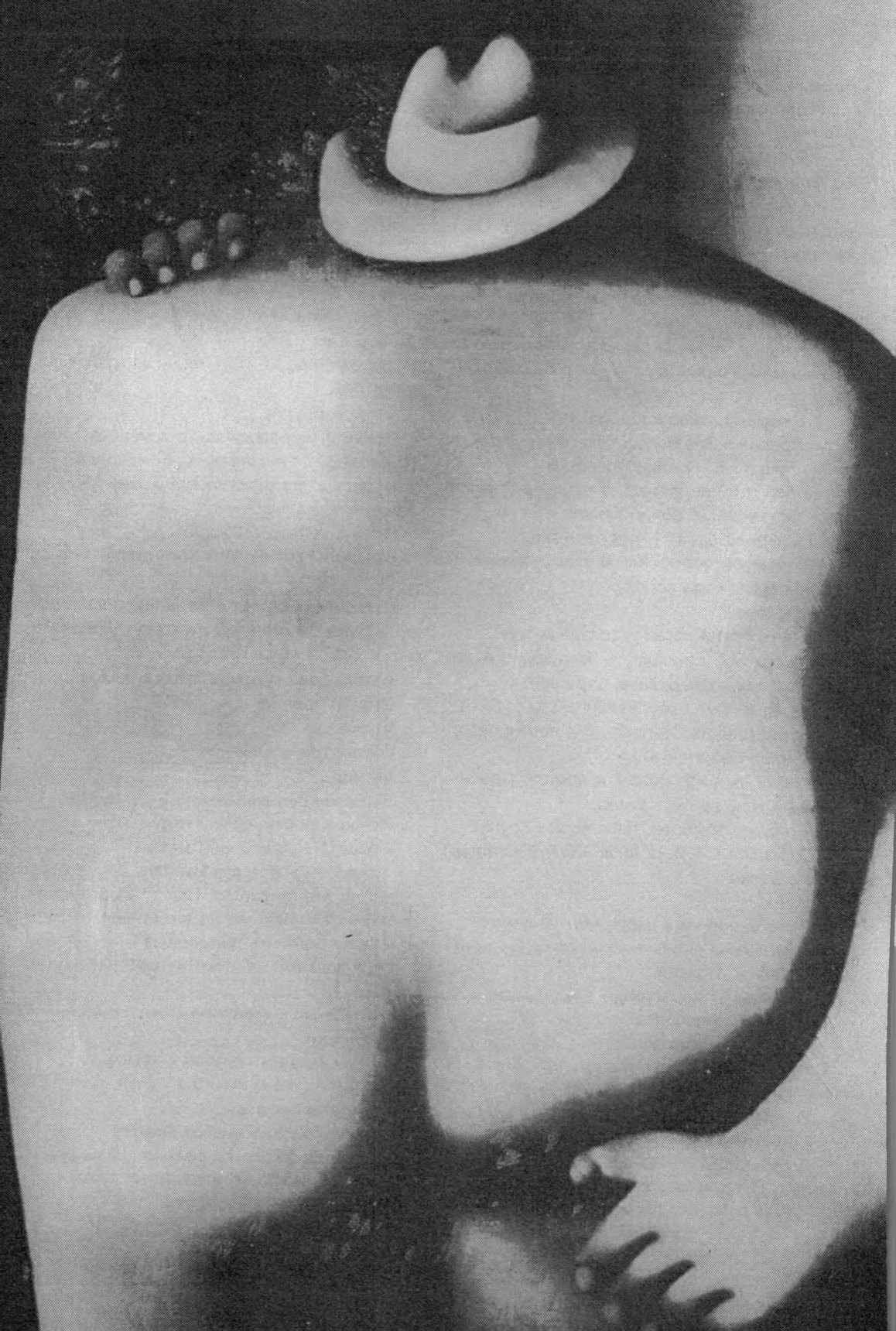
Безродный вскинул винтовку, прицелился и выстрелил.

Орлан камнем полетел к земле...

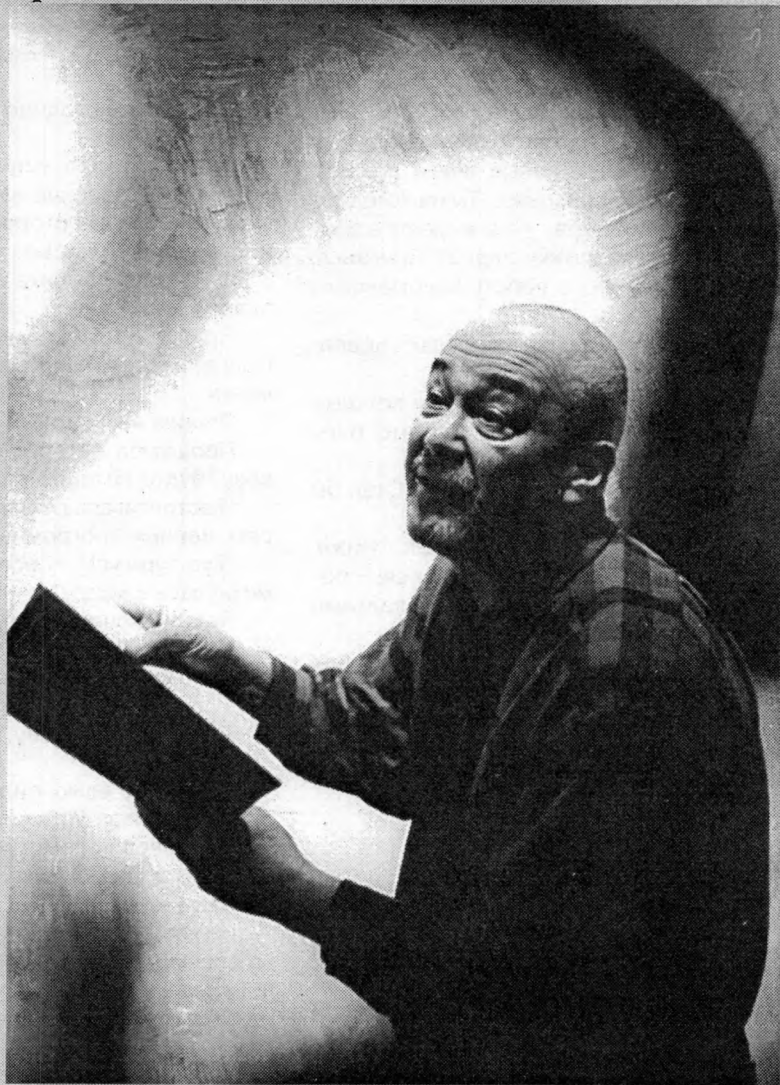
Рухнул на каменный бок сопки, распластав метровые крылья.

Невесело ухмыльнулся Степан.

Садилось за сопкой солнце... И снова на миг привиделось ему в закатных лучах – огромная, черная тень собаки...



Галерея "ДОМ НАЩОКИНА"
при журнале "Киносценарии"
представляет выставку работ
ОЛЕГА ЦЕЛКОВА
"Через 20 лет – снова на Родине"



Каталоги выставок Олега Целкова и Михаила Шемякина
можно купить в редакции нашего журнала по адресу:
103006, Москва, Воротниковский пер., д. 12,
тел. 299-11-78; 299-47-74.

Часть вторая

Накатывалась лавина волков.

Стая гнала по тайге собаку. Шли полукольцом, не давая беглецу кружить.

Черный пес выбивался из сил.

Стая настигала.

Впереди крупный бурый вожак...

Макар Булавин и Федор ставили в лесу ловушку на кабаргу. Макар забивал нетесанные колья-изгородь, Федор ладил в оставленном проходе петли.

– Шел я раз домой без ружья, – рассказывал старик. – В руках у меня сапожные колодки были, хотел новые ичиги пошить. Гля – навстречу косолапый... Ты на кого ставишь? – перебил себя. – На жирафу африканскую?.. Ты кабарожку видел? Пригнись, пригнись... Рад, что с версту коломенскую вымахал!

– Ладно, дядя Макар, переделаю, недолго... Ну так, медведь навстречу?

– Да-а... А у меня в руках одни колодки сапожные... Вот скажи, Федяша, что б ты сделал? Побежал?

– Не-е... – улыбнулся Федор. – Стал бы колодкой о колодку стучать!

– Верно, ястри ты! И я не побежал... Ниже, ниже вяжи... Кабарожка – вот она вся! – показал в метре от земли. – Стал я колодками стучать. Удивился косолапый...

Долетел протяжный вой. Понесся над тайгой!.. Слышалось в нем звериное торжество.

– Серые... – проговорил Макар. – Загна-ли кого-то.

Волки бежали по пятам.

Вожак поровнялся с беглецом.

Молча прыгнул.

Пес едва успел вернуться. Клацнули у плеча клыки. Из последних сил устремился к просвету за деревьями.

За опушкой леса – крутой берег таежной речки...

Стая готова была замкнуть кольцо.

Отчаянным усилием пес прорвался к реке. Кубарем скатился вниз. Бросился в воду.

Поплыл...

Преследователи остановились на берегу. Сбились в кучу. Самый молодой сгоряча

влетел было в реку, но тут же выскочил обратно.

Черный пес плыл к противоположному берегу.

А стая вслед за вожакom затрусилa назад, к лесу. И вскоре оттуда послышался волчий вой: гнали новую добычу... Пес, выбравшись на берег, упал.

Лежал, вывалив язык, жадно хватал воздух запаленной пастью.

Тайга жила своей жизнью.

Вспархивали к гнездам, к птенцам птицы.

Рыл прошлогодние желуди под дубом кабанчик.

Рыжая белка спрыгнула с дерева, поднялась на задние лапы, поводила с опаской головой по сторонам и поскакала по поляне в поисках съестного.

А из-за валежника за ней внимательно следил пес.

Припал на лапы, уши прижал, затаился. Прицеливался: как бы взять пушистый комочек.

Пополз на животе.

Прошумел ветер. Белочка вскинула голову, будто ей тайга сказала что-то...

И встретилась глазами со страшным зверем, черным и огромным!

“Гур-гур-гур!” – испуганно закричала и метнулась к кедру.

Пес выскочил на поляну, да было поздно...

“Цок-цок-цок!” – бранилась с дерева белка.

Пес, задрал голову, обиженно твякнул...

Заяц под елью сидел тихо, недвижно, раскосые глаза уставились на пса.

Тот повел носом, уловил запах.

На этот раз он сразу сжался в пружину. Прыгнул на зайца...

Но косой ждал этого. Взвился вверх, едва не коснувшись клацнувших клыков, и перепрыгнул через спину собаки!

Серым комом скатился в гущу орешника.

Пес взлаял, бросился следом, но тут же уперся в стену ветвей.

Крупной собаке было через них не пробиться.

Пес заметался у орешника.

А заяц сидел за валежиной и прядал ушами.

Пес видел его. Злобно метнулся на чашу, рвал зубами кусты... Зашелся в неистовом лае.

Но заяц продолжал сидеть под надежной защитой.

“Цок-цок-цок!” – издевалась с дерева белка.

Наконец, пес устал. Жадно напился воды из лесного бочажка и затрусил дальше.

И тогда косою вышел из укрытия.

Проскакал по поляне и тоже напился из бочажка.

Пес блуждал по тайге.

Он был голоден.

Пытался несколько раз поймать птиц на тропе, но они вспархивали из-под самого носа... Наконец, лег под старой дуплистой липой перевести дух.

Круглая, усатая морда показалась из дупла.

В следующее мгновение на спину собаке свалился дикий уссурийский кот.

С визгом вскочил пес.

Грязно-серый кот вонзил когти в спину, отвратительно шипя, рвал уши, лоб, норовил вырвать глаза.

Метался обезумевший пес, пытаясь сбросить страшного всадника...

Наконец, перевернулся через голову, прокатился на спине, и лишь тогда разжала когти вцепившаяся кошка.

Отскочила в сторону, грозно зашипела.

А пес бежал стремглав от страшного места.

Бежал и бежал по тайге...

Ночью поднялся ветер.

Гудела, пугала тайга. Отзывалось разбуженное эхо.

Пес взбирался на сопку. Что-то будто выстрелило рядом: треснула лесина-сухостой...

Пес отпрянул. Испуганно взлетел на вершину.

Сел на хвост-полено.

Вокруг лежал чужой, не принимающий его мир. Завывал ветер: “Уу-у-у-уу!”

Пес поднял морду к небу, где в рваных тучах пробивалась луна. И отозвался:

“Ив-ив-ив-воуууу!!”

Волчьим воем.

Макар шел охотничьей тропой, осматри-

вал свое хозяйство: капканы, силки, ловушки.

В одном из капканов верещал пушистый зверек, рвался отчаянно... Бросался на человека.

– Вот ить, мелкая тварюшка, а перед смертью и на медведя пойдет!

Прихватил зверька рукой, отжал железные челюсти.

– Эка, шкурку побил!.. За такую и цены не дадут...

Извивался зверек, пытался укусить руку.

– Ладно, гуляй уж, Аника-воин!

Упал в мягкую листву зверек, в тот же миг исчез... Птичий гомон стоял в тайге. Цвиркали поползни, перекликались снегирь. Стучал дятел, словно гвозди заколачивал.

Снова ворвался волчий вой. Макар оставился.

Волк выл один и на одном и том же месте.

Старик сдернул с плеча винтовку, пошел на звук. Без шума пробирался сквозь чашу.

Раздалось предупреждающее рычание. Макар осторожно раздвинул куст.

Его кабарожья изгородь. А в петле...

Сидел большой черный волк. Вздыбив шерсть, смотрел на человека.

– Мать моя – волчара!!

Вскинул Макар винтовку.

Волк смотрел обреченно, ждал выстрела...

И вдруг старик услышал собачье поскуливание. Пораженный, опустил винтовку.

– Ястри тебя в нос!.. Ты ж не волк... Собака!

Пес скулил слабо, жалостливо. Он почти наполовину перегрыз ель, за которую была привязана петля. Счастье – попал в нее не за шею, захлестнула петля его через плечо, под лапу...

– И как же, милок, тебя угораздило?!

Освободил пса от петли.

Тот с рычанием отскочил. Макар полез в котомку, бросил кусок хлеба.

Пес не схватил сразу, тщательно обнюхал и лишь затем, почти не жуя, проглотил.

– Ешь! – старик кинул еще кусок. – Ишь, отощал... Да, кому тайга мать, кому и мачеха...

Пес жадно ел.

– Кто ж ты будешь?.. Шея вон ошейником натерта. Может, сейчас хозяин по тебе

жалкует... А может, его уже и в живых нет – стрелил хунхуз?

Пес злобно зарычал.

– Неужто понимаешь? – изумился Макар. – Как же мне тебя звать–величать? Барбос?.. Или Тузик?.. Нет, больно плевое прозвище, не по тебе...

Бросил последний кусок хлеба. Хотел было погладить собаку, но пес ощерил зубы, в глазах блеснул зеленый огонек.

Отдернул руку Макар:

– Есть в тебе волчья кровь... Кто ж ты? Черный волк?.. Во!.. Черный... Черныш... Так и быть тебе Чернышом!

Пес вслушивался в ласковую речь человека.

– А меня зову Макар, Макар Сидорыч Булавин...

И все еще скаля на всякий случай зубы, пес слабо шевельнул хвостом.

Пришла новая осень в тайгу.

Вновь запыхали и облетели жаркие краски сопок...

"Тихо вокруг, только солдаты не спят..."

Возвращался вечером домой Калина Козин. Ехал на телеге лесной дорогой, вез припас из торгового села. Распевал самую подходящую песню: "На сопках Маньчжурии".

Быстро темнело.

– Н-но!.. Н-но, Гнедой! Шевелись!.. Дома ждуть!.. "Вот из-за туч взглянула луна..."

Внезапно налетел ветер, швырнул каплями дождя.

– Эх, не надо было с купцом магарыч пить!.. "Отчизны храня поко-ой!.." Н-Но, Гнедой! Н-но!!

Хлынул дождь. Дороги уже почти не видно.

Отчаянно погонял коня Калина – в темь...

Затрещали кусты, и телега встала.

– Куды ж ты, Гнедко?!

Соскочил на землю.

– Батюшки-светы!.. Неужто с пути сбился?!

Подхватил лошадь под уздцы, повел. Скрипела позади телега... Но куда ни ткнется мужик – везде стена кустов, леса.

Застонал, закричал в темноту:

– Лю-ди! Лю-ю-ди!.. Ратуйте!

Да кто услышит в непогоду в тайге?.. Только все сильнее шумел дождь в деревьях.

– По-мо-гите!!

Дико всхрапнул Гнедой... С ржанием рванулся в сторону.

– Стой! Стой! – орал Калина, догоняя убегающую телегу.

Уцепился за задок, перевалился на мешки. Оборотился назад.

И увидел за дождем черного зверя – не то медведь, не то огромный пес!.. Бежал молча за телегой.

Уходила галопом испуганная лошадь.

– Свят!.. Свят!.. Свят!!

Вылетели из леса на тракт.

Остался за дождем черный зверь...

В деревне собрались бабы у колодца. Судачили:

– Мой Кузьма третьего дни в распадке изюбра следил. Матерый был изюбрин... Вдруг откуда ни возьмись – черный без отметины пес. С теленка ростом – право слово! И на изюбря. В одиночку завалил! А из чащи Макар выходит, и дьяволина эта страшная к нему, как щенок, ластится...

Ахали бабы.

– Говорят, медведя громадного задавил! Где ж это видано: собака – медведя?!

– Это что... это что! – прорывалась третья. – Семен мой на Покров ездил сено проведать да к Макару на заимку завернул, барсучьего сала попросить... Так со страха чуть не очоурился! Макар со своим псом ругался. Макар ему слово, а пес – черный, смоль смолью, лежит на Макаровой постели – ему два!..

– Известно, Макар – колдун!

– Со зверьми по-звериному говорит, с птицами – по-птичьим...

– Заговором лечит...

– Сглаз у него!..

– Чернокнижник!..

– Колдун, колдун!..

Проходил мимо Федор:

– Эй! Не надоело языком трепать, боталы?!

Накинулись хором:

– Сам у колдуна в пособниках! Душу лучше свою побереги!.. Иди, иди! Ждет тебя нечистая сила!

Сплюнул Федор, пошел от греха.

А от колодца все доносилось:

– Дьявольской масти!.. Душу продал!.. Черный дьявол!..

Желто-зеленые глаза неотступно следили за человеком.

Груня забрела далеко в тайгу, собирала позднюю морошку. В лукошке крупные золотистые ягоды.

И не подозревала, не чувствовала, что кто-то следит за ней.

Зеленые глаза смотрели с развилки старой ели. Светло-рыжее, в темных пятнах тело напружинилось, приготовилось к прыжку... Барс!

Груня поравнялась с елью, наклонилась за ягодами.

Ринулся вниз хищник в распластанном полете...

В последний миг кто-то с силой ударил Груню в спину. Отлетела в сторону... Упала... Звериний рев, рычание.

Груня подняла голову.

На поляне схватился с барсом большой черный пес. У собаки были только клыки, а барс рвал зубами, пускал в ход страшные когти... Но пес не уступал.

Груня в страхе смотрела на смертельную схватку.

Грохнул выстрел.

Рванулся барс, оставляя в пасти врага шмат пятнистой шкуры. Метнулся в спасительную чашу...

Поднялась Груня. Ноги не держали. Шагнула к собаке.

На поляну выбежал старик с берданкой:

– Стой!.. Стой, дочка!.. Черныш, ко мне! Но Груня продолжала идти.

– Берегись, дочка!.. Не подходи!.. Черныш!!

И тут произошло неожиданное: пес едва не полз ей навстречу, виляя хвостом.

Груня протянула руку.

Замер Макар, боялся закричать лишний раз.

Ладонь женщины легла на густую шерсть, и страшный пес от этого прикосновения задрожал, заскулил.

Ахнул Макар.

А Груня взяла обеими руками окровавленную голову собаки и прижалась к ней лицом:

– Шарик!!

Счастливо урчал грозный пес. Пел свою скупую песню любви.

В окно светила луна. Не спалось Груне.

Рядом тяжело дышал, всхрапывал Степан.

Груня тихо поднялась, босыми ногами неслышно подошла к окну, отворила.

В призрачном лунном свете стояла тайга.

Тихо. Только где-то кричала ночная птица.

Но вот в тишине возник далекий вой... Не то тосковал зверь в тайге, не то звал кого-то...

– Бей! – хрипло выкрикнул Степан.

Вздрыгнула Груня.

– Бей! – кричал во сне Степан. – Цыган!.. Фазана стреляй! Уйдет, стерва! В голову бей!..

Груня, прижав к груди руки, смотрела на мертвенное в свете луны лицо мужа.

– Хунхуз... – хрипел Степан. – Не надо!.. Хунхуз!! А-аа-аа!..

Оборвав крик, вскочил на постели. В глазах – страх.

– А!.. Что?! Груня!.. Ты где?!

– Тут я.

– Квасу подай...

Молча налила кружку. Степан, проливая на рубашку, выпил.

– Фу-у!.. Надо же – чертовщина приносится... А ты пошто не спишь?

– Тоже... сон видела...

– Да?.. – Успокаиваясь, притянул на постель Груню. – И чо?

– Шарика видела.

– Шарика?.. – Нахмурился, вспоминая свой сон. Мотнул всклокоченной головой, коротко хохотнул: – Экая ерунда собачья!.. Не иначе к дождю...

Облапил жену, завалил на кровать.

– Не трожь! – уперлась руками ему в грудь Груня. – Не трожь!.. Ребенка твоего ношу...

Отпустил Степан, оставил.

– Панцуй!

– Шимо панцуй?

Маленькая группка корневищиков-манз нашла плантацию женьшеня.

– Шибо юла!

– Панцуй!..

Сидя на корточках, костяными палочками осторожно – не повредить нежную кожу – выкапывали драгоценные корни.

– Панцуй!.. Панцуй!..

Заговаривали нехитрым заклинанием чудо-корень – чтоб не спрятался, не исчез.

Поднял голову старший из корневищиков, отер пот – и увидел...

По склону сопки спускался большой чер-

ный зверь. Нес на спине убитую коосулю...

Застыл на корточках корневищ. Шептал заклинания, дабы умилостивить появившегося духа гор...

Черный пес с косулей на спине был в окулярах бинокля... Спускался с распадок...

Степан опустил бинокль. Стояли с Цыганом на вершине сопки. Рядом щипали траву оседланные кони.

Покосившись на напарника, Безродный незаметно перекрестился... Снова поднял было бинокль и услышал:

– Глянь!..

Цыган указывал на распадок.

– Глянь!.. Видел когда такое?!.. А? Уж не этого ли зверя Дьяволом кличут?

Спускался в распадок огромный пес с косулей на спине.

Видел это теперь Степан и без бинокля. Не померещилось, значит... А вслух сказал:

– Перекрестись.

– Чо?

– Перекрестись, чтоб нечистый не мерещился...

Зашарил биноклем по сопкам... Вернулся окулярами к распадку.

Пса уже не было.

– Шарик!.. Шарик!

Визжа бежал навстречу Груне черный пес, виляя хвостом, встречал у Макаровой заимки.

– Ну, здравствуй, здравствуй!.. А дедушка Макар дома?..

Ластился, как щенок, терся о ноги.

– Дедушка!.. – позвала Груня. – Дедушка Макар!

Дверь избушки отворилась, на пороге... Федор.

Растерялась Груня.

– Ты?.. А-а... Дедушка Макар где? Я к нему.

– В тайгу ушел. А мы, – кивнул на собаку, – поджидаем... Пришла – заходи. Гостями будем.

В тесной избушке тигриной шкурой прикрыт топчан, медвежья – на полу. По углам связки меха.

Черный пес распластался у ног Груни. А Федор сидел рядом, говорил:

– Отец меня тогда под замок посадил... А потом и вправду в горячке свалился, в

беспамятстве лежал... Любил я тебя, Груня, очень...

– А теперь небось жалко тебе меня?.. Да?

– Сам не знаю, кого мне жалко: тебя или себя... Но если правду говорят про Безродного...

– Ночью кричал... – прошептала Груня. – “Цыган! Фазана бей – уйдет!..” С тем и к дедушке Макару шла...

– “Фазана”, – стиснул зубы Федор. – Они так манз называют.

– Он крест целовал!

– Эх! – вырвалось у парня. – Да он и тебя воровством взял!.. Ладно, теперь уж все одно... Цыган пьяный бахвалился, как они ваших коней угнали, а припас из амбара в реку ссыпали... Чтоб ты покладистой была!.. Не веришь?

Заломила руки Груня, взмолилась:

– Господи, да что ж мне делать?! Федя... Скажи! Посоветуй!

– Уйди на все четыре стороны...

– Законная я ему жена... Разве он отпустит? Под землей найдет.

Обнял Груню за плечи Федор. Поднял голову, зарычал пес.

– Мне доверься. Уберегу.

Только вздохнула Груня.

– Люба ты мне!.. Люба!

– Молчи! Молчи!.. Грех это, Федя!

Перебирала, как когда-то, пальцами его густые волосы.

– Молчу... – горько произнес он. – Разве ж не понимаю: на тебя и тучка не должна упасть, тенью накрыть...

Пес шумно вздохнул, положил свою большую мохнатую голову на колени Груне. Она погладила и ее.

На перевале хлестнули выстрелы.

Макар остановился.

Свернув с тропы, побежал на них. Задышавшись, пробивался через чащу.

Выстрелы, истошные крики, матерщина...

Тяжело дыша, старик раздвинул кусты.

На поляне двое – лиц не разобрать – добивали корневищиков. Манзы просили о помощи.

Макар, сорвав с плеча берданку, поймал на мушку одного из бандитов...

Но вдруг непривычно затряслись руки, заглянула мушка...

Все поплыло перед глазами... Медленно осел на опавшую листву... А когда пришел в

себя, услышал треск сучьев под торопливыми шагами... Голоса...

- ...Неужто мог бы и меня – так?
 - Запросто. Коль изменишь – убью!..
- Топот копыт...

Макар сидел, ловил ртом воздух, держался рукой за сердце.

С трудом поднялся, вышел на поляну.

Лежали, как их застала смерть, корневишки...

Под ноги попался большой корень женьшеня... Корень-человек, казалось, смотрел в небо.

С моря пришел осенний ураган.

Забушевал над сопками.

Между деревьями носились бородатые тени – летели обрушенные ветром разлапистые ветви... С треском ломались старые лесины...

Дьявольским шабашем выла, грохотала тайга.

Исхлестанный бурей, воротился домой Степан.

Встретила Груня – на бледном лице запавшие глаза.

Соскочив с коня, спросил привычное:

- Как жила, жена? Как мужа ожидала?

Не дождавись ответа, направился к дому. Приказал:

- Пошли. Коня Цыган поставит.

В горнице плюхнулся на лавку, протянул ноги в замызганных грязью сапогах:

- Разуй мужа.

Груня молча опустила на колени, стянула сапоги, сдернула пропотевшие портянки.

Степан с облегчением пошевелил пальцами.

Прошлепал к столу. Взял четверть со спиртом, налил себе стакан, в другой – на донышко. Протянул Груне:

- Ну, выпьем за наше счастье, жена!

- Не могу... – отстранилась Груня.

- Нашим счастьем брезгуешь?!

- Запах слышать сейчас не могу. Ты же знаешь.

- Это верно, – оглядел округлившийся живот Груни. – Тебе свежий дух нужен... Почаще в тайге гулять... – Голос рвался.

Залпом осушил стакан. Зачерпнул щепоть капусты из миски, заел. Налил еще.

- Неужто ты дитю своему беды желаешь?

Груня стояла с отрешенным лицом.

- Не пойму я тебя.

- Говорят, в тайге с дьяволом спозналась?

- Ты больше слушай.

Но Степан уже сдержаться не мог:

- А может, дьявол тот на двух ногах и без хвоста? А?..

Вспыхнула Груня:

- Побойся Бога! Я тебе верная жена!

- Прости меня, Господи!.. – залпом выпил, перекрестился на божницу.

Под ней лежала толстая книга. Взял в руки.

- "Житие святых"... Славно... А может, дьявол тебе это житие на ночь читает?!

Швырнул в угол книгу.

- Дознаюсь – обоих порешу!

Вышел, хлопнув дверью.

Груня подняла книгу. Глянула в раскрывшуюся страницу. Медленно прочитала:

- "...Святая Анна стала в посте и молитве просить Бога о даровании им ребенка. Молитвы праведницы были услышаны, и вскоре Ангел возвестил ей о рождении дочери..."

Закрывает книгу, слабо улыбнулась:

- Пелагеюшка!.. Как маму, назову.

Связки меха по стенам избушки Макара. Топится печь. Корень женьшеня на столе.

Сам Макар корпел над листом бумаги:

"Ваше превосходительство, господин губернатор. Пишу это я не для праздного доноса. Буря схоронила в тайге след убийц..."

Непривычной была работа. Ложилась на бумагу старинная вязь:

"...Ваше превосходительство, внимайте и защитите подданных государственных – манз-корневщиков..."

Послышался лай на дворе. Рычание.

- Черныш! Ты чего?..

Старик встал, приоткрыл дверь. Позвал: - Черныш!

За изгородью – оседланный конь. А пес лает, рычит под развесистой липой. Остервенело прыгает на нее.

- Хозяин, убери пса! – послышалось с дерева.

В развилке – бледный от злости Степан Безродный. Ярился, пытался достать его пес. - Убери!!

Старик насили оттащил пса от липы. Загнал в низенький сарайчик.

– Плохо гостей встречаешь, Макар Сидорович, – процедил Степан, слезая с дерева.

– Смотри с чем гость пожаловал.
– Веди в дом, скажу.

Присел Степан на лавку. Усмехнулся:

– Пес-то мой. Хунхуз... Сорвался с цепи, убежал в тайгу, а ты себе взял... Так таежники не делают! Подобрал чужого пса – верни хозяину. Промысловая собака, сам знаешь, чего стоит.

Промолчал старик.

– Мой пес! – повторил Степан.

– Твой, – угрюмо отозвался Макар. – Признаю... И вижу, не забыл он твоей плети. Отдай тебе – убьешь!

– А это уж мое хозяйское дело! – сверкнул глазами Безродный. – Запросто – коль мне изменит!

Вздрогнул Макар. Узнал голос... Говорил еще что-то Степан... Только не слышал ничего старый таежник... В ушах – треск сучьев под ногами... Голоса:

“Неужто мог бы и меня так?”

“Запросто – коль мне изменишь!”

Очнулся Макар.

– ...Только откуда тебе про мою плеть известно?! – подступал Безродный. – Во дворе ты у меня не бывал, а Хунхуз, хоть и умен, но говорить не умеет...

Севшим голосом Макар спросил:

– Как ты сказал?

– Аль плохо слышишь? Хунхуз, говорю, хоть и умен, а рассказать не умеет!

– Нет... Прежде... “Запросто” – ты сказал...

– Ну, “запросто”... – не понял Степан, но насторожился.

– А дальше?..

– Не помню...

Корень женшена на столе притягивал его взгляд. Взял в руки:

– Где добыл?

И тут увидел исписанный листок: “Его превосходительству господину губернатору...”

Обернулся. В руке – наган.

– Доносы пишешь?!

– Убери пукалку. Пуганный.

– Теперь с тобой только через это говорить буду.

– С этим и вовсе не получится... А чего всполохился? Там про тебя не было.

Понял свою промашку Степан – выдал себя.

– Значит, не ошибся я! – произнес Макар. – Узнал тебя... убивец.

Степан порвал листок.

– Станешь молчать – тебя... и пса помилю. Пусть остается. Золотом приплачу. Не пожалю.

– Покупаешь?

– Здесь все покупаются.

– Макар не продается.

Без оружия стоял старик, но видел Безродный – не уступит... Поднял револьвер.

Распахнулась дверь...

На пороге пес. Шерсть дыбом, в глазах волчьи огоньки.

– Черныш! Лежать!! – загородил старик гостя. – А револьвер-то спрячь. Как бы он чего худого не подумал.

– Если б я вас обоих мог на одну пулю взять... – следя за каждым движением собаки, процедил Степан. Спрятал наган.

– Лежать, Черныш, лежать!..

Швырнул Макар связку меха Степану:

– Забирай. Десяток собак купить сможешь.

– Ладно. Сейчас твоя взяла... Проводи!

Уже сидя в седле, выкрикнул:

– Только не докажешь ты ничего! Слышишь?.. Ничего!

За дверью избушки выл, рвался пес...

Степан вернулся домой пьяный, с налитыми кровью глазами.

Не сел – упал на крыльцо. Выставил сапог:

– С-сымай!

А когда Груня нагнулась, пнул в грудь...

Упала навзничь. Выдохнула, прикрывая живот:

– Дитя свое пощади!

– Мое?! – взревел Степан, теряя всякую власть над собой. – А может, Федькиного ублюдка носишь?! Говори!

Схватил за косу, намотал на руку, поволол на крыльцо.

Не стерпела боли, закричала Груня...

Перемахнул через забор Федор, бросился на Безродного.

– А-а! – совсем озверел тот. – К разделке явился!.. Тут тебе, сморчок, и конец!

Ошибся Степан. Раздался в плечах парень, уже и Федькой не назовешь... Схватил-

лись остервенело. Валили друг друга ударами тяжелых кулаков, сплевывали кровь. Степан – с выкриками, матом, Федор бился молчком, как молодой волк.

Выскочил во двор Цыган, вбежал Калина Козин, другие мужики.

Насилу растащили противников.

Рвался из могучих рук отца Федор.

– погоди... – хрипел разбитым ртом Степан. – Попомнишь ты меня, щенок!

О Груне забыли.

Она поднялась, не оборачиваясь прошла в дом.

Упала на колени перед божницей. Била поклоны:

– Божья Матерь, заступница!.. Спаси дитя, что под сердцем ношу!

Ночью повалил снег.

Прикрыл сопки, упал на тайгу.

Макар проснулся от того, что пес стаскивал с него одеяло.

– Будя тебе, спи. Не гоноши других.

Но пес не отставал.

– Ну, что там у тебя?

Пес метнулся к двери, привстал, скреб лапами. Совал нос в щель, нюхал.

– Ястри ты, кого-то, похоже, чуешь...

Макар сунул ноги в пимы, накинул на белье куртку из изюбриной замши, сдернул с колышка берданку.

Подошел к двери, осторожно снял крючок...

Пес тут же с лаем рванулся на снежную долину. Макар шагнул за ним.

Кругом бело... Только у амбарчика два темных пятна: явившийся пес и медведь на низкой крыше. Медведь сидел на хвосте, сердито ухал, рычал, отбивался от собаки лапами.

Увидев человека, бросил пса, свалился с амбарчика... Пуля Макара пролетела мимо...

Не успел перезарядить берданку, как медведь был рядом.

Макар привычно потянулся к ножу... Да какой же нож на подштанниках!

Из разверстой пасти дохнуло зловонием. Зверь подмял человека под себя. Макар ухватился за брылатые щеки медведя, не давал вонзить клыки в лицо, пытался свалить с себя многопудовую тушу, вывернуться...

Внезапно страшные объятия ослабли.

Пес прыгнул на зверя, впился острыми клыками в затылок!

Рыкнул медведь, взвыл, рванулся...

Макар вскочил, нащупал в снегу берданку. В упор пристрелил.

Перевел дух охотник.

– Экая бестия-шатун! Разумные звери уже спать должны...

Пес сидел, зализывая бок.

В пояс ему поклонился Макар:

– Должник я твой!.. Почитай, на седьмом десятке второй раз родился!.. – Накинув на шею медведя бечевку, с натугой волочил его по снегу. Тяжел был зверь.

Пес бегал вокруг и вдруг ухватил за шею косолапого. Пятясь задом, тянул, тянул, помогал хозяину.

Макар даже тянуть перестал:

– Мать моя! Надо же!..

Пес отпустил медведя, поднял морду, зарычал, будто сказал: “Чего встал? Тяни!”

– Тяну, батюшка, тяну! – только и проговорил Макар.

Так вместе и тащили косолапого до порога избышки.

Ударил мороз.

Шла ледяная шуга по реке.

Снег змеился по распадкам, ручьям.

Забился в высокую хвою, сел пышными шапками на пнях...

Спешил Макар.

Перевалил сопку, пошел вниз по склону.

Как ни легок был шаг старого таежника, но то и дело проваливался по первопутку в глубокий снег.

На поляне приостановился, присел передохнуть на валежину. Снял трех, отер пот...

И почувствовал на спине чей-то взгляд... Потянулся рукой к берданке, но хриплый голос приказал:

– Не оборачивайся!..

Степан Безродный.

– ...Встань!

Повиновался старик.

– Вот, Макар Сидорыч, тайга тесная... Узнал?

– Рысь всегда на спину прыгает.

– Хунхуз где?

– Здесь. Дичь следит.

– Ложь – грех прощаемый, да не тебе... Его следа не видел. Один ты... Куда спешишь, тропу бьешь?

Молчал Макар. Спиной чувствовал наведенный в затылок наган.

– Ладно. Не бери перед смертью еще грех на душу. И так знаю. А я ведь тебя добром просил. Золото сулил.

– Все одно – каторги тебе не миновать.

– Страшно помирать-то?

– От твоей поганой руки...

Изловчился старый охотник – рывком сдвинул берданку. Под плечо, подавшись телом – выстрелил на голос.

Но сам своего выстрела не услышал. Револьверная пуля ударила в спину...

Упал Макар лицом в снег.

Безродный держался за правое плечо. На пальцах – кровь... Матерясь сквозь зубы, на неверных ногах пятился в чащу.

Плыл туман перед глазами...

К ночи вновь повалил снег.... Пес метался в тесной избушке.

Прыгал на двери, пытался открыть.

Скулил. Коротко взлаивал.

Наконец, прыгнул лапами на раму окна. Вышиб ее!

Широким наметом пес мчался по следам Макара. Снег уже изрядно запорошил их, но пес находил.

Бежал и бежал сквозь снежную пелену.

Взобрался на перевал. Принюхивался к запахам, которые остались на веточках, пнях... Выскочил на поляну.

И вдруг затормозил. Шерсть стала дыбом, из горла вырвался грозный рык.

Припав к земле, стал подкрадываться.

Горка снега.

Тронул носом, заскулил.

Потом заработал лапами, разгребая снег...

На рассвете собаки в деревне подняли истошный лай.

Черный пес промчался улицей.

Захлопали калитки, заскрипел снег под ногами. Послышались голоса:

– Дьявол!.. Черный Дьявол!..

А пес сел под знакомыми воротами. Завыл, молил о помощи.

Слыша этот вой, крестились люди.

Выбежала Груня:

– Шарик!! Что?.. Что с тобой?.. Что?!
Черный пес скулил, тянул за подол. Звал за собой...

Они опустились по склону сопки.

Пес трусил впереди. Часто оглядывался, идет ли за ним Груня.

Вот и поляна... Глядел в рассветное небо мертвыми глазами Макар Булавин.

Бросилась к нему Груня. Зарыдала.

Рядом скулил жалобно черный пес.

Закрыла Груня глаза Макару.

Лежала на снегу старая берданка.

А пес тянул в сторону.

Там, у деревьев – полузанесенные следы другого человека.

Пес, рыча, носом разворочил припорошивший снег.

Кровь... Мерзлая кровь...

Смотрела Груня.

Красное на белом... Кровь того – другого человека...

Конь сам внес всадника во двор.

Безродный едва держался в седле. Бледный – под полушубком неловко перевязан рубахой, на ней расплылось кровавое пятно на белом полотне, – с трудом слез с коня.

И услышал:

– Убийца!

Мягко клацнул затвор винтовки. Степан обернулся.

Уперся взглядом в маленький глазок винтовочного дула.

– Убийца! – повторила Груня.

Были они вдвоем в просторном дворе... Хотел крикнуть Степан – пропал голос.

– Груня... – прохрипел. – Хунхузы напали...

– Клятвопреступник! – Винтовку держала твердо.

Понял Степан – выстрелит.

Пошатываясь, пошел на жену... Глазок ствола странно притягивал...

На мушке – суровая складка между бровей Безродного... Сейчас... Выпала из рук винтовка... Охнув, осела на снег Груня...

В неудержимой судороге выгнулось тело...

...Пластом, без кровинки в лице, лежала на постели Груня.

Качались стены, плыл потолок...

Кричала, стонала над штормовым морем белая чайка...

Смотрела с иконы Матерь Божья с младенцем.

– Прости, Матерь заступница... – прошептала Груня. – Не будет Пелагеюшки...

Плакать не могла. Не было слез.

Везли в санях гроб.

Шли за ним несколько человек: Федор, двое-трое стариков-охотников, ровесников Макара, ребяташки.

Скрипел снег под полозьями саней.

И вдруг морозную тишину разорвал жуткий вой.

На дороге, задрав голову к подернутому дымкой солнцу, выл пес Макара.

Всхрапнула лошадь. Ребяташки мерзлыми комьями принялись швырять в собаку, пытались отогнать.

– Оставьте! – тихо сказал Федор.

– Нет, – твердо сказал священник. – Отпевать не стану. И на кладбище хоронить колдуна не позволю. За оградой.

Мяли шапки старики:

– Как же, батюшка... Христианская, чай, душа...

– Христианская?.. А это кто его хоронит?! Дьявол!

И встал холмик мерзлой земли с простым крестом у самой кладбищенской ограды...

Провожал Степан жену.

Запряжены тройкой розвальни. В них укрыта медвежьей полостью безучастная ко всему Груня.

От дома шел Степан – рука на перевязи – с Цыганом. Давал последние наставления верному слуге:

– Выедете на санный тракт – лошадей не жалей. В городе купец Антипов возок даст. И чтоб ты ее в пять ден до сестры моей домчал. Сестре письмо передашь и на словах скажешь: до осени Груня у нее будет жить...

Подошли к саням. Склонился Безродный:

– Ну, жена!..

И отпрянул под пустым взглядом ее глаз.

Махнул рукой:

– Поезжайте!

Влез в розвальни Цыган, взмахнул вожжами.

Взяли с места лошади. Только летел снег из-под копыт.

Безродный смотрел вслед.

Вылетела тройка за околицу на наезженный тракт. Споро бежали лошади. Недвижно сидела в санях Груня.

А навстречу ехали конные: полицейский пристав, несколько казаков.

Поровнявшись с санями, взял под козырек пристав:

– Аграфене Терентьевне!..

Умчалась тройка.

Пристав сидел за богатым столом в доме Безродного.

– Федька Козин, – уверенно говорил Степан. – Больше некому. Он давно к старику в напарники набивался. Знал, что у Макара пушнины вволю да и золотишко водится...

– Кто это тебя? – перебил пристав, кивнув на повязку.

– А! Пуля-дура! Цыган по изюбрю промазал.

– Цыгана видел. Далеко он с Груней отъехал?

– К сестре моей... Груне поправка нужна. Беда у нас – ребеночка скинула.

– Дай Бог ей здоровья! – поднял стакан пристав.

– Федька, – снова заговорил Степан. – Только с ним одним старого колдуна в тайге и видели. Не иначе – не поделили что-то.

– Бывает, – согласился пристав.

– Возьмешь убийцу сразу – награду получишь!

– Награда – дело государево.

– Не скажи. Людское тоже.

Встал Степан, прошел к пузатому комоду.

Вынул оттуда шкатулку. Отпер...

Увозили Федора под охраной казаков.

Голосила, бежала за санями мать. Стиснув тяжелые кулаки, смотрел вслед отец.

Перебрых собак сопровождал арестантский кортеж по деревне.

За заборами – испуганные, любопытствующие, сочувствующие лица.

Стоял, опершись на столб-вереву, у своих ворот Степан.

Федор встретился с ним взглядом...

Уж скрылись из вида конные и сани, а Степан все стоял у ворот.

За заснеженным лесом висело в зимнем тумане солнце... И вдруг почудилось Безродному снова, что бежит-летит над сопками огромный черный пес...

Ночью чьи-то руки вырвали на могиле Макара крест и вбили посредине осиновый кол.

Жуткий вой вновь разбудил округу.

Сидел на могиле хозяина Черный Дьявол. Выл в темное, вьюжное небо.

“Ва-а-а-а, вооуууу, аррр, уууу, аааа!!!”

Раскатистый вопль упал за сопки...

Распался по распадам...

Шарахнулся от жуткого воя изюбр...

Метнулась с дерева белка...

Свернул со своей дороги медведь-шатун...

И даже владыка тигр, шедший по вершине горы, остановился, послушал вой... и пошел дальше...

“Ва-а-а, воооо, уууу!” – неслось над тайгой.

Жаркое солнце плыло над голубыми горами.

Текли реки...

Бежали по небу кучевые облака...

Клевал носом разморенный жарой стражник в тесной комнатухе арестного дома.

Тихо переговаривались исхудавший, обросший Федор и его отец.

– Селиверстов показывает, что видел, как я в Макара стрелял.

– Селиверстов?.. Кто ж еще такой? Откуда?

Покривил губы Федор:

– От Безродного. Знакомец наш – Гришка Цыган... От страха, дескать, еле домой добрался, там хозяину все рассказал.

– Убью! – стиснул кулачищи Калина.

– Этим не докажешь... Безродный и так говорит: Груню потому отправил, что мести моей опасался... Беда, что я в тот день в тайге был, на Макаровой заимке. Только ведь с нее не уходил. Пошел бы с Макаром, может, его уберет!

– Неужто никто подтвердить не может? Вдохнул только Федор.

– Может, кто заходил, видел? Припомни, сынок!..

Твердым стало лицо Федора.

– Нет.

Усмехнулся:

– Разве что Черный Дьявол...

– Господи! Что ж будет-то? Мать все глаза повыплакала.

– В губернию повезут. А там суд. Скорый и неправый.

Отец покосился на стража.

– Не бунтуй, Федька... Аблаката найдем. Последнее продам.

– Потому они меня здесь столько и держали. Оговоры собирали. Чтоб верней на каторгу закатать... Ястреб тут свидетель, медведь – прокурор.

Стражник, зевнув, перекрестил рот.

– Свидание окончено!

Звериной тропой шел по тайге человек.

Всматривался в следы, разбирался в их хитросплетении на влажной после дождя земле.

Задержался у излучины ручья. Здесь, у водопоя, следы были особенно отчетливы.

Внимание привлек отпечаток крупной, когтистой лапы.

– Хм... – вглядывался Степан Безродный.

– Не лапка – лапища... Волк? Нет, волчья меньше... Барс? Непохоже... Разве тигренки? А где ж тогда матка?

Полный осторожности, двинулся по следу.

Он привел его на склон сопки.

Здесь увидел вырытую глубокую нору. Хозяина не было. Лежала только груда костей.

– В самом зверовом месте поселился... – пробормотал Безродный. – Хитер, дьяволина...

И вдруг выпрямился. Резко обернулся.

– Неужто он?!

Руки ждали винтовку.

Огромный черный полуовлок, полусобака был на вершине сопки.

Стоял, словно высеченный из черного камня Сихотэ-Алиня.

Смотрел на прихотливые изгибы реки, вздыбленную по склонам гор зеленую тайгу.

А там дальше, у моря, лежали далекие-далекие дома, вились тихие дымы над ними...

Стоял Черный Дьявол, ловил чутким носом едва уловимые запахи.

Степан Безродный пришел вновь в его владения.

Оставил коня у подножья сопки.

А сам двинулся в гору, позвякивая железом – нес капканы.

Расставлял ловушки... Первый капкан он поставил у ручья... Второй замаскировал на

звериной тропе... Третий – у самого логова... Надежно укрыл, забросал свежей листвой...

Обратно спешил, скатывался с тропы. Ловил каждый звук, каждое шевеление кустов... В распадке с облегчением вскочил на коня. Погнал наметом.

Черный Дьявол шел к водопою.

Вот и замаскированный капкан...

Пес вдруг замер как вкопанный. Осторожно обнюхал железную ловушку... Шерсть встала дыбом.

А потом повернулся. И загребая задними лапами листву, мелкую щебенку – стал с силой забрасывать капкан...

Раздался звучный щелчок!.. Сработали, замкнулись страшные челюсти... Нашел, обнюхал и второй капкан на тропе.

Вновь полетели листья, камни... Один оказался крупным, ударил об язычок – капкан, щелкнув, замкнулся... Последний стоял у логова.

Здесь не было щебенки, камней – глина, в которой он вырыл нору.

Дьявол долго греб листья, землю – капкан продолжал стоять настороже.

Принюхиваясь, вновь обошел вокруг ловушки. Недоумевая, ступил лапой...

Щелчок!

Дьявол прыгнул назад... Встал на дыбы...

Поздно – страшные дуги успели прихватить ему средний коготь... Пес метнулся вправо, влево... Отчаянно пытался выдернуть лапу...

Он метался, пока не выбился из сил...

И притих. Понял, что пойман.

По тракту ехала телега в сопровождении двух конных казаков.

В телеге везли Федора в кандалах.

Смотрел в небо.

Там высоко, распластав крылья, кружился орлан.

– Дьявольщина!.. – прошептал Безродный.

Капкан, поставленный им у ручья, был спущен. Навалены листья, щебенка.

Держа наготове оружие, пошел вверх по склону... Спущенным оказался и второй, на тропе. Крупный камень на стальном язычке...

Теперь сам зверем крался по склону сопки.

За дубками – логово.

Черного Дьявола в капкане не было...

Безродный осторожно приблизился. Капкан был вытянут на всю длину цепи.

Между сомкнувшимися стальными челюстями – ровно, как ножом, отгрызенный зубами крупный коготь...

– Дьявол!! – выдохнул Степан.

Оглянулся в страхе...

Волчий вой несся по тайге.

Стая гнала оленя.

Волки шли полукругом, подковой и готовились замкнуть кольцо. Впереди – крупный бурый вожак...

Неожиданно из чащи вырвался огромный черный пес.

Он опередил вожака. Прыжок – и вцепился оленю в горло!

Рычащая стая плотной кучей навалилась сзади...

Черный Дьявол выбрался из-под рухнувшего оленя.

И тут бурый вожак отделился от стаи. Кинулся на пса.

Дьявол едва успел подставить плечо нападавшему. Полоснули клыки... Оба покатились по земле...

Волки оставили добычу.

Враги медленно кружили. Шерсть стояла дыбом. Вокруг сражавшихся сжималось кольцо стаи.

Пес был чужаком.

В мертвой тишине волк обошел вокруг... Дьявол не спускал с него глаз...

Нападение было как молния!.. Вожак промахнулся всего чуть-чуть...

Всей своей тяжестью Черный Дьявол ударил его!

Сбитый с ног вожак лишь на мгновение опрокинулся на спину...

Этого было достаточно. Волки есть волки. Всей стаей набросились на поверженного... Остались на траве лишь кровавое пятно и ключья бурой шерсти...

Черный Дьявол медленно двинулся на встречу стае. Зубы в страшном оскале.

Волки тянули в себя воздух, хвосты опущены вниз. Пятились, признавая власть нового вожака.

Лишь молодая серая волчица осталась впереди.

Дьявол подошел к ней.

Волчица, тихо рыча, дала себя обнюхать.

Потом, гибко изогнувшись, коснулась мягкой мордой раны на шее победителя.

Черный Дьявол повел свою стаю к морю. Волчий вой гнал по сопкам кабарожек и горных козлов.

Спасались бегством матерые изюбры... И везде, где проходила стая, оставался крупный след трехпалой лапы...

Черный Дьявол стоял на склоне горы. Внизу, у реки, лежала знакомая деревня. Жадно принюхивался к запахам.

Ночью в деревню вошла серая волчица. Затрусилась по улице. Деревенские псы прекратили брех. Брачный запах самки звал их.

Выползали из конур, со дворов за ворота...

Волчица трусила не оборачиваясь, чуяла, что псы тянутся за ней.

Вывела их за околицу, на дорогу.

Потом свернула на пашню. Псы неотступно следовали за ней.

Волчица бежала к реке.

Здесь, внезапно, спереди и сзади бросились на псов волки.

Волчица первой порвала ближнего – того, что бежал след в след...

А Черный Дьявол был в притихшей деревне, у дома человека, в капкане которого он оставил коготь.

Подобрался к овчарне.

Тревожно заблеяли овцы, заметались.

Дьявол мощным прыжком вскочил на крышу. Издал грозный рык.

Обезумевшие овцы бросились к выходу, вышибли дверь...

Дьявол соскочил, погнал их огородами туда же, к реке. Овцы отчаянно блеяли, звали на помощь.

Обеспокоенные мужики выскакивали на улицу. Кто в чем, некоторые с ружьями. Напрасно звали своих собак: "Трезор!! Полкан!! Тузик!!"

В ответ – волчий вой от реки.

Из края в край деревни понеслось.

– Волки!! Запирай слева!..

– Собак порешили!!

– Седлай коней, пойдем в погоню!

– Куда! Ночь, ни зги... Надо ждать утра!..

Метался с фонарем – "летучей мышью" по подворью Степан Безродный.

Распахнутая дверь пустой овчарни...

А на земле, в свете фонаря, рядом со следами овечьих копыт – отпечаток лапы без когтя...

Швырнул в след фонарем Степан. Разбилось стекло.

Факелом вспыхнуло пламя... И на мгновение померещилась в нем знакомая тень...

Светало.

Сходились во двор Безродного мужики.

Хмуро рассматривали огромные следы.

На следующую ночь у околицы жгли костры.

Караулы выставили с двух сторон.

Велись разговоры у огня:

– Слыхивал кто, чтобы пес волчью стаю водил?!

– Степан его сколько раз стрелял, а он все живой.

– Бают, от пули он заговоренный.

– Всамделишный дьявол!

– Безродному за коготок мстит!

– Охо-хо! Наказание нам... Наши грехи незамоленные...

Насторожился вдруг один, молодой.

– Тихо, братцы... – прошептал, вглядываясь в сумрак ночи. – Он!..

– Где?!

– У куста... Бог Свят – он!

У куста в самом деле что-то темнело.

– Не шевелись! – предупредил парень, прицеливаясь. – Мой дьяволина!

Прогремел выстрел.

– Попал!.. Право слово – попал!..

Кинулся к кустам. Мужики не без опаски двинулись за ним... Под кустом лежал убитый... козел...

– Оборотень!.. – проговорил стрелявший и широко перекрестился.

– Васька! – раздался плачущий голос. – Это ж мой козел – Васька!.. Васенька, как же ты тут очутился?! – протиснулся вперед тщедушный мужичонка.

Загоготали караульщики, смеялись от души над собой, над недавними страхами.

– Хозяина искать пришел! Волков не боялся!

– Надо крепче хлев запирать!

– Тащи бабе – знатный кулеш сварит!

– Пошто ты его стрелил?! – накинулся на парня мужичонка.

– Думал, Дьявол...

– Сам ты дьявол! Креста на тебе нет...
Плати за козла!

– На что ж он мне такой?

– А мне на что? Меня теперь баба в избу не пустит... Плати! А мясо съесть можешь...

Черный Дьявол слышал веселый гогот. Он пробирался за кострами... Вновь очутился на подворье Безродного.

Миновал пустую овчарню, сарай. За околицей, у костра все еще смеялись.

В загоне, под навесом, почуяв пса, заметались кони – молодняк Безродного.

Черный Дьявол с рыком бросился на лошадей.

Табун ринулся на забор, затрещали жерди... Кони шли темной массой в тайгу.

Дьявол молча гнал табун.

Из-за сопки на подмогу вылетела стая волков.

Позади запоздало орали караульщики. Стреляли в темноту.

А волки, обхватив коней широким полукольцом, уже угоняли их за сопку...

К вечеру грохотала деревня...

Били в тазы, стучали палками по заборам... Веселье ребятишкам!

Отгоняли Дьявола и его стаю. Оберегали свой скот.

А на деревенском сходе Безродный кричал:

– Одумайтесь! Ваших же собак Дьявол порешил! Я-то других коней куплю...

– Ну, а мы и подавно за собаками в тайгу не пойдем!

– В разум возьмите! Дьявол не уйдет от деревни, пока мы его не ухлопаем!

– Ты и хлопай!

– Он с тобой счеты сводит!

– Всем миром надо!.. – взывал Степан.

– Убить его надобно!.. Я заплачу! Всем заплачу!

– Тот еще не родился, кто Дьявола убьет!

– Ты сколько раз в него стрелял? А?

– Не пойдем в тайгу! И так оборонимся.

– Отгоним стаю...

– Может, он тебе отомстил и решил – будя?!

Ночью не спала деревня.

Стоял над дворами грохот...

Не спал и Цыган.

Примерял странную обувку: ичиги с подшитыми к подошве собачьими лапами.

На одной не хватало среднего когтя.

Грохотала деревня.

Цыган потрусил тропкой, ведущей ко двору Козина.

Не услышали хозяева, как он пробрался к хлеву.

Потоптался тут, сильно нажимая на вытопанную землю, впечатывал след лапы без когтя.

Открыл засов. Вошел в овчарню... Пинками выгнал оттуда овец. За стуком и громом не слышно было их бляения.

Погнал из загона к реке... Сам, скинув сапоги, задами добежал до дома Безродного.

И здесь, наконец, услышал волчий вой у реки...

Утром шумели мужики:

– Да будь он трижды Дьявол – все равно псу засов не открыть!

– А следы?! Следы все видели – его, дьяволиныне! – орал Цыган.

– В жисть не поверю...

Вмешивался Степан, наседавал на неверующих:

– А у меня из-под носа – кто коней увел?! Сказали б, что ты, – в рожу бы плюнул! Куда тебе!.. Только Дьяволу такое под силу!

Калина Козин, глядя на него в упор, сказал:

– Кто тот дьявол, который хлев открыл, я пока не знаю... Однако со стаей пора кончать. Овец-то моих – волки порезали.

Охотников и загонщиков набралось человек двадцать... Отряд ходко пошел по следу стаи.

Передовые выскочили на конях на гривку сопки.

И на противоположном склоне увидели серые комочки. Спрыгнули с коней и открыли по зверям частую пальбу.

Волки мгновенно скрылись за сопкой.

Безродный повернул к охотникам бледное лицо:

– Кто видел в стае Дьявола?

– Куда ж разглядеть!.. Ушли, словно знали, что мы здесь!..

Подскакали к месту, где видели зверей.

Спешившись, смотрели следы.

– Может, это другая стая?

– Такого не бывает, чтобы две стаи крутились на одном пятачке.

– Степан! Дьявол! – выкрикнул Цыган.

Вздрогнул Безродный, сдернул с плеча винтовку.

– След Дьявола, – остановил Цыган. – Тут он!

Подошли остальные.

– Ох! Обведет нас Дьявол вокруг пальца!..

– Того самого – что отгрыз...

– Не каркайте! – оборвал Степан.

– Я так разумею, – произнес Калина, – Дьявол стаю поведет к морю. Но мы можем его перехитрить и загнать в распадок. Поведу загонщиков, выстрелами отожду волков от перевала... А вы идите ручьем и делайте засаду.

– В распадок я поведу, – сказал Безродный. – Кто убьет Дьявола – сто рублей получает!

Черный Дьявол уводил стаю.

Позади гремели выстрелы, слышался храп коней, крики... Волки уходили от погоны, выбирались на новую тропу.

Но здесь их снова встречали загонщики. Пальба, ржание лошадей...

Стая металась по тайге.

Волки выбились из сил, но шли, ползли за Дьяволом.

Ближе всех, след в след – серая волчица.

Когда она отставала, Дьявол останавливался. Скалил зубы, рычал, подгонял подругу.

За ней подтягивалась и вся стая.

Калина расставил охотников по перевалу.

Ожидал появления волков.

Ветер дул из-за сопки, с моря...

Черный Дьявол сильно потянул в себя воздух. Шерсть его поднялась дыбом.

Дьявол отпрянул.

А с сопки уже хлестали выстрелы.

Черный Дьявол отвернул от перевала. Устремился вниз по склону в распадок. За ним вся стая.

В ловушку...

Ветер с моря нес тяжелые тучи. “Разверзлись хляби небесные...”

Перемена погоды была мгновенной, как часто бывает в Приморье.

На тайгу обрушился ливень.

Потоки воды стекали с одежды людей, стоявших в засаде, дождь слепил глаза. Во внезапно налетевшей мгле – не разглядеть мушку ружья.

...По кромке леса крался Черный Дьявол.

Перед цепью охотников лег на живот и пополз по мокрой земле.

Волки последовали примеру вожака и тоже поползли, прячась за деревьями.

И все-таки Безродный уловил движение!

Выстрелил в смутные тени... Рядом вразнобой ударили остальные...

Дьявол вскочил, рванулся опрометью через редкую цепь мимо охотников. За ним бросились все волки.

Стрельба тут же затихла – охотники боялись перестрелять друг друга.

Лишь Безродный продолжал палить...

Передернул затвор – обойма была пуста.

Волки вырвались из кольца... Степан бежал вслед стае, ломился под дождем через чащу... Спешил увидеть!

Лежали неподвижно два темных тела.

Подоспел Цыган:

– Убил?!

Молчал Степан.

Цыган вгляделся: лежали волки. Дьявола не было.

Обернулся Степан, оскалил зубы:

– Твоя ворожба!.. Судьбу мою нагадал!

Отшатнулся Цыган.

Дождь не переставал, смывая следы в тайге.

В поисках укрытия охотники вышли к заброшенной заимке Макара Булавина.

Степан плелся последним. Казалось, сразу осунулся, опустились плечи.

В избушку Макара не спешил. Встал под покосившимся навесом. Здесь было сухо. Достал кيسет, скрутил самокрутку.

Руки плохо слушались, просыпали табак. Машинально глянул вниз под ноги.

И замер.

Цепочки следов на влажной земле. Среди них отчетливо – трехпалая лапа...

Не то стон, не то крик вырвался у Безродного... Следы вели к избушке. Дверь ее была неплотно прихлопнута ветром.

Заходили скрытно с трех сторон: с двери и двух оконцев.

Шум дождя глушил шаги. Переговаривались шепотом:

– Дьяволина! Раньше нас стаю к жилью привел...

– Собака все же... Здесь с Макаром жил...

Бешено оглянулся Безродный. Смолкли под его взглядом.

Степан распахнул дверь.

Выстрелили с Цыганом разом!

Из избушки ринулись волки, давя в дверях друг друга.

Били из винтовок, дробовиков. В упор.

А когда пальба стихла, осталась лежать перебитая стая...

Всматривался в убитых волков Безродный... У последнего резко повернулся и пошел в избушку.

Шедший следом Цыган посмотрел на мужиков:

– Ушел, в бога мать!

Черного Дьявола среди волков не было.

Охотники набились в тесную избушку. Кто сел на нары, кто опустился на брошенные чурки дров. Скинули мокрую одежду, перевертывали портянки. Закуривали.

Безродный сидел безучастно. Казалось, не видел и не слышал ничего вокруг.

Кто-то попробовал растопить печь... Повалил в избушку дым.

И тут из-под нар – выскочил огромный пес. Черной молнией – в дверь!

Вскочили ошеломленные охотники, хватали оружие, что было ближе. Степан – чей-то дробовик. Выскочили вслед.

Раздались запоздалые выстрелы.

Черный Дьявол был уже за орешником...

А тем временем из избушки выскочила и молодая волчица.

Степан оказался на ее пути... Успел, навскидку стегануть из прихваченного дробовика.

Ужасный, пронзительный вопль... На мгновение осела на задние лапы волчица...

Но в следующее мгновение, оставляя капли крови на мокрой траве, исчезла в чаще...

Дождь перестал.

Кровавый след вел по тайге...

Уводил раненую подругу Черный Дьявол.

Странно, неуверенно шла волчица – совсем близко к нему. Касаясь носом мохнатого бока...

Их настигали. Уже слышны были голоса преследователей.

Кровавый след привел на поляну на склоне сопки. Приметная валежина посередине.

– Братцы!.. – произнес кто-то. – Да ведь тут Макар свою смерть нашел!

Все встали. Стянули шапки.

– Надо ж – куда Дьявол привел...

Поднял голову Калина Козин, в упор взглянул на Безродного.

Степан стоял бледный и по-прежнему безучастный... Под взглядом Калины тоже снял картуз.

Мирно зеленела трава на поляне. Приметил что-то в ней Калина.

Наклонился и поднял... поржавевший наган.

Вздрогнул, попятился стоявший близко Цыган.

Молча стягивались мужики к находке. Крутанул барабан Калина – в нем не хватало всего одной пули...

– Степанов наган! – выдохнули разом.

Опомнившись, медведем рванулся к Степану отец Федора, раскидав обступивших людей...

Безродного на поляне уже не было.

– Цыгана держите!! – кричали.

Все дальше уходили Черный Дьявол и волчица.

Иногда пес, забывшись, опережал на несколько шагов подругу.

И тогда волчица останавливалась. Стояла недвижно, пока он не возвращался к ней.

И снова шла, касаясь носом черной шерсти Дьявола.

Волчица была слепа. Дробь Безродного выггла ей глаза.

...Еще раз встретим мы осень в тайге.

Первое золото в листве берез, тронутые красным цветом осени клены...

Бежала телега по тракту.

Возвращался с отцом Федор.

Смотрел – и не мог оторваться, словно видел впервые, – на покрытые лесом склоны сопки. Полной грудью вбирал воздух тайги.

На перевале – вереница корневищиков-манз с питаузами за плечами.

Увидели Федора, узнали. Окружили путников.

– Здравствуй!.. Здравствуй!.. Макара нет... Твоя нет... Тайга мало-мало страшно ходить!

Говорили что-то на своем языке. Федор силился понять, переспрашивал.

– Наша буду хорошо заплати! – заключил старший из искателей женьшеня.

Тарахтели колеса по тракту.

– Корневать с собой звали, – говорил Федор. – Опять, видишь, дух гор рассердился на них – разбой в тайге... А ведь Цыган Селиверстов в тюрьме сидит, суда ждет.

– За то манз и бьют, – проворчал Козин-старший, – что все на духов своих свалить норовят...

Въезжали в деревню. Встречали брехом собаки.

На отшибе первым двухэтажный дом Безродного. Стоял пустой. Закрыты, заколочены ставни.

– Так и сгинул? – спросил Федор. – И никакого слуху нет?

– Бают, в Маньчжурию ушел. Там скрывается.

Не удержался Федор:

– А... а Груня?..

– Ни разу не была... Экая хоромина пропадает.

Собаки, облаивая, бежали рядом с телегой. Знакомые дома. Знакомые лица у ворот.

– Уйду я, отец! – вдруг произнес Федор. – Куда?!

– В тайгу... Корневать пойду. Не жить мне здесь.

Соскочил с телеги, побежал навстречу.

Спешила мать, сестренки, братишки малючка меньше. Облепили, повисли.

Ранним утром вышел к ручью олень.

Напился. Поднял отягощенную рогами голову.

Стоял, чутко вслушиваясь в тишину тайги.

Вставало солнце.

А шагах в пятидесяти, в обустроенном на развилке дерева охотничьем лабазе – Федор.

Задержав дыхание, целился в добычу.

В лучах солнца олень казался изваянием из меди...

И дрогнул Федор, опустил винтовку... Не смог убить лесную сказку.

А олень, поймав какой-то звук со стороны лабаза, двумя скачками скрылся в чаще.

– Панцуй!

– Шимо панцуй?

– Шуба юли!

Сидели на корточках на поляне корневишки. Выкапывали драгоценные корни.

– Панцуй!..

Федор тоже присел на корточки.

Костяной палочкой добывал из-под шапки красных ягод так похожий на человека корень жизни.

Осторожно взвесил на руке.

– Шуба юла!..

Растянувшись редкой цепью, маленький отряд подымался на перевал.

Последним шел Федор с берданкой за спиной.

Старший из корневищиков говорил:

– Дух гор посмотри, как наша работай, мало-мало подумай, чесни мы люди! Потом его уходи... А наша шибко быстро копай и другой место ходи...

Посмеивался Федор.

...В окулярах бинокля – фигурки с пятаками на плечах. Одна, другая... пятая... И вдруг...

Шел по тропе Федор Козин...

Степан опустил бинокль.

Он лежал в укрытии, под скалой. Зарос густой бородой, из-под шапки давно не стриженные волосы.

Перевел дыхание, снова поднял бинокль.

Он – Федор!

Корневишки проходили перед Безродным, уже как на ладони.

Степан взялся за винтовку... Лучшей мишени он и ожидать не мог!

Мушка твердо уперлась в голову последнего в цепочке.

Шел Федор, ничего не подозревая, что-то смеясь говорил впереди идущему.

Осталось спустить курок...

Что-то вдруг заставило Безродного обернуться... Шорох за спиной? Чье-то дыхание?.. Невольный страх?..

Над ним стоял во всей своей звериной красоте и силе Черный Дьявол.

Судьба!..

И не было сил оборониться, хотя бы потянуться рукой к ножу у пояса.

Стоял Черный Дьявол. Не спешил, будто наслаждался ужасом врага своего.

Шли мгновенья...

Степан оставался недвижимым. Словно застыл, распростертый на земле.

Странно застывал устремленный на пса взгляд... И последнее, что увидел в своей жизни Степан Безродный, – огромная черная тень собаки над вершинами сопок...

Черный Дьявол обнюхал мертвого врага.

И, оставив его, не спеша затрусил за сопку, в близлежащий распадок... Стеклянным взглядом смотрел в небо Степан.

Старый пароход "Казак Хабаров" готовился отойти от пристани.

Уезжала с ним Груня.

Провожал Федор. Стояли у схода.

– Когда ж теперь? – спросил Федор.

Подняла запавшие глаза Груня.

– Никогда, Федя... Последнее добро, что суд не описал, людям раздала. Ничего тут не осталось.

– А... я?! – вырвалось у него.

– Поздно, Федя. Через Безродного столько крови на мне...

– Любил я тебя, – тихо произнес Федор.

– Виновата я перед тобой. Поверила Степану, что погиб ты в тайге, сгинул. Не прибежала помочь... А ты не позвал. Понимаю – берег.

– Любил... – повторил Федор. – И сейчас – люблю.

– Поздно...

Снова прогудел отвальный гудок. Груня приподнялась на цыпочки, поцеловала:

– Лихом не поминай!

Она была уже у схода.

Федор смотрел вслед.

Вдруг, откуда ни возьмись, появился огромный черный пес!

– Дьявол!!

– Шарик!! – ахнула Груня.

Черный Дьявол ластился, терся головой о ее юбку.

– Шарик, милый Шарик! Пришел?!

Пес прижался к ногам, затих.

– Быстрее, публика! Быстрее! – подгоняли пассажиров матросы.

– Пошли! – позвала пса Груня. – Пошли, Шарик! Поедем со мной!

В третий раз пробасил пароходный гудок.

– Пошли!!

Двинулся было за Груней черный пес. Сделал шаг, другой... И остановился.

А Груню уже подхватила толпа, внесла на палубу.

– Шарик!.. Шарик!! – звала она оттуда.

Заметался на берегу пес.

Матросы убрали сходни.

Винт вспенил за кормой воду...

Отваливал пароход. Стояла на палубе Груня, звала.

Пес напрягся всем телом – еще можно было прыгнуть...

– Шарик!!!

Уходил пароход.

Осталась на берегу черный пес и Федор.

– Ну, а мы куда теперь? – спросил человек.

Черный Дьявол посмотрел на него, повернулся и широким наметом пошел к лесу.

...Там, в тайге, в логове под вывороченным деревом, ждала слепая волчица.

Она подняла голову навстречу. Ласково лизнула Черного Дьявола в морду.

А в глубине логова, возле матери, копошились, пищали три маленьких, пушистых комочка.

Отталкивая других, полз навстречу отцу один – самый крупный, черный без отметины...

Сценарий А.Леонтьева и А.Бабаяна

"Черный Дьявол тайги"

– п р о д а е т с я .

По вопросам приобретения обращайтесь в редакцию нашего журнала.

Наши телефоны: 299-11-78 299-47-74

FAX: 209-60-23

Адрес: 103006, Москва, Воротниковский переулок, д. 12



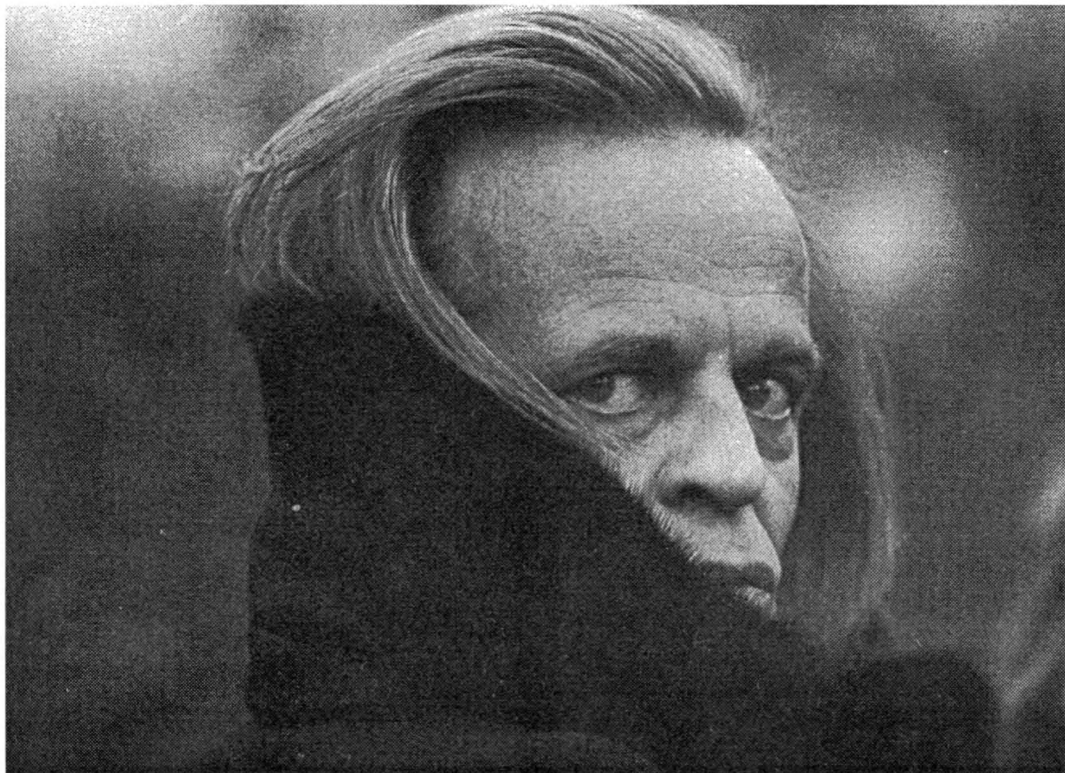
Граф Дракула и кино

Накануне 100-летнего юбилея кинематографа естественно задаться вопросом, а кто же за эти годы был самым популярным киногероем? Книга “Рекордов Гиннеса” утверждает, что это – граф Дракула, он же вампир Носферату.

157 (!) раз экранизировался роман “Дракула”, обессмертив в веках имя его создателя – ирландского писателя Брэма Стокера (1847–1912). Первым киногероем романа оценил немецкий кинорежиссер Фридрих Вильгельм Мурнау. Правда, в своем фильме “Носферату – симфония ужаса” (1922) он обошелся с ним весьма вольно. Отсек побочные сюжетные линии, сконцентрировавшись на путешествии вампира в старинный город Бремен (в романе – в Лондон). Отказался от самого имени Дракула, приняв на вооружение распространенный среди южных славян термин “Носферату”. Он же наделил вампира фобиями, о которых Стокер не сказал ни слова, – боязнь петушиного крика и первых лучей солнца, которые и приносят гибель герою. Однако вдова Стокера распознала хитрость Мурнау, не желавшего покупать авторские права, и подала на него в суд за пиратское использование книги мужа. Суд принял сторону семьи писателя и вынес вердикт, согласно которому все копии “пиратского фильма” приговаривались к уничтожению. К счастью, этого не произошло. В последующие годы фильм Мурнау с триумфом обошел весь земной шар, побуждая все новых режиссеров обращаться к загадочному феномену вампиризма, так ярко описанному в романе “Дракула”. Правда, никому из режиссеров не удалось достичь тех высот кинематографического осмысления темы, которую продемонстрировал Мурнау. Недаром его фильм “Носферату – симфония ужаса” до сих пор входит в десятку лучших произведений этого жанра.

С новой силой о графе Дракуле заговорили в 1978 году, когда на экраны вышел фильм “Носферату – призрак ночи” немецкого режиссера Вернера Херцога. Он предложил абсолютно новое прочтение классического произведения немецкого киноэкспрессионизма (именно фильма Мурнау, а не романа Стокера, его породившего).

Для творчества Вернера Херцога, с которым наши зрители могли познакомиться осенью 1993 года, характерно тяготение к мифологии, сказочным сюжетам. Причем он всегда стремится переосмыслить старые мифы, внести в них современное звучание. Произошло это и с историей Дракулы. Херцог довольно точно воспроизводит некоторые мизансцены неувядаемого шедевра Мурнау, однако его картина не обычный ремейк. Являясь вполне оригинальным творением современного режиссера, она предельно обостряет проблематику, заложенную в классическом произведении, показывая апокалиптический закат буржуазной цивилизации.

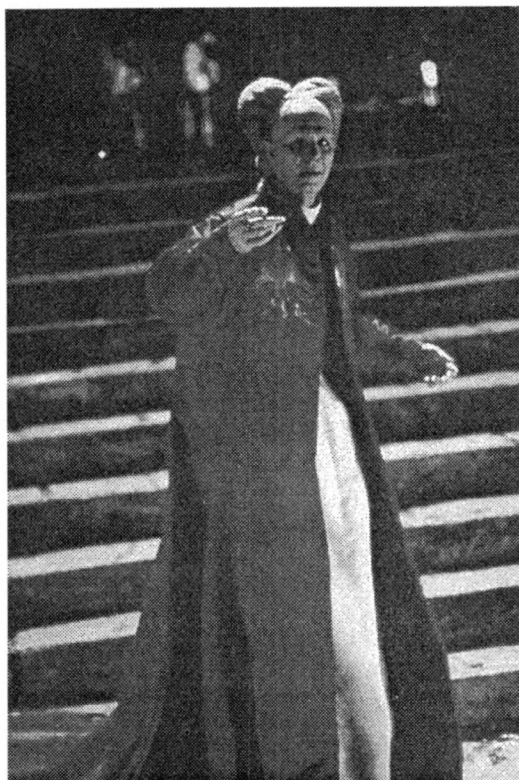


Клаус Кински

Роль Носферату Херцог поручил актеру Клаусу Кински, уже однажды исполнившему роль знаменитого вампира (фильм “Ночь, когда просыпается Дракула”). Хорошо зная нрав Кински, Херцог искал такую внешнюю форму, которая бы сковала неукротимую энергию актера, направив ее в нужное русло. Из Японии была выписана знаменитая художница по гриму, которая превратила подвижное лицо Кински в застывшую маску с торчащими ушами, голым черепом и глубоко запавшими глазами. Это – маска усталого больного существа, изнемогающего под тяжестью прожитых лет и тоскующего о смерти как о великом избавлении. Поэтому вампир Кински не страшен, порой он даже вызывает сострадание, ибо если и творит зло, то лишь повинувшись довлеющему над ним року, а не только потребности в живой крови.

Любовь к прекрасной женщине преображает вампира. Однако он понимает, что может вызвать в ней лишь отвращение и страх. Действительно, когда Люси видит рядом с собой Носферату, она падает в обморок. Но, преодолевая ужас, она задерживает возле себя вурдалака, зная, что только так можно спасти город от эпидемии чумы, принесенной им в их тихий город. Но жертва Люси оказалась напрасной. У Носферату появился преемник – ее собственный муж Джонатан Харкер, который вместе с укусом вампира унаследовал и злую волю к уничтожению мира. “У меня появилось слишком много дел”, – с дьявольской усмешкой вскрикивает новоявленный вампир, вскакивает на коня и во весь опор скачет вперед, сея вокруг оцепенение и ужас.

В 1992 году на экранах мира появился еще один весьма примечательный фильм о вампире – “Дракула Брэма Стокера” Ф. Ф. Копполы. В противовес утонченному



Кадры из фильма "Дракула Брэма Стокера" режиссера Ф.Ф.Коппола

творению Херцога, Коппола снял грандиозный постановочный боевик. Его Дракула вовсе не страдает от груза прожитых лет. По ходу действия он превращается то в полчище крыс, то в летучую мышь, то в сокола, то в зеленый туман, то становится молодым красавцем, а то высохшей мумией. Но самым пикантным моментом оказывается страстная любовная связь между чистой, доброй девушкой Миной и графом Дракулой. Она продолжает любить его, даже когда видит цепляющимся за жизнь полутрупом. Но Голливуд остается Голливудом в любых обстоятельствах. В финальной сцене Мина, сама успевшая стать вампиршей, убивает любимого, избавляя того от непереносимых страданий, а заодно и сама очищается от скверны, возвращая себе чистоту. Слов нет, фильм Коппола стал событием в кинематографической жизни Америки, но едва ли его можно поставить в один ряд с творениями немецких мастеров кино, для которых тема вампиризма стала предлогом для осмысления сложных экзистенциальных проблем: для чего живет человек и где пределы его бытия?

Между тем вампириада не перестает пополняться. В Голливуде снимается очередной "вампирский" фильм с любимчиком американской публики Томом Крузом в главной роли. Вампиризм как феномен потустороннего бытия продолжает тревожить воображение людей, и это главная причина, почему граф Дракула, он же Носферату, остается самым популярным героем мирового экрана.

Сценарий Вернера Херцога позволяет познакомиться с одной из самых философичных версий популярной истории. Нелишне напомнить, что в 1995 году знаменитому вампиру, как и искусству кино, исполняется 100 лет.

Гарена Краснова

Schitterend gefilmd met Klaus Kinski als de afschuwwekkende
bloedzuiger die, gevolgd door duizenden pest verspreidende ratten,
dood en verderf over Delft zaait!

Nosferatu

DE VAMPIER



TWENTIE EENSTE EEUW FOX PRESENTEERT
KLAUS KINSKI ISABELLE ADJANI
NOSFERATU DE VAMPIER
BRUNO GANZ

MICHAEL GRUSKOFF PRESENTEERT EEN WERNER HERZOG FILM

Geschreven, geproduceerd en geregisseerd door **WERNER HERZOG**
or by EASTMAN

CITY FILM

Вернер Херцог

Носферату - призрак ночи

Висмар. Дом Харкера. На подоконнике сидела кошка, изящное создание с черными усиками и белыми лапками. Мальчик, подаривший Люси киску, сказал, что, должно быть, она бегала по муке в закромах у пекаря. Киска играла с маленьким медальоном, висящим на оконной раме. В нем – портрет Люси, прелестная миниатюра, выполненная господином Хеннингом. Квартира Люси содержалась в образцовом порядке. Вышитые салфетки под горшками с цветами, солидная мебель, фарфоровая посуда с золотым узором, и нигде ни пылинки.

Джонатан Харкер накинул плащ и, прежде чем выйти из комнаты, снял с окна медальон. Киска успела тронуть его лапкой. На бегу Джонатан сделал глоток из чашки, стоящей на столе. Люси поджидала мужа и, нежно обняв, не забыла попенять на его топорливость. Он и сам знал, что нельзя есть в спешке, но ничего не мог поделать. Джонатан заключил жену в объятия, поцеловав на прощание. Лаская друг друга, супруги вовсе не спешили.

Улица перед домом Харкера. Джонатан вышел на улицу. Его дом стоял рядом с каналом, неподалеку от собора, маленький, уютный, под остроконечной двухскатной

крышей. Тихое утро обещало теплый день. Стая голубей поднялась в воздух. Стоя в дверях, Люси помахала мужу и долго провожала его взглядом. На мосту одетый в черное человек не двигаясь следил за тихой водой канала.

Контора Ренфильда. Она была похожа на пыльный архив, забитый документами, которые никто не читал. Ренфильд, маленький человечек среднего возраста, чья головка поддерживалась кожаным шейным манжетом, сидел на одном из высоких стульев. Дьявольская усмешка мелькнула на его лице, когда он взглянул на разложенное перед ним письмо. Харкер закрыл дверь и хотел было сесть за свой рабочий стол, но Ренфильд опередил его. "Есть задание, которое можно доверить только Харкеру," – выпалил он. Джонатан приблизился к Ренфильду, полный предчувствий.

– Граф Дракула прислал письмо из Трансильвании. Он хочет купить здесь дом. Чтобы оформить договор, нужно поехать к нему, – сказал Ренфильд.

– А где она находится, эта Трансильва-



ния? – спросил Джонатан. – Кажется, в Карпатах?

– Да, – ответил Ренфильд. – Нужно время, чтобы туда добраться. Это потребует много усилий и, возможно, немного крови.

Произнося эти слова, Ренфильд весь искривился и даже не попытался скрыть ухмылку. В душе Джонатана зародилось сомнение, но он попытался его отбросить. “Было бы хорошо хоть раз в жизни выехать из этого города, подальше от этих каналов, которые никуда не ведут”, – подумал Джонатан. Одним словом, он был готов к путешествию.

Ренфильд соскочил со своего стула, подбежал к полке, где стоял географический атлас. Он находился так высоко над полом, что пришлось подпрыгнуть, чтобы достать его. Грохнув тяжелый атлас на стол и подняв облако пыли, Ренфильд в судорожной спешке стал листать книгу.

– Да, да, да, далеко за лесами! Дикая страна! – с воодушевлением крикнул Ренфильд.

– Там, наверное, есть волки? – осторожно предположил Джонатан.

– Бояться нечего, – отрезал Ренфильд. – Граф хочет купить тот миленький домик, в

котором уже давно никто не живет. Тот, что находится по соседству с вами.

Ренфильд подошел к окну, и его взгляд уперся в полуразрушенное здание с выбитыми окнами. Джонатан не верил своим ушам.

– Эту развалину?

– Да, да, – подтвердил Ренфильд. – Речь идет именно об этом доме. Причем дело спешное, так что нужно ехать уже сегодня.

Джонатан все еще чувствовал некоторое сомнение. Однако возбуждение, исходящее от Ренфильда, захватило и его.

– Хорошо, – сказал Джонатан, – я еду прямо сейчас.

Д

ом Харкера.

– Уже сегодня? – спросила Люси. С маленькой киской на коленях и пальцами в руках она выглядела прелестно, словно на картинке. Джонатан, излучавший бешеную энергию, вначале даже забыл поприветствовать жену. Опомнившись, он положил руку на ее плечо, пытаясь загладить провинность, однако никак не мог найти нужный тон.

– Трансильвания? Где есть волки и при-



видения? – испуганно переспросила Люси. Ее лицо погрузнело. Он не должен туда ехать, там его настигнет опасность. Но Джонатан весь горел от нетерпения и начал упаковывать вещи. Люси сидела в сторонке, беспомощно поглядывая на мужа, который как раз укладывал в дорожную сумку две рубахи.

– Волки, бандиты и привидения... Ну и что! – воскликнул Джонатан.

– Нет! Нет! Не нужно туда ехать!

– Давай лучше сходим к морю, к тому месту, где лучше всего встречать корабли, – предложил Джонатан.

Верев моря вблизи Висмара. Ветер носил перекасти-поле, исчезающие среди дюн. Море методично накатывало на берег огромные волны. Чайки оглашали окрестности пронзительными криками. На фоне разбушевавшейся стихии Люси и Джонатан казались маленькими и беспомощными. Они о чем-то говорили, но ветер уносил слова. Супруги нежно держались за руки. Пронизывающий ветер трепал их волосы, рвал одежду, но они не обращали на это внима-

ние. Вдруг Люси вскрикнула, в глубине ее сердца шевельнулся безотчетный, смертельный страх.

Теред домом Шредера. Джонатан уже готов к отъезду. Лошадь стояла под седлом. Все собрались возле дома Шредера, мужа Мины, сестры Джонатана. Эта спокойная, доброжелательная женщина выглядела моложе брата. Джонатан поцеловал сестру, обнял Шредера. Потом подошел к Люси.

Перед домом в тени цветущих каштанов стояла лошадь, которую держал под уздцы один из слуг. Джонатан привязал к седлу дорожную сумку, надел пальто и шляпу с широкими полями, поставил ногу в стремя и прыгнул в седло. Люси уцепилась за пальто Джонатана, словно хотела удержать его. Тот поцеловал жену страстным поцелуем, но потом решительно освободился из ее объятий. Мина успела подхватить под руки потерявшую сознание Люси. Джонатан припорил лошадь и в последний раз махнул родственникам рукой. Ему стоило немалых усилий сохранить мужественный вид.

Копыта лошади цокали по булыжной



мостовой. Джонатан мчался вдоль канала, по которому двигались баржи, груженные овощами и рыбой. С громкими криками кружились ласточки. Джонатан пересек мост через канал, въехал в ворота между двумя остроконечными башнями и исчез в утреннем тумане. Люси, Мина и Шредер стояли неподвижно, словно единая скульптурная композиция.

Карпаты. Пыльная дорога в диком лесу. Тяжелые облака собрались на вершине горы. Несколько поваленных бурей деревьев. Среди них одно полуобгоревшее, в которое когда-то ударила молния. Усталая лошадь с усталым всадником, пробираясь по этой неприветливой дороге. По шляпе и пальто было нетрудно узнать Джонатана. Он так устал, что, выпустив поводья, позволил лошади самой выбирать дорогу. На пути возник лесной ручей. Джонатан спешился, стряхнул пыль с пальто и, наклонившись над ручьем, наполнил фляжку.

Висмар. Берег моря. На берегу стояла Люси и напряженно вглядывалась вдаль. Позади нее по берегу прошли Шредер и Мина. Над морем сгустились сумерки.

Карпаты. Постоялый двор. Тихо опустели сумерки. Накрапывал дождь. В живописной долине затерялся небольшой постоялый двор, одновременно служащий станцией для смены лошадей. Неподалеку расположился цыганский табор. Дым от костров стелился по всей долине.

Едва Джонатан появился на своем усталом коне, как к нему со всех сторон бросились цыгане, будто никогда не видели живого всадника. Их крики были такими громкими, что хозяин выскочил на крыльцо узанать, что же случилось.

Хозяин, грузный мужчина, подпоясанный широким кожаным ремнем, дружески поприветствовал редкого гостя и прикрикнул на цыган. На секунду воцарилась тишина, и потом снова начался хаос. Хозяин сделал два глубоких подобострастных поклона и, почтительно открывая дверь, еще раз прикрикнул на цыган на каком-то непонятном языке.

Джонатан вошел в дом и огляделся. Тяжелый крестьянский буфет с грубоватыми тарелками и чашками занимал центральное место. Горели свечи. Гирлянды чеснока украшали стены. За столами, на которых стояли кувшины с крепким вином, свежий хлеб и сало, сидело несколько крестьян из ближней деревни. Были среди них и цыгане с темными, горящими глазами. За отдельным столиком расположилась крестьянка с корзинкой, из которой торчала шея гуся, пытавшегося схватить со стола крошку хлеба. Спокойные жесты, спокойный разговор. Джонатан сел за стол, покрытый чистой льняной скатертью, и потянулся к бутылке с вином. Рядом располагался вход в кухню. Через открытую дверь была видна повараха, топчущаяся вокруг огромной плиты. Джонатан опустошил рюмку и, положив руки на стол, громко крикнул хозяину: "Еду! Да по-

скорее! Мне нужно засветло попасть к графу Дракуле”.

В этот момент в зале воцарилась тишина. Джонатан обернулся и посмотрел вокруг. Хозяйка стояла неподвижно, прижав руку к губам. Крестьянка с гусем испуганно перекрестилась, а сам гусь стал как-то тише. Джонатан понял, что произнес что-то неподобающее, но не мог понять, что это. Взгляды, обращенные на него, были полны ужаса. Цыгане словно окаменели. Первым опомнился хозяин и подошел к столу Джонатана. “Действительно молодой господин направляется туда? Неужели ему не ясно, что он добровольно обрекает себя на гибель? Он что, не знает, что в полночь всякая нечисть поднимается на поверхность, а волки без усилий превращаются в людей?”

Вся эта суета действовала Джонатану на нервы, и он послал хозяина найти ему возницу, чтобы тот отвез его в замок. Хозяин вышел, но вернулся ни с чем. Когда посетители успокоились, он подсел к Джонатану и прошептал, что есть один цыган, который может привести его к тому замку.

Цыганский табор. Ночь. Хозяин и Джонатан вышли на улицу. Возле костра, посреди табора, сидел цыган с горящими глазами. Хозяин направился прямо к нему. Кромешная тьма со всех сторон обступила табор. Черный, диковатого вида цыган, во рту которого поблескивал единственный серебряный зуб, начал говорить на прекрасном гортанном языке. Чувствовалось, что он пользовался авторитетом у своих соплеменников. Хозяин взялся переводить.

“Молодой господин, не нужно туда ходить. Там на дороге огромная пропасть, в которой пропадают люди. И если кто-то туда попадет, уже не вернется назад,” – начал цыган. Заметив, что все его фразы переводятся, цыган продолжил. Его голос звучал ясно и четко. Цыган уверен, переводил хозяин, что никакого замка нет и в помине. Он существует только в воображении людей. Это всего лишь руина, замок привидений. Кто слишком далеко проникнет в страну призраков, там непременно сгинет, предостерегающе закончил свою речь цыган. Несолоно хлебавши Джонатан с хозяином вернулись на постоялый двор.

Комната на постоялом дворе. Топилась печь, и горела свеча. Комната была убрана совсем просто, под кроватью стоял ночной горшок. Харкер бросил сумку на стул. Он начал снимать сапоги, когда кто-то поскребся в дверь, и потом в комнату вошла хозяйка. Она окропила стены святой водой и протянула Джонатану книгу. Тот решительно не понимал, чего хочет от него женщина, изъясняющаяся на этом прекрасном восточном языке. “Ах, я должен ее прочесть”, – понял наконец Джонатан. Прежде чем покинуть комнату, хозяйка повесила на шею постояльца простую цепочку с маленьким деревянным крестиком. Она выказала такое искреннее сочувствие к Джонатану, что он покорился. Перекрестив постояльца, хозяйка покинула комнату. Джонатан перелистал книгу, страницы которой были покрыты алхимическими знаками. Речь шла о вампирах и сосудах человеческой крови. О спящих в гробах оборотнях, о мертвецах, которые гоняются за живыми людьми. Джонатан развеселился и уже читал с большим интересом, пока не наткнулся на главу “Трансильвания. Носферату, бессмертный”. “Проклятие висит над человечеством, проклятие вампира Носферату” – было написано в ней. Джонатан сунул книгу в сумку и улегся спать. Лежа в постели, он взглянул на окно. Неясный свет луны плыл в комнату. Слышался вой волков.

Карпаты. Ночь. Тьма окутала молчащий лес. Луна как тяжелое колесо медленно продвигалась сквозь облака. Вдали обозначился силуэт постоялого двора, а рядом вой волков, протяжный, жалобный, дикий. Луна скрылась за большим облаком, и тьма обрушилась на землю. Где-то совсем близко вспыхивали огоньки волчьих глаз.

Теред постоялым двором. Светлый, солнечный день развеял ужас ночи. Возница с повозкой, запряженной четверкой лошадей, стоял перед двором. Гуси пас-

лись на лугу. Облезлая собака сидела рядом со своей будкой. На почтительном расстоянии примостились несколько цыганят. Возница, крупный мужчина, поправляя упряжь на лошадях. Вышел Джонатан со своим багажом и сказал, что ему нужно в Борго-пас.

– Туда нет дороги, – буркнул возница и поехал прочь.

– Но эта дорога как раз и ведет в Борго-пас, – возразил Джонатан.

Видя, что возница неумолимо удаляется от него, Джонатан бросился вслед и предложил двойную цену, но кучер не соглашался.

– Хорошо, – сказал Джонатан, – тогда придется идти пешком.

Возница бросил на него мрачный взгляд, но ничего не сказал. Джонатан закинул за плечи сумку и отправился в путь. Хозяйка издала перекрестила постояльца, цыгане провожали его взглядами. Но Джонатан всего этого не увидел, поскольку был сосредоточен на этой страшной дороге в горы.

К арпаты. Горная дорога. Было по-утреннему свежо. Щebetали пташки, журчал ручей. Но лес, которым шел Джонатан, казался необыкновенно мрачным. Ни луча солнца не проникало в него. Полоска неба обозначилась далеко вверху. В ярком свете утра скалистые горы выглядели полупрозрачными. Казалось, через них можно было рассмотреть располагавшееся по другую сторону. По скалам бежали струйки воды.

Ущелье было таким узким, что в некоторых местах приходилось протискиваться боком, держась за скалу руками. Идущего по ущелью преследовал смертельный страх. Джонатан прибавил ходу, чтобы поскорее выбраться из каменной западни, способной раздавить его хрупкое тело.

Б орго-пас. Вечер. Природа замерла. Уставший Джонатан присел отдохнуть. Огромные поля снега свисали с обступивших его скал, преграждая путь лучам солнца. Черные и оранжевые облака стремились навстречу друг другу, словно враги в непримиримой схватке.

В этом месте скалы были такими высокими, что Джонатан понял, – здесь ему предстоит выход из этой каменной ловушки. Надвигались сумерки. Харкер целеустремленно шел вперед. Но что это? Когда последние лучи солнца осветили фигуру Джонатана, к его ногам упала такая огромная тень, словно она принадеждала не человеку, а горе. Может быть, что-то притаилось в облаках? Летучая мышь, например? Но разве летучие мыши бывают такими большими? А это что? Тень... Она двигалась по горам, становясь то больше, то меньше. Джонатан продолжил свой путь. Раздался протяжный волчий вой, солнце закатилось, и тень исчезла. Харкер остановился, и ночь обступила его со всех сторон.

Где-то вдаль проехал одинокий путник. Да это же возница с четверкой черных лошадей, который бросил его у постоялого двора! Возница передвигался беззвучно, словно привидение, и остановился возле Харкера. Он был в черном пальто и шляпе, надвинутой на глаза. Луна скрылась за облаками. В темноте сверкнули две зеленые точки – глаза возницы, похожие на волчьи. Он сделал повелительный жест. Харкер подчинился и сел в повозку. Его воля была парализована.

Пролетела комета. Зеленые глаза сверкали на обочине дороги. Волки. Они всегда приходят ночью...

З амок графа Дракулы. На высокой темной скале возвышалась мрачная руина. Разрушенные стены, выбитые окна. Черные облака кружились в небе, страшный гул сотрясал воздух. Башни замка уткнулись в небо, словно мертвые пальцы, стремящиеся проткнуть облака. Ночь опустилась на горы, руины исчезли в сумерках. Но вот появилась багровая луна и осветила силуэт мрачного замка. Возница проехал через ворота во двор. Харкер поднялся и огляделся. Красноречивым жестом возница показал ему, что нужно подняться по лестнице, и уехал. Харкер остался стоять в одиночестве перед огромным разрушенным порталом. Его сердце бешено колотилось. В этот момент створки двери издали скрипучий звук и медленно, очень медленно закрылись сами по себе.

Тьма окутала все предметы, и вдруг на встречу Джонатану выступила странная фигура в черном. Плечи были отведены назад, и руки судорожно сцеплены. Ноги казались совсем высохшими, словно палки, а пальцы с прозрачными ногтями неправдоподобно длинными. Голова с голым черепом клонилась набок. Лицо отличалось мертвенной бледностью. Уши придавали существу сходство с летучей мышью. Существо остановилось. Взгляд, от которого пробирал ужас, вперился в Джонатана.

– Граф Дракула? – спросил Джонатан.

– Да, я граф Дракула, – подтвердило существо. – Приглашаю Вас в замок. Ночь холодна. Вы, должно быть, устали и голодны... Дракула взял горящую свечу и пошел вперед, освещая путь. Он держал свечу прямо перед собой, и Харкер заметил, что ее свет свободно проникает через тело хозяина.



Замок Дракулы. Столовая. Ночь.

Горели свечи. В камине потрескивало пламя, отбрасывая по стенам странные тени. Все предметы в зале отличались огромными размерами. Большой дубовый стол. Стулья с высокими неудобными спинками. Два окованных железом сундука, судя по их виду, не открывавшихся уже многие годы. На столе множество канделябров, явно изготовленных в средние века, как, впрочем, и все остальные предметы в этой комнате. Стол был уставлен различными яствами, но только в расчете на одного человека. Сидящий во главе стола Дракула пожирал Харкера взглядом. Воспользовавшись паузой, тот передал графу письмо Ренфильда с планом дома в Висмаре. Однако Дракула, занятый разглядыванием Джонатана, едва взглянул на него. К сожалению, Джонатан должен ужинать в одиночестве, вкрадчиво прошептал Дракула. Уже скоро полночь, а он не ест так поздно. Все слуги отпущены, так что он, Дракула, будет сам заботиться о госте. Дракула говорил подчеркнуто вежливо, только очень тихо. И не смотря на это, в его голосе звучали угрожающие нотки, нагонявшие на Джонатана страх. За время

долгого путешествия Джонатан здорово проголодался и накинудся на еду как дикий зверь. Дракула углубился в письмо Ренфильда, написанное трудночитаемыми иероглифами. Но когда Харкер поднял глаза, то встретился взглядом с Дракулой. Оба затаили дыхание. Первым не выдержал Джонатан. Опустив глаза, он снова принялся за еду.

Начали бить стоящие в столовой часы. Это было весьма занятное устройство. При двенадцатом ударе открылась дверца и появилась фигурка смерти. Коса в ее руке описала полукруг, фигурка отступила назад, и дверка закрылась.

Чувствовалось, что Дракула возбуждался все больше и больше. Неожиданно раздался протяжный вой волков.

“Послушайте детей ночи! Они создают музыку!” – патетически воскликнул граф.

Заметив страх Харкера, Дракула поспешил придать своему лицу невинное выражение.

“Ах, молодой человек, – притворно вздохнул Дракула, – городскому жителю не понять души охотника”.

Волнение охватило Джонатана, и, отрезая хлеб, он слегка поранил большой палец. Дракула был тут как тут. Схватив руку гостя, он прильнул к ней губами. Харкер попытался оттолкнуть назойливого хозяина. Между ними завязалась борьба. Дракула аргументировал свою навязчивость тем, что нож мог быть грязным и заразить гостя. Чтобы избежать заражения, нужно отсосать кровь.

– Это средство старо как мир, – убеждал Дракула гостя.

– Но это всего лишь маленькая ранка! – упирался Харкер. Дракула был вынужден вернуться на место. Но Харкер не успел перевести дыхания, как Дракула схватил его своей костлявой рукой и вновь прильнул губами к большому пальцу и тут же молниеносно отпрянул назад.

“Я хотел как лучше”, – заявил вампир.

Напуганный Харкер выскочил из-за стола и упал в большое кожаное кресло рядом с камином. Оглядев комнату, Харкер заметил несколько больших летучих мышей, притаившихся по углам комнаты.

Висмар. Дом Шредера. Ночь. Комната Люси. Она беспокойно ворочалась в постели, иногда вскрикивая, точно от боли. Окно открылось, с легким шорохом двинулись шторы. В них запуталась большая летучая мышь. Цепляясь когтями, она поднималась вверх. По телу Люси пробежала судорога.

Столовая. День. Харкер раскрыл глаза в своем кожаном кресле. Вид у него был усталый. Что это было ночью? Куда он пошел? При свете дня Харкер снова оглядел комнату. Тяжелые портьеры побиты молю, по углам паутина, толстым слоем на всех предметах лежит пыль, словно десятилетиями к ним никто не прикасался. Луч света, с трудом пробившись через портьеру, упал на Джонатана. Издали раздался пронзительный звук скрипки, словно кто-то решил поупражняться на ней. Харкер устало зевнул. Его взгляд упал на большой палец, который он поранил ножом. Болела шея. Харкер с трудом поднялся и подошел к зеркалу. Что это? Укус? След от зубов? Две маленькие ранки, не очень большие, но вполне заметные. Харкер задумался, и когда очнулся от своих мыслей, то первое, что увидел, был накрытый стол, буквально лопившийся от яств. Прежде чем приступить к трапезе, Джонатан еще раз огляделся вокруг. Входная дверь была крепко заперта, но дверь слева – открыта. “А где, собственно, мой багаж?” – подумал Харкер. Ноги понесли его к маленькой двери и вскоре он оказался на пороге черного тоннеля. Он сделал несколько шагов и очутился перед дверью в комнату с эркером. Харкер заглянул внутрь и увидел свой багаж, в полном порядке разложенный на большом кресле. Харкер оглядел комнату – кровать, светильник, скромная обстановка. Через большое окно струился свет. Был ясный день. Харкер высунулся из окна. Далеко внизу виднелись постройки дворца. В одной нише пристроился цыганенок и пиликал на скрипке. Харкер крикнул ему, но тот, увлеченный игрой, не слышал. Харкер быстро сбежал по

лестнице, надеясь найти скрипача, но вокруг было пусто, хотя он явственно слышал звуки скрипки и видел самого музыканта.

Харкер решил исследовать замок, но, к его сожалению, все выходы были тщательно закрыты. Прежде чем вернуться в столовую, Харкер открыл двери в темное, пропыленное помещение с узкими окнами, заставленное книжными полками с толстыми фолиантами, которые десятилетиями никто не читал. Маленькая лесенка вела вверх к коллекции чучел птиц и зверей. Все они пожухли от времени. Не осталось ни одной краски, избежавшей тления.

Вернувшись в столовую, Джонатан беззаботно принялся за еду. Что он не может выйти из замка, казалось, его нимало не беспокоило. Снаружи в комнату проникали тоскливые звуки скрипки.

Комната с эркером. День. Джонатан сидел у стола, уставившись в пустоту. Его рука сжимала медальон Люси. Он открыл его и долго любовался портретом жены. Затем достал дневник и начал писать: “Люси, моя любимая. К сожалению, здесь нет почты. Так что я решил вести дневник, который сможет познакомить тебя с моими мыслями и чувствами. Вчера, после утомительного путешествия, я наконец достиг моей цели – замка графа Дракулы в Трансильвании”.

Джонатан приподнялся на стуле и выглянул в окно. Ветер трепал кроны больших деревьев. Каркали вороны. Джонатан продолжал писать: “Сегодня ночью мне приснился страшный сон. Но, надеюсь, все уже позади. Я проснулся очень утомленным. Возможно, меня кусали какие-то насекомые, потому что на шее я обнаружил следы укусов. Надеюсь, что сегодня вечером мои переговоры с графом Дракулой подойдут к счастливому завершению. Его замок кажется настолько странным, что я подумал, не является ли он частью моего сна?”

Висмар. Дом Шредера. Люси в глубокой задумчивости взирала на тихую воду канала. Этот вид был настолько совершенным, что напоминал старинную картину.

З

амок Дракулы. Библиотека. Ночь. Граф Дракула и Харкер сидели за длинным столом посреди библиотечного зала. Горели свечи. Чучела зверей из собрания графа взирали на беседующих мертвыми глазами.

В отличие от прошлой ночи, граф Дракула выглядит подавленным. Определенно этот вампир стыдился своей сущности и чувствовал себя очень одиноким. Так что он решил произнести перед гостем что-то вроде оправдательной речи. Он, граф Дракула, не любит солнечного света и искрящихся фонтанов, которыми так восхищаются молодые люди, предпочитает темноту и тень, которые помогают предаваться уединению. Он принадлежит к старинному роду, но все его родственники уже умерли, а он так и не смог состариться. Вот что является для него настоящей трагедией. Смерть отнюдь не самое страшное. На свете есть вещи и похуже. Может ли он, Джонатан, представить себе, что это значит – жить столетие за столетием, каждый день убеждаясь в собственной нетленности?

Харкер взглянул удивленно, и Дракула, поняв, что сказал слишком много, быстро поменял тему, как, впрочем, и тон речи.

“Я рад, – сказал вампир, – что Вы подыскали мне такой большой и старинный дом. Кажется, мы будем соседями? Нельзя ли посмотреть план?” – произнес он как можно любезнее. Джонатан начал вытаскивать из карманов план дома и документы на него. При этом медальон Люси упал на пол. Джонатан наклонился, чтобы поднять его, но Дракула оказался проворнее. Как когти ворона, его пальцы схватили портрет Люси. Джонатан протянул руку, чтобы забрать медальон. “Это моя жена Люси”, – объяснил он. Прикоснувшись на секунду к руке вампира, Джонатан почувствовал, как она холодна. Дракула бросил долгий зачарованный взгляд на маленький овальный портрет и с сожалением положил его на стол.

– Бумаги, договор. Я хотел бы подписать их тотчас, не сходя с места, – заявил вампир.

– Но ведь Вы даже не поинтересовались ценой, – удивился Джонатан.

Вампир отмахнулся. В его глазах зажегся

дьявольский огонек.

– Пожалуй, стоит поторопиться. Сколько дней Вы находились в пути?

– Четыре недели, – коротко ответил Джонатан.

– Ну хорошо! Всеу свое время, – согласился Дракула. В это время часы в столовой пробили полночь. Свечи начали мигать. С каждым ударом в лице графа происходили все новые изменения. Заметив это, Харкер собрал вещи и быстро ретировался.

К

омната с эркером. Ночь. Харкер беспокойно метался по постели. Потом какая-то мысль пришла ему в голову. Он достал из сумки книгу, которую получил на постоялом дворе, и начал листать. Глава 2. “Носферату, бессмертный”. “Вампир Носферату произошел от семени Белиала. Он питается человеческой кровью, а местом отдыха ему служат гробы, заполненные землей, взятой на “чумных” кладбищах”. Джонатан отложил книгу, подошел к двери, плотно закрыл. Затем распахнул окно и выглянул наружу. Услышав волчий вой, быстро захлопнул окно. Сел на постель и с напряжением уставился на дверь. Однако все было спокойно. Харкер вынул медальон и бросил короткий взгляд на портрет жены.

К

оридор в замке. Ночь. Мертвая тишина, и потом издали заунувный волчий вой. Ничего не происходило, но что-то назревало. Из тьмы возник Носферату. Он больше не был похож на человека: лицо околостенело, движения стали механическими, как у заводной куклы. Целеустремленно вампир продвигался вперед. Так неотвратимо надвигается на людей беда.

К

омната с эркером. Ночь. Харкер проснулся и испуганно сел на постели. Что-то происходило за стенами комнаты, или это порыв ветра распахнул двери? Опять тихо! Харкер сидел на постели не спуская глаз с двери. Та начала раскрываться. В черном проеме появилась фигура Носфера-



ту. Неудержимо он продвигался вперед, сверля глазами Джонатана. Медленно поднял над головой руки, похожие на крылья хищного грифона.

Висмар: Дом Шредера. Ночь. Лунный свет затопил комнату, в которой спала Люси. С криком она проснулась, высоко подпрыгнув на постели. На лице застыло выражение ужаса. Чувство опасности выгнало ее из теплой постели, с закрытыми глазами Люси вышла на улицу.

Канал возле дома Шредера. Ночь. Должно быть, Шредер что-то почувствовал, поскольку выскочил на улицу прямо в спальном костюме. Его взгляду предстала Люси, с закрытыми глазами идущая по парапету канала. Ее движения казались заторможенными, но она шла очень целеустремленно, как будто хотела достичь поставленной цели. Шредер тотчас понял опасность, угрожающую его родственнице. Неслышно он подошел к ней и позвал по имени. Люси

потеряла равновесие и упала прямо в руки Шредера. Он прижал ее к себе и отнес в дом.

Комната Люси. Ночь. Шредер положил Люси на постель. В дверях показалась его жена Мина в ночной рубашке. В руках она держала свечу. "Врача, скорее!" – крикнул Шредер.

Замок Дракулы. Комната с эркером. Ночь. Харкер был похож на испуганного зверька, пытающегося спрятаться в углу своей постели. Но Носферату неумолимо надвигался на него. Безвольно и покорно Харкер ждал встречи с неотвратимым. Вампир медленно наклонился над гостем, нацелив два острых зуба на его шею.

Висмар. Дом Шредера. Ночь. У постели Люси доктор Ван Хельзинг. Види-



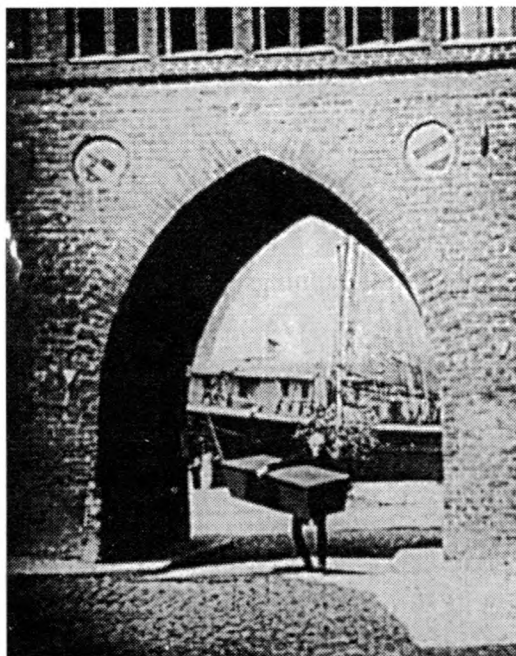
мо, он страшно спешил, о чем свидетельствовали неправильно застегнутые пуговицы на его рубашке. Для начала он прыснул в лицо Люси воды, а потом стал щупать пульс, сомнений не было, она находилась в состоянии полного расстройства сознания. Очнувшись, Люси, как и ее муж Джонатан, забились в угол постели. Она что-то бормотала и только однажды крикнула во весь голос: "Джонатан!"

Замок Дракулы. Комната с эркером. Ночь. В полуобморочном состоянии Джонатан распростерт на постели, глаза полукоткрыты. Носферату припал к его шее. Внезапно вампир оторвался и прислушался, словно услышал какой-то призыв. Это был зверь. Его губы дрожали. Под ними ясно обозначились два острых, как у крысы, передних зуба. Носферату принохался. Его руки, сжимавшие тело жертвы на манер паучьих лапок, разомкнулись. Вампир повернулся и покинул свою жертву.

Висмар. Дом Шредера. Ночь. На Люси снизошел покой. Доктор опустил ее руку и повернулся к Шредеру: "Лихорадка привела к учащению пульса. Она нуждается в покое. Если что-то случится, пошлите за мной". Однако доктор был уверен, что худшее уже позади. Люси погрузилась в глубокий сон.

Карпаты. Замок Дракулы. День. В утреннем тумане на уступе скалы обозначились руины замка Дракулы. Вокруг порхали ласточки, развешивая на разрушенных стенах свои гнезда.

Комната с эркером. День. Харкер лежал в постели, не меняя позы. Открыл глаза, постепенно приходя в себя. Несколько минут полежал с открытыми глазами, потом неожиданно поднялся и вскочил на обе ноги. Надел сюртук. Чувствовалось, что



он принял какое-то решение. Энергичными шагами покинул комнату. Дверь осталась полуоткрытой.

Замок Дракулы. День. Джонатан вышел в галерею. Толкнул дверь в другую комнату с эркером. Никого. Только за окном сияло солнце.

По небольшой лестнице Джонатан спустился в кухню. Заглянул в печь. Ничего! Решительными шагами направился в библиотеку, осмотрел чучела животных. Ничего! Столовая. Никого! Он, Джонатан Харкер, единственное живое существо во всем замке. Взгляд Джонатана упал на запертые ворота. Он взял каминные щипцы и попытался открыть ими входную дверь, но ничего не получилось. Осталось обследовать двор. Джонатан толкнул дверь и спустился по лестнице. Его внимание привлекла горящая свеча. Джонатан взял ее с собой. Длинный подземный переход. Холодные стены. Еще одна лестница. Пространство расширилось, и Джонатан вышел прямо к саркофагу, стоящему на каменном пьедестале. Джонатан навалился плечом, тяжелая крышка сдви-

нулась, и его взору предстал Носферату. Полностью одетый, он лежал в гробу мертвее любого покойника. Страшная находка повергла Джонатана в бегство.

Замок Дракулы. Комната с эркером. Вечер. Харкер заперся у себя в комнате, забаррикадировав дверь кроватью и стулом. Приготовившись к сопротивлению, он даже вооружился найденной алебардой и каминными щипцами. Однако эта экипировка не могла скрыть замешательства, в котором находился герой. Его внимание привлекли звуки, доносившиеся со двора. Джонатан приник к окну.

Двор замка. Вечер. Вид сверху. Четверка черных лошадей тащила обычную крестьянскую повозку. На ней в виде пирамиды было установлено не менее дюжины гробов. Появился Носферату, не без труда тащивший очередной гроб. Ясно, что гроб был чем-то заполнен. Куча земли, лопата и могильный крест позволяли сделать предположение о содержимом гробов. Рядом стоял цыганенок и играл на скрипке.

Носферату вскочил на повозку, открыл верхний гроб, улегся в него, закрыл крышку. Четверка лошадей безо всякого понукания пустилась вскачь. Цыганенок остался в одиночестве.

Замок Дракулы. Комната с эркером. Вечер. Джонатан закрыл окно. Поспешный отъезд Носферату подсказал ему, что Люси угрожает опасность. Он должен защитить ее, но как? Джонатан оглядел комнату, быстро снял с постели покрывало, сорвал с окон портьеры, начал быстро резать их на полосы.

Крепостная стена. Вечер. Из окна выглянул Харкер со своей веревкой, украшенной грубыми узлами, и, привязав, бросил ее вниз. Веревка почти достала до зем-

ли. Джонатан начал спуск, однако веревка не выдержала тяжести тела и оборвалась. Джонатан упал на землю, с трудом поднялся, потирая ушибленные плечо и ногу.

Как из-под земли появился цыганенок, красивый, серьезный ребенок, и мрачно взглянул на Джонатана. Его скрипка звучала как послание из другого мира. Харкер потерял сознание.

Река в Карпатах. День. Дул сильный ветер. По реке сплавлялся плот с пирамидой гробов. Трое гребцов с длинными веслами умело управляли плотом. В движении плота чувствовалось что-то угрожающее и опасное.

Крестьянский дом в Словакии. Низенькая дверь, маленькие окна, образа святых. Возле печи старик со старухой. На скамейке возле окна четверо цыган, безмолвно уставившихся на мечущегося в бреду Джонатана. Около него врач и медицинская сестра. Шепотом она сообщила, что дровосек нашел этого человека лежащим без сознания в лесу. Он очнулся совсем недавно да и то еще не произнес ни слова.

Джонатан беспокойно повернулся в постели, так что стало видно его забинтованное плечо. Выглядел он ужасно. Щеки небриты, волосы торчали в диком беспорядке. Джонатан дернул здоровым плечом, словно увидел что-то. "Гробы, черные гробы. Нужно их задержать!" Врач мягким, но решительным жестом вернул больного на подушку и затем обменялся с медсестрой многозначительным взглядом.

Варна. Гавань. Большой черный корабль "Контамана" вошел в гавань, чтобы принять на борт необычный груз – гробы. Таможенник в сопровождении капитана "Контаманы" и нескольких матросов осмотрели груз. "Странно, – подумал чиновник, – бумаги в порядке, но что-то тут не то".

Капитан, мужчина среднего возраста, излучавший ум и опыт, тоже заглянул в бу-

маги. "Из Варны в Висмар, – прочитал он, – груз обозначен как предназначенный для ботанических экспериментов". Таможенник попросил открыть ящики. Грузчики сдвинули крышки. Только земля. Таможенник распорядился вытряхнуть ее. Из гроба вывалилось штук двадцать крыс. Одна из них шлепнулась на босую ногу рабочего и, вцепившись в нее, оставила маленькую отметину.

Висмар. Психиатрическая клиника. Кабинет директора. Доктор Ван Хельзинг работал с бумагами. Рядом с ним микроскоп, полки уставлены баночками с анатомическими пробами и толстыми медицинскими книгами. На стенах развешены анатомические таблицы с изображением человеческих органов. В большой бутылки – заспиртованный новорожденный ребенок с огромной деформированной головой. Без стука вбежал перепуганный санитар. "У пациента, поступившего вчера в закрытое отделение, случился новый приступ болезни", – взволнованно сообщил он. Ван Хельзинг прервал работу и последовал за санитаром.

Талата психиатрической клиники. Ван Хельзинг и санитар вошли в палату, в которой не было ничего, кроме деревянных нар. Расположенное под самым потолком окно было зарешечено. На нарах, скрючившись как зверек, притаился пациент. На вошедших он не обратил никакого внимания, а когда наконец обернулся, то оказалось, что это Ренфильд, начальник Харкера, пославший его в Трансильванию. В присутствии врача на Ренфильда напало возбуждение. Лицо начало подергиваться. Он прыгал, как тролль. Приблизившись к окну, Ренфильд подпрыгнул, схватил муху и начал ее сосать. "Кровь это жизнь", – несколько раз повторил он. Санитар прикрикнул на него и заставил выплюнуть муху. Ренфильд раскричался и расплакался как малый ребенок и при этом обмочил штаны. Ван Хельзинг спросил, как часто это происходит. Санитар подтвердил, что больной уже несколько раз требовал вместо еды мух. Пока медики переговаривались, Ренфильд, воспользовав-

шись моментом, прыгнул на санитара и попытался укусить его в шею. На подмогу подоспели два других санитаров и набросили на Ренфильда смирительную рубашку. Постепенно тот успокоился. “Тихо, – сказал он, – я слышу приближение корабля, в его парусах шумит ветер”.



Открытое море. “Контамана”. День. Могучие серые волны неистовствовали под серым дождливым небом. Идущая под парусом “Контамана” тяжело переваливалась с боку на бок.



Висмар. Берег моря. День. На скамейке среди дюн сидела Люси. День был серый и ветренный. Серое море накатывало на берег тяжелые волны. Люси не отрываясь смотрела вдаль. К ней подошли супруги Шредер. Порыв ветра сорвал со Шредера шляпу. Но ему удалось поймать ее. Люси вопросительно взглянула на шурина. Письма так и нет, ответил он, но она не должна беспокоиться. Наверное, почта в Трансильвании работает плохо. Люси больше не верила увещаниям родственников. С Джонатаном что-то произошло, она чувствовала это сердцем. Мина ласково обняла Люси за хрупкие плечи.

– Ты должна быть уверена, что Бог услышит твои молитвы... “В час испытаний Господь слишком далеко от нас”, – подумала Люси.



Деревня в Словакии. Крестьянский дом. На подкашивающихся ногах Харкер стоял посреди комнаты. Пожилой цыган старался поддержать его, говоря что-то ободряющее на своем древнем языке. Медицинская сестра пыталась уложить Харкера в постель, полагая, что молодой человек еще слишком слаб для путешествия. “Гробы, гробы! Я должен появиться в Висмаре раньше гробов. Люси в опасности, только я способен защитить ее”, – настаивал Джонатан. Не обращая внимания на свое ноющее плечо, он пытался затолкать руку в рукав пальто.



Контамана”. Каюта капитана. День. Все ее небольшое пространство было заполнено морскими и навигационными картами. Своей тяжелой, обветренной рукой капитан делал заметки в судовом журнале: “С тех пор как мы покинули Черное море, с кораблем происходит что-то странное. Многие матросы заболели и умерли. Один матрос вместе с поваром бесследно исчезли. Среди команды прошел слух, что причиной всему чужак, скрывающийся на корабле. Мы искали его, но не нашли. Только крысы в полном порядке. Их здесь полным-полно. Мы пытаемся держаться нашего курса на северо-запад. Ветер постоянен. Скорость – 12 узлов в час”.



Висмар. Психиатрическая клиника. Палата Ренфильда. Люси в сопровождении Ван Хельзинга и санитаров вошла к Ренфильду. Тот сидел безучастно на нарах, только его глаза непрерывно следили за мухой на окне. Смирительную рубашку уже сняли. Люси подошла к Ренфильду, стараясь привлечь его внимание, но тот никак не реагировал.

– Господин Ренфильд, Вы дали мужу поручение поехать в Трансильванию. Прошло несколько недель, а от него нет никаких известий. Это меня очень беспокоит. Я хочу ехать туда сама.

– Вы не должны этого делать, нужно спокойно ждать, когда появится Повелитель.

– Кто появится? – вмешался в разговор доктор Ван Хельзинг.

– Повелитель крыс, – отрезал Ренфильд.

Вдруг на него напал дикий смех. Ван Хельзинг взял Люси за плечи и быстро вывел из палаты.

– У пациента начался приступ, так что Вам лучше уйти.

Санитар был вынужден задержаться, чтобы закрыть палату. Ренфильд между тем заметил у того в кармане газету и ловко выдернул ее, когда санитар отвернулся. Затем Ренфильд спрятал газету под постель и снова усталился на муху, жужжащую на окне. Санитар покинул палату, так и не заметив пропажи.

Едва ключ повернулся в замке, Ренфильд выхватил газету и быстро раскрыл ее. Он искал что-то определенное и наконец нашел. "Чума. В Трансильвании и порту Варна на Черном море началась эпидемия чумы. Ее жертвами становятся молодые женщины. У всех жертв на шее остается примечательная отметина, происхождение которой представляет для врачей загадку. Вымирают целые округа". Ренфильд отвел взгляд от газеты и глубоко вздохнул. Его взгляд был вполне осмысленным, а из груди рвался наружу дикий смех.

Карпаты. День. Пыльная дорога вилась среди горного ландшафта. Тело Харкера, сидящего на лошади, болталось справа налево. Чтобы удержаться в седле, он прилагал невероятные усилия. Взгляд был затуманен болезнью, волосы развевались на ветру.

Море. Сумерки. "Контамана", грузно переваливаясь с боку на бок, медленно продвигалась вперед. На борту не видно ни одной живой души. Корабль сопровождала большая летучая мышь. Казалось, что "Контамана" продвигалась вперед только благодаря взмахам ее огромных крыльев.

"Контамана". Палуба. Вечер. Капитан, единственный из оставшихся в живых на "Контамане", с трудом взял в руки штурвал, а потом привязался к нему ремнем. Он валился от усталости, но был полон решимости довести корабль до порта. Солнце закатилось за море, и в этот миг из люка на палубу поднялся Носферату. На фоне сумеречного неба его фигура казалась совсем черной, но капитан не заметил пришельца. Его корпус безвольно склонился над штурвалом, хотя ноги стояли крепко.



Море. Вечер. Последний луч заходящего солнца высветил черный силуэт "Контаманы".

Висмар. Гавань. Утро. Тишина. В эти предрассветные сумерки работа еще не началась. Бесшумно "Контамана", этот корабль-призрак, вошла в гавань, обогнула мол и замерла в неподвижности неподалеку от здания пароходства.

Тсихиатрическая клиника. Палата Ренфильда. Укрытый одеялом пациент казался совсем ребенком. Внезапно он вскочил, схватился за решетки окна, пытаясь вылезти наружу. Смех сотрясал его тщедушное тело. "Повелитель здесь! Повелитель здесь! В этом нет никаких сомнений", – радостно вопил он.

Деревенская улица. Унылое плоское пространство несколько оживлялось неспешно крутящимися ветряными мельницами. По длинной улице, покачиваясь из стороны в сторону, ехал всадник. Поводья лошади были опущены. Она сама выбирала путь. Всадник, в котором было нетрудно узнать Джонатана, изо всех сил старался не упасть на землю.

Висмар. Дом Шредера. В этот послеобеденный час в доме стояла тишина, и только Люси в дорожном костюме сновала туда-сюда, готовясь к отъезду. Мина сидела у окна, заинтересованно поглядывая на улицу. Там происходило что-то необычное. Десятки людей бежали по направлению к порту. Люси подошла к окну. Обе женщины с тревогой наблюдали за происходящим.

Давань. День. Возле того места, где остановилась "Контамана", собралось 20–30 человек. Начальник порта, горожане, несколько любопытных ребятишек, босоногие грузчики, таможенники, члены городского совета. Начальник порта поднялся на борт "Контаманы", за ним последовали таможенники.

“Контамана”. Палуба. Первым, кого обнаружил начальник порта, был крепко привязанный к рулю мертвец. Во взгляде его остановившихся глаз застыло выражение ужаса. На шее умершего четко обозначились две маленькие ранки. Когда таможенники спустились в каюту, на палубы выскочили крысы. Таможенники обыскали весь корабль. Вокруг – ни души. В трюмах какие-то гробы. Они начали искать судовой журнал.

Здание парходства. В зале стояли модели судов, висели картины, изображающие корабли. Мертвый капитан "Контаманы" лежал в гробу на задрапированном постаменте. В руку ему вложили крест. Доктор Ван Хельзинг внимательно обследовал мертвеца, и особенно две аккуратные ранки на шее. Он не понимал их происхождение и надеялся, что судовой журнал даст ответ. Его, наконец, обнаружили. "Варна. 6 июня. Наша команда включает капитана, двух офицеров, пятерых матросов и кока. Наша цель – Северное море". Ван Хельзинг перевернул несколько страниц. "Придерживаемся западного направления. Сегодня от лихорадки умерли еще три матроса. А вчера скончались три офицера. 20 июня. Курс на север. Море бурлит. Скорость четырнадцать узлов. В живых остались один офицер и я. Кто-то чужой находится на борту, но поиски ничего не дали. Кругом полно крыс. А может быть, это чума?"

Только доктор Ван Хельзинг произнес слово "чума", все присутствующие бросились к выходу. Люди спешили разойтись по домам, чтобы спрятаться за закрытыми дверями и окнами.

Давань. "Контамана". День. На палубе тихо, но в трюме ощущалось какое-то движение. Крысы! Они устремились на палубу изо всех углов, образуя поток, грозящий затопить город. Крысы прибывали и прибывали, голодные, злобные, готовые искушать каждого, вставшего на пути.

Дородская площадь. С одной стороны – тихий канал, с другой – огромные каштаны. Они создавали почти идиллическую атмосферу, если бы не закрытые двери и ставни домов. Откуда ни возьмись на площадь выскочила огромная стая крыс.

В лица. Ночь. Показалась фигура Носферату, несущего гроб. Сделав пару шагов, вампир остановился и свернул в соседнюю улицу, туда, где жили Харкеры. Носферату подошел к старой развалине, находящейся напротив дома Харкера, и исчез внутри. Вокруг ни звука – тишина.

И авань. Ночь. На молу пирамида гробов. Подошел Носферату, взял один из них.

З брошенное кладбище. Ночь. Держа гроб, Носферату направился прямо к маленькой разрушенной часовне. Вместе с гробом исчез среди руин, а минуту спустя появился уже с пустыми руками. Значит, по всему городу вампир готовил себе пристанища?

Т редместье Висмара. Утро. По дороге, петляющей вокруг озера, ехала повозка. Пели птицы. Тихонько ржали лошади. Идиллическая картина, как в зеркале, отражалась на поверхности озера.

Д ом Шредера. Утро. Возница остановился перед парадным выходом. Два человека вместе с возницей вынесли закутанного в одеяло человека. На настойчивый звонок в дверь вышла Мина. Едва возница начал объяснения, как в дверях появилась Люси. Она тотчас узнала мужа и вне себя от радости с громким криком бросилась ему на грудь. Джонатан бросил на возницу безумный взгляд. “Кто эта женщина?” – с возмущением крикнул он. Слышать такие слова было выше сил Люси. Она всплеснула руками и упала в обморок. Шредер подхватил ее.



Д ом Шредера. День. Мина и Шредер хлопотали вокруг Люси. Ван Хельзинг осматривал больного Джонатана, полужающего в кресле вблизи окна. Закончив обследование, Ван Хельзинг начал упаковывать свой инструмент. Он не сомневался, что у пациента воспаление мозга. Джонатан проявлял явные признаки беспокойства и прикрывал глаза рукой. “Мне мешает солнце”, – пробурчал он. Ван Хельзинг и Шредер перетаскивали кресло с Джонатаном в самый темный угол комнаты. Там больной почувствовал себя много лучше. Чтобы утреннее солнце не беспокоило Джонатана, Мина и Люси задернули портьеру. Люси не удержалась и спросила Ван Хельзинга, возможно ли, чтобы все люди вдруг сошли с ума, так что на них всех рано или поздно придется надеть смирительную рубашку?

В кромный переулок, выходящий к каналу. И вдруг из воды стали выскакивать крысы. Вскоре они заполнили весь

переулок, продолжая целеустремленно двигаться в одном направлении. На их пути оказался одинокий прохожий. Крысы бросились за ним. Вода в канале опять успокоилась, став гладкой, словно зеркало. Но мосты! По ним текли настоящие крысиные реки!

Тавань. День. На молу стоял человек. Крысы все прибывали и прибывали. Человек ухватился за корабельный канат, и сразу же все крысы бросились за ним. Навстречу им неслись грызуны, до сих пор оставшиеся на корабле. Человек разжал руки и упал в воду. Там, где его руки сжимали канат, произошла встреча крыс. Они настоженно обнюхивали друг друга.

Дом Харкера. Ночь. Окна, обращенные на улицы, были ярко освещены. Тихие шаги – и на дом упала огромная тень. По большим ушам и пальцам с длинными ногтями было нетрудно догадаться, что это Носферату. Вампир вышел из темноты, принюхался, а потом заглянул в освещенную комнату. Его взгляду предстал Джонатан, апатично сидящий в кресле. Вокруг него хлопотали Люси, Мина, Ван Хельзинг. Люси держала в руках дневник мужа и что-то зачитывала из него собравшимся. Однако из-за закрытых окон слов не было слышно. Прервав чтение, Люси наклонилась к Ван Хельзингу и показала какое-то место в дневнике. Носферату тайком подглядывал за происходящим и ждал своего часа.

Ван Хельзинг, Шредер и Мина поднялись и попрощались. Заслышав шаги, Носферату отступил в тень. Звук шагов становился все тише и тише, а потом и вовсе смолк. Тишина.

Дом Харкера. Ночь. Спальня. Сидя перед зеркалом, Люси готовилась ко сну. В вырезе ночной рубашки поблескивал маленький серебряный крестик. В бархатном кресле играла кошка. Внезапно шерсть ее встала дыбом. Дверь без звука открылась. Бесшумно как привидение в комнату

вошел Носферату. Люси с удивлением взглянула на кошку, затем перевела взгляд на зеркало, пытаясь определить источник опасности. К сожалению, она не знала, что у вампиров не бывает зеркального отражения. Когда она увидела Дракулу, стоящего перед ней, в ее душе поднялись самые мрачные предчувствия. Носферату начал говорить тихим скрипучим голосом, для начала представившись как граф Дракула из Трансильвании.

Она знает о нем, читала в дневнике мужа, сухо ответила Люси. Вампир пожаловался, что не может никак умереть. Люси усомнилась в этом. “Смерть – неотъемлемая часть любого бытия. Иначе реки затопили бы землю, а звезды в беспорядке мчались навстречу друг другу. Только смерть может положить всему конец. Поэтому она и воспринимается как величайшая жестокость”, – сказала Люси. “Смерть – жестокость только для непосвященных. Но это отнюдь не так. А что делать тем, кто вообще не может умереть, таща через века свою брентную оболочку?” – не согласился вампир.

Затем он резко изменил тему разговора, сказав, что мечтает познать такую любовь, какая связывает Люси и Джонатана. Люси отпрянула от вампира. Хотя сейчас Джонатан не признавал ее, она никому не позволит прикасаться к себе. Он может все изменить, умоляюще шептал вампир. Для этого она должна приблизиться к нему, превратиться в союзницу, а он бы стал надежным защитником ее семьи.

Страх постепенно оставлял Люси. Она чувствовала какую-то особую связь с ночным пришельцем. Вампир приблизился к Люси совсем близко. Что-то страстное и глубоко трагичное проступило в его лице. Люси знала о грозящей ей опасности и, отругав себя, стала всеми силами сопротивляться чарам вампира.

“Нужно набраться отваги, ведь защитить себя могу только я сама”, – прошептала Люси. Она обнажила серебряный крестик на груди, и вампир отпрянул назад. Сила крестика так подействовала на Носферату, что в мгновение ока он исчез в темном проеме двери.

Кошечка Люси тотчас успокоилась. Шкурка снова стала гладкой, но прежде чем приняться за игру, она бросила еще один

злобный взгляд за дверь, за которой исчез вампир.

Тсихиатрическая клиника. Палата Ренфильда. Тот сидел безучастно на своей лежанке и сонно поглядывал на санитаря, входящего в палату. Санитар отвернулся, чтобы взять ведро. В этот момент Ренфильд прыгнул на пол и закрыл дверь в палату, а затем набросился на санитаря, намереваясь укусить его прямо в шею. От испуга тот упал на пол, и в мгновение ока Ренфильд оседлал его, а затем с ужимками и гримасами выскочил за дверь и повернул ключ. Санитар вскочил на ноги, но было уже поздно, дверь оказалась запертой с другой стороны.

Улица. День. Безлюдно, только голуби прогуливались по площади. Перед входной дверью стоял открытый пустой гроб, а рядом “чумная карета”, запряженная усталой тощей лошадейкой. Из переулка вынырнул Ренфильд и своей странной подпрыгивающей походкой пересек улицу, исчез в подворотне.

Дом Харкера. Люси стояла у окна и смотрела на улицу. Сидящий в кресле Джонатан продолжал бредить о гробах, которые нужно остановить. Внимание Люси привлек невысокий человечек в черном фраке и большом цилиндре на голове. Он стучал в дверь дома, прислушивался. Стучал еще раз, и если никто не отвечал, человечек рисовал на двери мелом большой белый крест. Это значило, что обитатели дома умерли от чумы. Дальше повторялось то же самое. Но в одном из домов человечка поджидал сюрприз. Он собирался было нарисовать крест, но дверь распахнулась, и больная женщина с испугом выглянула наружу, а потом быстро захлопнула дверь. На этом доме не будет креста. Человечек продолжил свой путь, стучась в каждую дверь.





Люси отошла от окна и устроилась в кресле неподалеку от Джонатана, держа в руках книгу о вампирах, которую нашла в сумке мужа. "Носферату, бессмертный. Он пьет кровь своих жертв, превращая их в ночные привидения. Носферату, это тень, и потому он не имеет зеркального отражения. Когда ночью Носферату отправляется на промысел, то без усилий проникает сквозь стены и двери, превращаясь то в летучую мышь, то в черного волка. У его жертв нет надежды на спасение". Люси отложила книгу, заметив, что Джонатан вслушивается в каждое слово, а в одном месте даже засмеялся. "Нужно побороть его отчуждение", – подумала Люси. Перелистывая книгу, она искала наблюдения за Джонатаном. "Носферату повелевает такими существами, как крысы, летучие мыши, волки. Его жилищем служат гробы, заполненные землей с "чумных" кладбищ. Хотя вампиры – существа потустороннего мира, они подчиняются некоторым законам природы. Их отпугивает крест и уничтожают лучи солнца. Если женщина с чистым сердцем сможет удержать возле себя Носферату до первых петухов, тогда свет дня убьет его".

Городская площадь. Вечер. Люси вышла на площадь, окруженную прекрасными домами. С одной стороны площади – готический собор, напротив – монументальное здание ратуши. Показалась длинная похоронная процессия. Гробы несли мужчины в черных фраках и цилиндрах.

– Здесь чума. Уходите поскорее, – крикнул человек из процессии.

– Но мне нужно в ратушу...

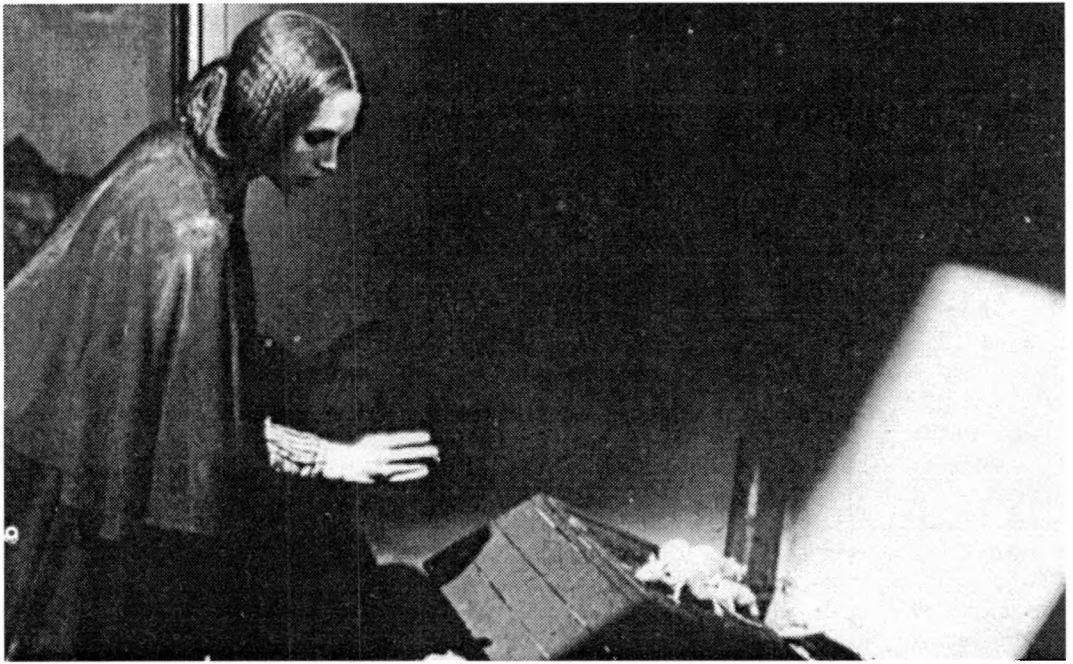
– Там никого нет.

– А бургомистр?

– Он уже давно умер.

– Я знаю причину всех этих несчастий, – настаивала Люси. Но никто не хотел ее слушать, похоронная процессия уходила все дальше и дальше. Так что Люси была вынуждена повернуть назад.

Дуг вблизи Висмара. В свете луны хорошо различимы фигуры Носферату и Ренфильда. Неподалеку от них паслась корова. Она подняла голову и безмолвно



взирала на двух о чем-то шепчущихся призраков.

– Я жду Ваших приказаний, повелитель, – подобострастно осклабился Ренфильд.

– Отправляйтесь на север, в Ригу, – коротко бросил Носферату.

Ренфильд поклонился Носферату и тотчас отправился в путь.

Носферату повернулся к корове, сделал неуловимый пасс, и на корову напало бешенство. Она повалилась на землю, содрогаясь в конвульсиях. Вампир растворился во тьме. На небе неподалеку от диска луны показалась тень летучей мыши.

Дом Харкера. День. Люси беседовала в углу комнаты с Ван Хельзингом. Хотя она говорила очень важные вещи, но почти не повышала голоса, боясь, что ее может подслушать Джонатан, спавший неподалеку в своем кресле. Портьера на окне была задернута, чтобы солнечный свет не мешал ему дремать. Ван Хельзинг хлопнул по книге "Вампиры", иронически заметив, что это всего лишь бредни фантазеров. Тогда Люси предложила ему прочитать днев-

ник Джонатана, который видел все собственными глазами. В городе каждый день люди умирают от чумы, кругом полно крыс. Об этом как раз и написано в книге.

– Жить в просвещенные времена и мириться с такими предрассудками! – не унимался Ван Хельзинг.

– Нет, я видела вампира собственными глазами. Вы должны помочь мне уничтожить его и прежде всего найти его пристанище. Все гробы прибыли на корабле, пришедшем с Черного моря. Поиски нужно начинать сегодня ночью.

– Вы нуждаетесь в покое и отдыхе, – только и ответил на тираду Люси доктор.

– Мы не можем терять ни минуты, – настаивала Люси. Ван Хельзинг примирительно обнял Люси за плечи.

– Хороший крестьянин знает, что всему свое время. Ему в голову никогда не придет мысль вырыть зерно пшеницы, чтобы посмотреть, насколько оно подросло. Это могут сделать дети, которые играют в крестьян.

Люси поняла, что не сможет убедить Ван Хельзинга, и умолкла. Однако решимость покончить с вампиром в ней только окрепла.

Доктор покинул комнату. Люси подошла

к проснувшемуся Джонатану. С любовью погладила слипшиеся на лбу волосы, поправила подушку. Джонатан взглянул на нее удивленно. Какие-то воспоминания шевельнулись в его памяти. “Сестра, подайте мое лекарство, – обратился он к жене. – А откуда достопочтимая госпожа знает меня?”

Дом Дракулы. Это была бурная ночь. От порывов ветра хлопали ставни и двери дома, который облюбовал себе вампир. Показалась Люси. Одной рукой она придерживала накидку, которая спасала ее от пронизывающего ветра, другой держала фонарь. Едва Люси переступила порог, как дверь за ней закрылась. Дом вампира представлял собой настоящую руину. Во многих местах не было перекрытий, отсутствовала крыша, так что в зияющие дыры было видно ночное небо. Люси продвигалась вперед, с опаской ступая по полу, по которому сновали крысы. Поднявшись по лестнице, она расстегнула ворот платья и высвободила серебряный крестик. Теперь она чувствовала себя защищенной от происков вампира. В углу показалось что-то длинное и черное, именно то, что искала Люси, – гроб. Она храбро взялась за крышку, отодвинула ее. Внутри была только черная земля. Люси достала из сумки белую облатку, размяла ее и бросила в гроб.

Тородская площадь. Несмотря на раннее утро, там было оживленно. Горели костры. Мужчина в черном фраке поджаривал на вертеле голубя. Другой сидел на парапете моста и сбрасывал в воду деньги. Овечка бродила между плюшевыми диванами, на одном из которых полулежала женщина с пустым взглядом. Пьяный монах держал речь у входа в церковь. Повсюду валялись гробы, деревянные кресты, по бочкам с вином ползали крысы.

Откуда-то полилась чудесная мелодия, и площадь заполнилась поющими и танцующими людьми. Какой-то немолодой мужчиной схватил Люси за руки и потянул в круг. Она попыталась освободиться, но это ей не удалось. Пир во время чумы достиг апогея.

Танцевали все, – включая детей, вдов и монахов. Большой круглый стол был уставлен винами и закусками. Кто-то пировал прямо на гробах. В углу площади скопилось особенно много крыс. Они начали атаковать стол. Изящными жестами пирующие дамы отгоняли со своих тарелок непрошенных гостей. Один из присутствующих объяснил Люси, что все дамы заражены чумой и хотят напоследок повеселиться в свое удовольствие.

Дом Харкера. Спальня. День. Люси лежала в постели, рядом с ней вертелся Джонатан. Портьера приоткрылась, и дневной свет проник в комнату.

Люси дышала глубоко и равномерно, пока громкий стук в дверь не разбудил ее. Она подпрыгнула на постели и, вскочив, бросилась к окну. Полностью раздернула портьеру. Дневной свет залил комнату. Люси взглянула на мужа. За эту ночь его состояние явно ухудшилось. На шее выделялись две свежих отметины.

Люси набросила халат и открыла дверь. На пороге стояла служанка Шредеров. “Госпожа Харкер, Вы должны как можно скорее быть у Шредеров. Там произошло что-то ужасное”, – в волнении произнесла она.

Дом Шредера. Там было полно народу. Полицейские составляли протокол. Два санитары психиатрической клиники пытались надеть рубашку на рослого мужчину. Тот сопротивлялся, но им удалось повалить его на пол. Когда мужчина повернулся, Люси узнала своего шурина Шредера. Она опустила глаза и увидела мертвую Мину. Бледная как мел, с кровавыми отметинами на шее, она лежала неподалеку от мужа. “Как может Бог так безучастно взирать на происходящее”, – подумала Люси. К ней подошел Ван Хельзинг.

– Сегодня утром господин Шредер обнаружил мертвую Мину. Он потерял сознание, а потом так возбудился, что пришлось надеть на него смирительную рубашку.

– А Мина? – спросила Люси, хотя ей и без того все было ясно.

– Причины будут определены анатомическим путем, но и сейчас ясно, что чуму следует исключить. Кстати, эпидемия пошла дальше на восток и уже достигла Риги.

– Достаточно! Я сыта Вашей наукой и знаю, что делать.

Комната Харкера. Люси стояла перед зеркалом, придирчиво рассматривая себя. Одета она была празднично, словно для бала. Люси села в кресло, взяла книгу о вампирах и еще раз внимательно перечитала одно место. “Если женщина с чистым сердцем сможет удержать возле себя Носферату до первых петухов, тогда свет дня убьет его”. Люси закрыла книгу. Ее решение покончить с вампиром созрело окончательно. Часы в доме пробили семь раз. Люси сняла с шеи серебряный крестик и спрятала его в ящик стола. Потом подошла к креслу, в котором дремал Джонатан, нежно поцеловала мужа. При взгляде на белую шею Люси на лице Джонатана мелькнуло странное выражение, но Люси не заметила этого, задернула занавеску и тихо покинула комнату.

Дом Харкера. Вечер. Тихо. Только в черном проеме окна мелькнуло что-то. Летучая мышь? Люси стояла у окна и не таясь смотрела на улицу. Ее комната имела праздничный вид. В вазонах стояли белые розы. Пол и постель были усыпаны розовыми лепестками. Горели свечи. Что-то торжественное ощущалось во всей атмосфере. Люси подготовилась к встрече с вампиром. Она была прекрасна, как никогда.

Вспомнив о чем-то, Люси вернулась в комнату Джонатана. Тот спал в своем кресле. Люси достала из сумки облатку, размяла ее и сделала из крошек защитный круг вокруг кресла мужа. “Бог должен защитить его. Он останется неприкосновенным”, – подумала она.

Дом Харкера. Два окна в спальне были освещены, в них без труда можно



было разглядеть Люси, застывшую в ожидании. Часы на башне пробили двенадцать.

Дом Дракулы. Никакого движения. Но вот в окне появился Носферату и медленно поднял к небу свое мертвенно-бледное, печальное лицо, перевел взгляд на дом Люси, нашел ее окно. Постояв в раздумье, вампир направился к выходу. Кажется, его уши стали еще больше, а пальцы длиннее. Он двигался бесшумно, словно тень. И все живое замерло в ужасе. Вампир приближался к своей жертве.

Дом Харкера. Спальня. Люси в шелковой рубашке лежала на постели, усыпанной лепестками белых роз. Носферату приблизился к ней, подняв руки высоко над головой. Завидев его, Люси вскрикнула от ужаса и закрыла лицо руками. Вампир отступил от постели, что-то невыразимо печальное мелькнуло в его лице. Он тяжело вздохнул. Люси убрала руки. Во всем ее облике, выражении глаз и лица появилось



что-то соблазнительно-манящее. Вампир заметил перемену и снова склонился над Люси. Поднял ее рубашку выше бедер, начал ощупывать руками ее тело, поднимаясь все выше, и вот он вонзил свои острые зубы в шею Люси и начал сосать кровь. Люси обняла вампира, крепко прижала к себе. Пламя начало дрожать, осветив притаившуюся в углу комнаты черную летучую мышь.

Видения.

Летучая мышь на фоне черного неба машет крыльями. Она похожа на цаплю. Ее клюв исторгает пронзительный крик. Черный корабль, преодолевая шторм, движется от горизонта на юг...

Подземный каньон. Похожий на рака зверь медленно движется в воде...

В темном туннеле черный паук шевелит огромными лапами. По обеим сторонам туннеля – мумии. На некоторых еще сохранились остатки одежды, другие совершенно голые. Кожа мумий пигментирована. Тела многих разрушены временем, но пол распознать совсем не трудно. Среди них немало

детей. Они похожи на хор призраков, которые, однако, не могут издать ни единого звука...

Висмар. Панорама. Раннее утро. Первые лучи солнца позолотили шпиль собора, и дома окрасились в нежный розовый цвет. Тишину нарушил крик ворона. Ему ответил другой.

Дом Харкера. Люси лежала на постели белая, как снег. Носферату все еще был рядом с ней, пил ее кровь. Раздался крик петуха. Почувяв опасность, вампир поднял голову и взглянул на окно. Дома напротив уже были освещены утренним солнцем. Вампир оставил Люси и подошел к окну. И тут на него упал луч солнца. Вампир вздрогнул, по его телу прошла судорога. Дневной свет высветлил всю омерзительность облика Носферату. Он больше ничего не видел, вместо глаз зияли пустые глазни-

цы. Ужасные конвульсии продолжали сотрясать его дряхлое тело, и, наконец, Носферату упал навзничь. Люси попыталась приподняться на постели, но силы изменили ей. Упав на подушки, она умерла. На ее белом, как мел, лице застыла улыбка. На полу рядом с кроватью в страшных судорогах билось тело Носферату.

Теред домом Харкера. День. Со всех сторон к дому стекались люди. Внутри что-то происходило. Люди стояли тихо, как и положено в момент несчастья.

Дом Харкера. День. Спальня. Возле постели стоял Ван Хельзинг и смотрел на мертвую Люси, у его ног лежал Носферату. “О боже, если бы я только послушал ее раньше, – с раскаянием думал он. – Нужен осиновый кол, чтобы окончательно уничтожить этого упыря”.

Тостиная. Джонатан весь превратился в слух. На его лице проступило вполне осмысленное выражение. Мимо прошел Ван Хельзинг с осиновым колом в руках. Вскоре послышались удары молотка. Джонатан реагировал на них так, будто били по его телу. Из его груди рвался звериный крик. Но круг из облачков не позволял ему покинуть комнату. Когда Джонатан открыл рот, обнажились два острых длинных зуба.

С молотком в руках в дверях появился Ван Хельзинг. Он закончил свою мрачную миссию и был весь забрызган кровью. “Его нужно задержать, он убил человека, графа

Дракулу”, – завопил Джонатан.

Несколько полицейских направились к Ван Хельзингу.

– Неужели Вы действительно вбили кол в сердце человека? – осведомился полицейский.

– Да, но я могу объяснить, почему.

– Мы не нуждаемся в объяснениях и арестовываем Вас.

Ван Хельзинг покорился аресту без всякого сопротивления. Зеваки последовали за ним. В доме остались Джонатан, служанка и несколько соседей.

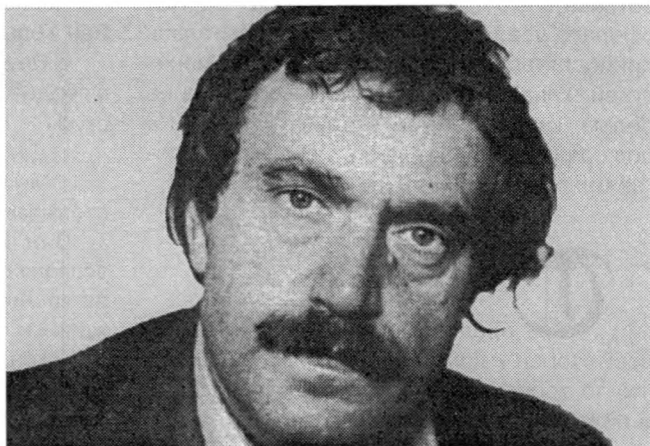
Джонатан попытался последовать за друзьями, но круг из облачков помешал ему. Он повернулся к служанке и приказал сделать уборку, поскольку пыль в комнате мешала ему дышать. Служанка тотчас взяла метлу и принялась за работу. Как только она смела круг из облачков, Джонатан устремился вперед. С его лицом происходили непонятные изменения, оно стало похожим на застывшую маску, голос потерял мелодичность. “Опечатайте спальню для обыска полиции и оседлайте лошадь. У меня появилось слишком много дел, чтобы я мог спокойно сидеть в этой комнате”, – вскричал он.

Морское побережье. День. Атмосфера была наэлектризована приближающейся грозой. Слышались раскаты грома. В небе полыхали зарницы. Облака проносились низко над землей. Появился всадник на черном коне. Он мчался галопом, пришпоривая лошадь. На лице – восторг и упование быстрой ездой. Мгновение – и всадник исчез за горизонтом. На экране – только облака, вальсирующие на фоне темного грозового неба.

Перевод с немецкого Г. Красновой.



Василий Аксенов



Посвящается
Б. Мессереру

СЕН-САНС

Махровой весной 1992 года капиталистического перелома художник Орлович заскочил к себе в Китай-город переодеться перед премьерой в Театре Ланком, то есть сменить свой полупиджак с потными полукружиями, растущими из подмышек, на другой вариант с полукружиями, что уже успели подсохнуть, оставив лишь соляные контуры.

Под окном, на крышах каменных трущоб, разросся немалый сад, в котором промышляли наглые коты полузаселенного квартала и беззаветно, будто не чуя постоянной опасности, упражнялась на все голоса супер-саги “Зангези” кошачья дичь, полу-соловьи, полу-пересмешники. Автор тут спотыкается о все эти рассыпанные половинки, но потом, сообразив, что на дворе как раз дрожит марево странной эпохи полу-социализма, полу-капитализма, следует дальше в своем полу-документальном повествовании.

В мастерской Орловича поджидал старый друг, богач Абулфазл Фазал, известный всей Москве под уменьшительным именем Фаза. “Почему ты решил, что я приду?” – удивился Орлович. Только человек с сильно выраженным восточным мистическим чувством мог просто так сидеть под чучелом совы и ждать, что хозяин мастерской вот-вот явится. Абулфазл Фазал маленькими пальчиками извлек крытую драгоценным сафьяном, пухлую, как справочник Авиценны, записную книжку и показал ее Орловичу: “Видишь, здесь тысяча сто моих друзей и тысяча сто моих блядей, и только к тебе я пришел в мой роковой час”.

“Какой еще роковой час? – спросил Орлович. – Какой еще у тебя может быть “роковой час?” Он, разумеется, никогда не думал, что у богатых людей могут быть какие-то “роковые часы”.

Абулфазл поднялся во весь свой крошечный рост – пропорционально сложенный и даже красивый восточный человек, только лишь уменьшенный до миниатюра, – и нервно

заюлил в пространстве между литографической машиной и макетами театральных декораций. Он то и дело скрывался в дебрях мастерской, как будто уходил под воду, и что-то бормотал, временами что-то выкрикивая. Орловичу могло показаться, что он причитает на родном фарси, если бы он не знал, что Фаза не говорит ни на одном языке, кроме русского, да еще того полу-воровского жаргона, что именуется the International Commercial English. Вдруг гость прорезался в проеме антресольной лестницы. Стоял драматически, положив руку на гриву раскрашенной деревянной лошадки, ни дать ни взять персону мексиканской революции. “Я хочу, чтобы мы сегодня были с тобой вместе, Модик! Помнишь, как когда-то?”

Еще бы не помнить! В годы “застоя”, или, как Модест Великанович иногда выражался, “в годы сухостоя”, Фаза был, можно сказать единственной артерией, связывающей этот пещерного вида чердак со щедрым Западом. Всегда являлся с ящиками баночного пива, с вермутами и джинами, и сам, как джинн, волокущий за собой пару-тройку первоклассных девиц вместе с мерцающим шлейфом кругого дебоша.

“Не покидай меня сегодня, Модя, если есть у тебя еще ко мне чувство дружбы и душа великого художника!”

“Фаза, дорогой, да ведь премьера сегодня в Ланкоме! Не могу не пойти, там мой ученик, Юджин Пендергаст, оформлял декорации!”

“И я с тобой пойду! – как бы обрадовавшись, воскликнул советский перс. – А потом и дальше двинемся, и кого хочешь возьмем с собой из Ланкома! Только ты меня не покидай, мой лучший друг!”

Отказаться было невозможно. Вопреки гуляющим по Москве сплетням, Орлович считал Фазу “отличным парнем”. Легче всего, господа, объявить необычную персону агентом КГБ, а вот вы бы лучше попытались взглянуть на него глазами художника! Этот затянутый в кожу миниатюрный демон на белом фоне или в полосах зеленоватого цвета являет собой пятно хроматической трагедии. Ему жена, проживающая в Лондоне, на Гросвенор Сквер, не позволяет свиданий с дочерью на нейтральной почве, а в Англию он не может приехать, поскольку несправедливо занесен в компьютер Скотланд-Ярда.

Они вышли вместе на Никольскую. Немедленно приблизился экипаж Фазы, “мерседес-600” с мастером-раллистом за рулем в сопровождении большого джипа “Исузу Труппер”, где размещалась охрана, трое бывших сотрудников спецгруппы “Альфа”. Самая надежная в городе служба, хотя и не стопроцентно надежная, если судить по результатам прошлогоднего путча ЦК КПСС. Поехали. Бедный народ прижимался к стенам, как будто от крика “Пади!” и свиста кнута. Фаза, как мальчик, сидел среди мерседесовской кожи. Лицо свое держал в ладонях. Глаза шевелились.

Родители этого могущественного богача принадлежали в старые годы к коммунистической партии ТУДЭ, которая старательно трудилась для осуществления в Иране марксистско-ленинской революции. Увы, реакционные круги тоже трудились над обратным вариантом и, как выяснилось, трудились более старательно.

Во всех этих делах, вместо извечного французского *cherchez la femme*, ищи другую первооснову – керосин. Как только народная партия Ирана, выражая чаяния простых иранцев, национализировала нефть, реакция зашевелилась, да еще с такой силой, что свергла большого друга СССР господина Моссадика и принялась потрошить ячейки ТУДЭ. Те же самые простые иранцы, что вчера еще размахивали красными флагами, теперь подкладывали активистов ТУДЭ под катки асфальтоукладчиков.

Нет никаких свидетельств того, что именно такая участь постигла отца Абулфазла, однако сын, особенно в подпитии, видел именно эту картину: папашу-старика расплющивает каток вместе со всеми его железами и потрохами, делает из него просто шкуру

наподобие твоего медведя, Модик, на котором сейчас сидим, или даже тоньше, много тоньше. И заливался рыданиями.

О матери же своей Абулфазл Фазал вообще предпочитал не упоминать, хотя она тоже не вернулась из той мозаико-пехлевистской переделки. Словом, что там говорить, взрослая сволочь мира во всех своих оттенках творит мерзости, а расплачиваться приходится детям. В семилетнем возрасте Фаза попал в сиротский дом Коминформа в глубинном российском Иваново, где научился в лучшем виде выгребать оловянной ложкой оловянную миску. Там он и повзрослел. Для переноса смысла мы можем перенести союз "и" в другое место, и тогда, пользуясь гибкостью русского языка, получим нечто не очень-то вдохновляющее: "Там и он повзрослел" – то есть и он к взрослой сволочи приобщился.

Впрочем, достоверно известно только то, что он окончил в Иваново среднюю школу. Дальнейшие его университеты прикрыты туманами холодной войны. Иногда, по пьяни, выплывало, что он вроде бы получил степень бакалавра в старом Оксфорде, в другой раз смутно упоминалось какое-то училище в Рязани, где овладел наукой выбивать зубы и пользоваться психотропными пилюлями. Одно другому, впрочем, не мешает, а иногда и помогает, и уж во всяком случае ни то, ни другое не препятствует накоплению огромного капитала в твердой валюте.

Московские друзья и подруги привыкли к тому, что Фаза иной раз пропадает на несколько месяцев, "линяет с концами", как будто его никогда и не было, а потом снова возникает, сначала в виде слухов из Нью-Йорка, скажем, или с острова Мальты, или из Каира, а то и с кинофестиваля в Каннах, или из кулуаров совещания стран ОПЕК, а потом и сам материализуется на богемных чердаках и в кабаках Москвы, окруженный сомнительными "шестерками" и безупречными девицами.

"Вы все меня считаете агентом вашего мудацкого КГБ, старики, – говорил он, – а между тем я просто бизнесмен, сторонник системы свободного предпринимательства. Все дело в том, концы моржовые, что у меня есть иранский паспорт, а он, при всей своей говенности, дает возможность выезда из дикой страны моего детства и открытия в разных странах торгового бизнеса".

На чердаках и в кабаках покатывались со смеху. Щеки у присутствующих сводило от подмигивания. "А чем же ты торгуешь, Фаза?"

"Съестными припасами, – гордо заявлял иранский подданный и добавлял: – А также фертилизаторами".

"Ну, то есть говном, – пояснял тут же какой-нибудь остряк. – Наш Фаза людей кормит, а потом продает фекалии". После таких слов Абулфазл немедленно бросал в остряка через стол бутылку и нередко попадал. От дома, впрочем, ему никогда не отказывали. Богемщикам нравилось представлять его иностранным журналистам со словами: "А это господин Фазал, наш простой советский капиталист".

Вдруг однажды "каналы" (так в Москве тех лет называли иностранных коров, имея в виду "каналы" легальной и нелегальной информации) заволновались по поводу Фазы. "Давно ли вам встречался господин Фазал? А что вы о нем думаете? Не волнуйтесь, все, что вы скажете, будет офф-рекорд". Оказалось, что господин Фазал арестован в Мюнхене контрразведкой ФРГ и что Америка требует его выдачи как нарушителя закона о запрете торговли стратегическими товарами. Советское правительство, разумеется, занимает позу оскорбленного достоинства. Иран заявляет, что ублюдок Фазал является слугой Сатаны и к своей праведной родине не имеет никакого отношения. Потом все затихает, как будто и не было в мироздании такого персонажа, как Абулфазл Фазал.

Через три месяца он появляется, неся на ланитах покров байронической бледности. "Я много пережил за это время, – говорит он друзьям и подругам из сафьяновой книжки. –

Тамара оказалась мне неверна. Манхеттен засосал ее в свою развратную тряси́ну. Больше на Манхеттен я не ездук!" На все вопросы о заграничной тюрьме Фаза отвечает лишь небрежным отмахиванием: "Что за лажа? Не верьте дурацким сплетням!" Вялый, посторонний, хмурый, растерзанный любовной драмой, сидит на своей трехэтажной даче под Москвой, никого не приглашает, но и не прогоняет, если приезжают без приглашения.

Наконец, начинается "горбовизм", открываются головокружительные возможности в мире международной торговли съестными припасами и фертилизаторами. Абулфазл, к тому времени оправившийся от воспоминаний то ли о "трясине Манхеттена", то ли о германском узилище, оказывается со своим капиталом – по слухам, не менее 300 зеленых лимонов свободных денег – в центре новых инициатив. День-деньской он курсирует между цэковским кварталом на Старой площади и молодежным филиалом, что наискосок через бульвар, за памятником "Гренадерам Плевны". По коммерческой энергии молодые ленинцы перекрывали тогда даже опытных товарищей из штаба партии. Даешь КомСоМол – Коммерческий Союз Молодежи!

Фаза заседал в советах попечителей новых корпораций, акционерных обществ и фондов, циркулировал по странам, не отказавшим ему в праве въезда, создавал филиалы и "дочерние группы" под "амбреллой" его собственного посреднического финансового узла, название которого вдруг всем стало известно: "Euro-Asian Fellowship". В Москве тем временем он тоже распространялся в новых предприятиях: то валютный бар, то валютный продмаг, то общедоступный спортцентр (наиболее подозрительное заведение из всех), то дискотека, то кинокомбинат вкуче с фабрикой сувениров – повсюду выявлялось присутствие вездесущего Фаза.

Друзья нередко могли его застать и в президентском кабинете, стометровой комнате над крышами Москвы. Подобно ранним символистам, смотрели на угасание заката, играли на пианино что-нибудь ностальгическое, вроде "Московских окон негасимый свет". Фаза грустил. Он был убежден, что ни одна женщина не полюбит его всерьез из-за его миниатюрных размеров.

Однажды Модест Орлович застал его в вестибюле фирмы за необычным занятием. Господин президент лично распорядился погрузкой в фургон большого количества каких-то увесистых ящиков. "Что там такое?" – поинтересовался художник. Рубли, был ответ. Даже легкомысленный художник не мог не удивиться: "Как, во всех этих ящиках – наши, советские рубли?" "Вот именно, – сохраняя свою постоянную серьезность, кивнул перс. – Причем в крупных купюрах". Даже легкомысленный художник не мог не поинтересоваться: "А куда же их везут?" Фаза полоснул его взглядом леопарда, но потом с серьезностью рассмеялся: "Модик, ты же знаешь, что на некоторые вопросы нет ответов". Художник не мог не рассмеяться в ответ: "А почему бы тебе не подарить старому другу хоть один ящичек?" Фаза еще раз серьезно на него посмотрел, а потом сказал: "Да бери любой". Тут же один из евразийских молодцов погрузил ящик рублей в багажник модестовской "лады". "Потрать быстрее", – посоветовал друг.

Потратить рубли в последние месяцы коммунизма было задачей не из легких, потому что на них уже почти ничего не продавалось, однако и тут Фаза пришел другу на помощь советом: "Изыъви желание потратить в десять раз больше цены, и сразу найдешь немало превосходных товаров".

Вот таков был маленький Абулфазл Фазал. На его долю в жизни выпало стать оператором денег, и он с этой долей неплохо справлялся. Иные скажут: что еще надо человеку – и проявят таким образом поверхностный взгляд на жизнь вообще и на жизнь Абулфазла Фазала в частности. Слов нет, деньги много дают человеку, но когда ими постоянно обладаешь, начинаешь воспринимать их как воздух и вдыхаешь не задумываясь, то есть не всегда проникаясь счастьем.

"Счастье, может быть, в основном исходит от женщин," – так иной раз думал Фазал и начинал грустить. Грустная проблема женщин, как ни странно, была у него связана с изобилием денег. Всех своих красавиц он подозревал, что они ложатся с ним в постель из-за денег, а не из симпатии.

Как и подобает падишаху, он был исключительно щедр с женщинами. В ответ и они были щедры и охотно отвечали на все запросы. "Еще бы им не отвечать на мои запросы, когда я им так много даю всего материального", – говорил он друзьям. Он как бы даже не допускал мысли, что какая-нибудь женщина может увлечься таким маленьким мужчиной без материальной щедрости. Друзья его утешали: в постели разница в росте значительно сглаживается. "Да-да, – он кивал, – я и сам нередко замечал этот феномен, тем более что моя штука их вполне устраивает". Свой фаллос он нередко называл "штукой", а если учесть, что в московском денежном жаргоне слово "рубль" все чаще вытеснялось "штукой", иначе говоря "тысячей", то тут опять возникала какая-то двусмысленность. В общем, он всегда мрачнел, когда речь заходила о женщинах. "Как они могут быть, эти бляди, со мной искренними, если я им и шубы покупаю, и телевизоры японские, даже автомобили, а в некоторых случаях и кооперативные квартиры?" "Ну, хорошо, Фаза, – говорили ему друзья, – завязывай со своей щедростью, вот и проверишь, кто к тебе хорошо относится". "Это невозможно, – отвечал он. – Я не могу быть жадным с женщинами, с этими суками, которые на Манхэттене впадают в форменное свинство, а иногда даже отказываются прилететь в Швейцарию с моими собственными детьми".

Таков в общих чертах был этот Абулфазл Фазал, чьи деньги сильно перевешивали его хрупкую фигурку, хотя слегка и уравновешивались трагическим иранским лицом с буреветниками бровей.

В Театр Ланком в тот вечер съехалась "вся Москва", вернее, то, что от нее в тот вечер осталось, учитывая "четвертую волну" эмиграции и крушение "железного занавеса". Этот театр еще недавно назывался "Ленком", однако публика в духе времени вроде бы даже не заметила изменения первой гласной, тем более, что вместо красной портяночки здесь и впрямь стало пахнуть французской парфюмерией.

Давали в тот вечер пьесу под сходным названием "Экскюзе-муа", которое, как и имя театра, давало возможность разных толкований. Действие происходило в морге. Где же еще может происходить действие пьесы 90-х годов? "Цветы зла", как выразился тогда ведущий филолог постсовковизма, пышно расцветали даже на письменных столах профессиональных апологетов добра.

Дело не в пьесе, совсем не в ней. Многие театры начинаются с вешалки, то есть с раздевания в гардеробе, "Ланком" же всегда начинался с перерыва, с прогулки по паркетным фойе. Абулфазл всегда оживлялся в перерывах пьес, вот и сейчас он немедленно задействовал свою перерывную активность и вручил свои визитные карточки двум театралкам, у которых ноги начинались на уровне его подбородка. Девушки сразу поняли, с кем имеют дело, и вспыхнули неподдельным девичьим чувством, ибо не было в Москве ни одной длинноногой девушки, которая не слышала бы о загадочном персидском набобе.

Здесь мы не можем не позволить себе короткого лирического отступления по адресу новых девиц. Откуда они явились на российскую землю в эти смутные времена? Ведь прежде нашу гордую страну можно было назвать чем угодно, но только не питомником высоченных манекенщиц. Красавицы России никогда не отличались чужеродной долговязостью, как вдруг подрос урожай семидесятых, этих жирафчиков с кукольными личиками, постоянно пребывающих в состоянии несколько глуповатой задумчивости.

По мере того как Перестройка становилась все более необратимой, их полку прибывало. Некоторые из них позировали на танках во время Августовской революции, предотвращая

шая своим присутствием газовую атаку коммунистического спецназа. Есть что-то таинственное в их наружности, тем более, что мужская половина этого поколения не может похвастаться никакими особыми качествами, кроме искусственно выпяченных подбородков. Кто они, эти тонкие и длинные дочки России, что появились так вовремя на высшей точке декаданса, если у этого понятия может быть такая вещь, как высшая точка? Может быть, это своеобразные мутанты, возникшие под влиянием каких-то еще неизученных радиаций? Во всяком случае, они теперь заметны повсюду, в том числе и в Театре Ланком во время его знаменитых перерывов.

Кроме девиц присутствовали здесь также и многие представители новой администрации, то есть представители старой администрации, поменявшиеся друг с другом местами, то есть слагаемыми суммы. Были и лица, сильно взметнувшиеся к вершинам из художочия прежней командно-административной системы. Так, например, в толпе солидно прогуливался подполковник Зубцов, знакомый Фазы еще по рязанской школе высших наук. Еще недавно этот Володька Зубцов за 320 "рз" мудачил в Пятом управлении комитета, а теперь вот заседает в новой рыночной структуре "Рострум-трат", торгует "дизелькой" и тем, что на этой "дизельке" быстро ходит по небу, то есть реактивными перехватчиками. В комитетские времена этот хмырь Зубцов навтыжку тянулся перед каким-нибудь генералом идеологического сыска Бобцовым, а теперь этот сумеречный генерал у него на подхвате, консультантом, то есть просто чтобы не сдох в период отвязанной инфляции.

Зубцов, похоже, хотел ограничиться солидным, едва ли не вельможным кивком в адрес Фазала, однако тот сразу напомнил ему о субординации, пригласив приблизиться легким спуском правого века и еле заметным сгибательным движением ладони. Зубцов тут же сообразил, что неправильно себя повел. За годы работы в своем сраном комитете он усек, что в мышечной системе человека недаром имеется в два раза больше сгибателей, чем разгибателей. И немедленно подскочил на цирлах.

Такова была постоянная тактика Фазы на подобных московских тусовках. Будучи крошкой и всегда опасаясь, как бы не затерли бокастые и жопастые мужланы полупреступных сфер, он разработал немало способов создания вокруг себя определенного пространства, в котором доминировал. Так и сейчас, на десятой минуте ланкомовского перерыва вокруг него оформился кружок отечественных и иностранных проходимцев, изъяснявшихся на International Commercial English и обращавшихся к нему за уточнениями. Разговор вылеплялся примерно вот в таком стиле: "А ты его на хер пошли выз сач пропозышнз! Уот эбаут Ебург прайм рэйтр, Дык? Вова, белив ми, там на тебя наедут! Каман, Марчело, уи эр ол хьюман бынгс..."

Разговаривая в таком стиле, Фазал высматривал, куда пропал друг, "альбатрос богемы" Модест Орлович, и, найдя его наконец в окружении "своих", то есть актеров, писателей и художников, бросил денежную шпану и немедленно к ним устремился, к своим. При всех своих финансовых, торговых и еще неизвестно каких мероприятиях он все-таки считал себя человеком московской богемы. "Олег, Сашка, Ниночка, Ляля, Витюха, эй, после спектакля не разбегаемся, о'кей, дальше двинем, лады?"

В этот как раз момент из глубины фойе ухмыльнулось ему толстогубое и неумолимое наваждение, что месяц назад вдруг вынырнуло, то ли из подполья, то ли из подсознания, в Долине Бекаа. Уже тогда он понял, что как бы мимолетно оно ни пролетело, от него не уйти, что адресовано оно лично ему, маленькому воспитаннику Ивановского спецдетдома, что никакие дяди теперь уже его не защитят.

Гремел третий звонок. Публика, начисто забыв первое отделение пьесы "Экскьюзе-муа", перлась на второе, а Фаза, потеряв эквилибриум – вот именно, эквилибриум! –

нелепо разъехался на навощенном паркете. Руками хватался за гладкую поверхность, а руки скользили, как будто и ладони превратились в итальянские полированные подошвы. "Что меня тогда туда понесло, прямо в пасть? Вечно я ищу на свою маленькую жопу больших приключений". Он бормотал чепуху, как будто речь шла просто о просчете, о неправильной стратегии, то есть о вещах, хотя и ужасных, но поправимых, бормотал, бормотанием отгоняя подспудную уверенность в неотвратимости гнуснейшего, грязнейшего наваждения, уверенность в том, что и вне Бекаа Вэлли оно бы появилось перед ним как завершение какой-то тысячеходовой бессмысленной манипуляции.

Еще утром, когда его команда заправлялась бензином без очереди на станции "Ажип", толстогубая ухмылка мелькнула перед ним за крышами десятков машин и мгновенно растаяла, оставив его со сбившимся дыханием и затрепетавшим пульсом и с твердым ощущением того, что вот теперь-то на него окончательно "наехали".

Весь день, пока ездили по идиотским многомиллионным делам, он рыскал взглядом во всех направлениях, подавлял трепетание порциями коньяку, но ничего больше не замечал. Глава охраны, Кеша Тригубский, человек с железной башкой гонщика и скалолаза, и тот заволновался: "Где-то непорядок, шеф?" Фазал прикрыл ладошкой маленький шарикоподшипник уха, принадлежащего шварценнегеровидному человеку: "Кеша, на меня наезжают!"

"Кто? – выстрелил вопросительной ракетой Тригубский. – Только скажи, сейчас же поедем, разберемся по-хорошему. Башку в пакете привезем, если прикажешь".

Эх, Кеша-Кеша, рыцарь охраны, как я могу ответить на твой вопрос? Кто может на него ответить? Москва, которая столько уж лет была у Фазы за пазухой, теперь стала выпирать дикообразными иглами. Да ведь не ехать же к тем, первичным дядечкам, за протекцией! Да ведь их, наверное, на прежних-то местах и не осталось, рассосались все по коммерческим структурам. Да и вообще чего от них ждать!

К концу дня измученный Фаза решил отправиться к "своим", то есть к теплому корешу, "альбатросу богемы", Модуку Орловичу. Модька ведь и сам к нему иной раз притаскивался потрепетать о своих собственных "глюках". Толстомясая ухмылка может быть забыта, если раскрутить, как в прежние времена, хороший артистический дебош. И впрямь, мастерская в Китай-городе, потный хлопотливый Модест, театр, антракт, новые девушки, все это вроде бы укрепило вегетативку, как вдруг в самый неожиданный момент о н о снова ухмыльнулось ему, и вновь вокруг и внутри стал раскручиваться серпантин Долины Бекаа, населенной убийцами сверх всякой меры. Интродукция и Рондо-Каприччиозо, почему-то пробормотал он, пытаясь на всех своих скользящих добраться до угла опустевшего теперь фойе.

Художник Орлович, во время антракта в болтовне конечно забывший отлить, теперь спешил из туалета в зрительный зал и на ходу задегивал главный подъезд своих длинных штанов. Вдруг увидел в углу скорчившегося Фазу, своего лучшего друга, о котором, надо признаться, никогда не думал, пока тот сам не появлялся. При его появлении Орлович, надо сказать, всегда испытывал смутные угрызения совести. Вот, я о нем не думаю, а он хочет со мной общаться. А ведь он мне, между прочим, ящик денег подарил, которых мы даже не пересчитали.

Хотел было проскакать в рассеянности, как бы в борьбе с шириной, мимо друга, однако косячком заметил его глаза лошадиные. Замер на бегу и увидел: "за капличей каплича по морде катятся, прячутся в шерсти"... Разными приемами представляя читателю международного дельца, гражданина Исламской республики Иран и постоянного резидента Российской Федерации Абулфазла Фазала, мы все-таки до сих пор еще не упомянули его плотную бородку, обтягивающую нижнюю часть лица, как своеобразное трико.

Поэт, говоря о том, что у упавшей лошади “каплищи” прячутся в шерсти, не знаем, что имел в виду. Может быть, гриву? Но тогда переворачивается вся картина упавшей лошади. Мы же, употребляя здесь широко известную цитату, не допускаем никакой поэтической вольности. Слезы просто стекали из глаз Фаза и прятались в его бороде.

“Модик, умоляю, пойдем отсюда! В этом театре что-то такое есть... нетипичное... Давай сваливать!”

Дружба часто измеряется рубахой. “Последнюю рубаху другу отдаст”, ну и так далее. Орлович тоже тут прибегнул к рубашечным критериям. Выпростал подол из штанов и вытер оным другу измученное влагой лицо.

Началась типичная для этого круга людей московская ночь, из тех, что иногда весь этот сброд называл “Сдвиг по Фазе”. Поехали куда-то на мерседесе в сопровождении уже не одного, а двух полу-военных автомобилей. Фаза глотал коньяк из выдвигного бара, да и Модест не отставал. По сафьяновой книге султан звонил своим пэри в разные концы Москвы, в пригороды, в Санкт-Петербург, иногда и за границу, в частности, по лозаннскому телефону некоей Розали, которой говорил: “Дарлинг... эбзи... заткнись, бляди кусок, я знаю все!”

Иногда караван останавливался возле какого-нибудь подъезда и оттуда выпархивала, дыша духами “Мистик”, то есть почти впрямую “духами и туманами”, нимфа сексуальной Москвы. Приникала к измученной щеке покровителя, шептала: “Милый... Фазочка... что с тобой... ну, ничего-ничего, мы вместе...” Таких заездов Модест насчитал пять или семь. Пришлось потеснить и охрану в их вездеходах.

Чтобы не рассусоливать эту сладкую жизнь вдоль бывшей Горькой улицы (мы ведь не раз тут уже рассусоливали, тут и репутацию навек погубили), перечислим лишь кратко те места, по которым прошла наша ночная экспедиция. Ну, разумеется, “Метрополь”, где в Морозовском зале устаканивали фонтаны шампанского “Дон Периньон” под блины с кавиарами. Ну, джаз-клуб “Таверна Аркадия”, где друзья молодости Алекс Козлоу и Герман Лукиан, похожие на профессоров средне-атлантических колледжей, вместе со своей ритм-группой, похожей на студентов тех же колледжей, приветствовали компанию ностальгической бравурой Now's The Time. Ну, и наконец, наиболее, так сказать, скандально известный притон Moscow Flights, что можно перевести, хоть и неточно, но близко к сути, как “Московские Атасы”.

Когда Тригубскому назвали последнее направление, он нахмурился. “Это серьезно, шеф, – предупредил он. – “Атасы” в четыре утра и с нашим контингентом – это очень и очень серьезно, дорогой шеф!”

Сваливать надо, с порядочным уже унынием думал художник Орлович. Любовью он был в своей жизни более чем сыт, даже и пить – вот такая чепуха – больше в эту ночь не хотелось. Даже уже и верные пэри начинали очаровательно позевывать, а те, что поближе, шептали в маленькие ушки: “В постельку, Фазик, в Барвиху, котик?” Абулфазл, однако, был неутомим и неумолим. Этот цикл должен быть завершен, как в лучшие времена, решил он и твердой рукой направил экспедицию к известному дому в окрестностях Пушки, над которым когда-то парила каменная дева социализма, а теперь сияет тавро рынка недвижимости, Малка, еврейская царица.

По телефону из машины были уже заказаны столы. Отказать Фазе, конечно, нигде не могли, однако с некоторой истерической надеждой попросили: “Может, перенесем на завтра? У нас тут сейчас беспокойно, друг!” “Вот и хорошо, что беспокойно! – взвизгнул в ответ Фаза. – Мы покоя не ищем!” Он ткнул Тригубского в железную спину: “Скажи ребятам, чтоб были наготове!” Почему-то он был уверен, что в этой дискотеке, в этом почти неза-

маскированном борделе, где телок снимают по три сотни баксов за штуку, вот именно в этих "Атасах" и произойдет решительное столкновение с глумливой толстогубой улыбкой из Долины Бекаа. Прятаться не буду, думал он, от вас не спрячешься.

"А ты бы меня сбросил, Фаза, а? – предложил Орлович. – Знаешь, тянет к холстам. Вдохновение какое-то посетило, боюсь упустить".

"Разве тебе не интересно, друг, присутствовать при закате Фазы?" – усмехнулся тут друг, да так холодно и отчужденно, как будто вовсе и не богатый жулик, как будто что-то в нем открылось врубелевское, по всем оттенкам лилового, как будто маленький демон.

Возле входа в бардак стояло отделение ОМОНа, десять молодцов в белых касках. Стояли вольно, курили "Мальборо". Похабными взглядами проводили девичью свиту, четырнадцать великолепных ног. Внутри оглушительно ухала колотушка музыки. В пятнах света извивалась ламбада, показывала товар лицом. Жадная толпа мужских хищников медленно приближалась к вновь прибывшим. Семеро девушек преданно стояли за спиной своего маленького набоба, делали вид, что хищнические инстинкты местной своры не имеют к ним никакого отношения. Тригубский со своими "альфистами" выдвигался на передовую позицию.

Дежурный по залу, господин Фадеев, сам человек с богатым прошлым, солидно пожал руку дорогому гостю, после чего сообщил с полублатным наклоном, что атмосфера сгущается. Пришли три афганца и положили на стол штуку баксов. "Давай, – говорят, – шеф, работай! Нам надо эту штуку за два часа устаканить. Тащи три бутла "Белой лошади", три бутла "Чинзано", три упаковки пива и "Наполеон", только, падло, неразбавленный!" "Остыньте, ребята, остыньте и спрячьте ваши баксы под камуфляж, – такой им дается сейчас совет. – Тут бутылками не обслуживают. В дискотеках обслуживают дрынками, ясно? Может вам в задней комнате накрыть, господин Фаза, с вашим комсомолом?"

"Дорогу!" – коротко, как сами видите, сказал Абулфазл Фазал и пошел прямо на мужскую стену. За ним все четырнадцать тупелек зацокали. "Прошу внимания!" – в отчаянии закричал диск-жокей. – Дамы и господа, отдадим дань ностальгии! Белый вальс! Приглашают девушки!"

Началось давление нескольких противостоящих мужских масс, и художника Орловича каким-то чудом вынесло на улицу.

Быстро зашагал в сторону. С горечью думал: мне там нечего делать. Пусть Фаза один наслаждается своей гибелью. Ничем не могу ни отдалить, ни приблизить. Мы все-таки даже не смежники. Я художник красок, а ты художник денег. Вот когда умру и мои цены в ебаном Соцебу пойдут на лимоны, тогда мы сомкнемся, тогда мы сомкнемся. Сейчас мы далеки. Даже твои девушки мне чужды, слишком хороши. Никакого сравнения с Музой Борисовной, или Птицей-Гамаюн, не говоря уже о чистойшей Кимберлилулке! Тебя, мой друг, защищает центурион Тригубский, а мне ОМОН первому проломит голову. Все знают, что я противостоял бульдозерам в борьбе за родное искусство. Не из-за страха сейчас ухажу, а из-за непричастности. Хватятся: где Орлович? Попробуйте догадаться. Где же ему быть, если не в суровом своем ателье, не у сурового холста, не над крышами своего перевернутого града?!

В девятом часу утра Абулфазл Фазал добрался, наконец, до своего соснового оазиса в поселке Барвиха. Хаотическая разборка в "Московских Атасах" закончилась, как ей и надлежало, установлением его полного господства. Хоть и без Модика, но со всеми своими девушками он пил шампанское и с удовольствием смотрел, как протаскивали по полу и вышвыривали на Тверскую всяких там, то ли настоящих, то ли фальшивых, "афганцев". В целом все получилось недурно. Несколько раз откуда-то куда-то стреляли, однако у Фазы

в целом не осталось никакого зловещего осадка. Гибельная рожа так и не выплыла и не повисла перед ним, даже и не промелькнула, как дважды случилось за прошедший день, хотя, если уж и завелась эта пакость в Москве, где же еще ей осесть, как не в “Атасах”.

К рассвету Фаза развез по домам всех своих пэри и, к удивлению последней, пятнадцатилетней отличницы учебы Анюты, остался один. Везти приказал себя в Барвиху, к розовеющим уже восточными щечками соснам.

Дача, словно живая, шестью большими окнами смотрела, как он приближается к ней по асфальтовой дорожке. Он знал, что когда откроет дверь, жилище заиграет для хозяина какую-нибудь музыку. Однако, какую в этот раз? Прокофьева ли, Россини ль, что-нибудь из барокко? Нехитрое это устройство с музыкальным приветом он внедрил повсюду, где у него были дома: и в Лозанне, и в Париже, и на острове, извините за выражение, Иббца.

Поворот ключа, и мгновенно начинается мощный скрипичный концерт, “Репродукция и Рондо-Каприччиозо” Сен-Санса. Вот этого он почему-то не ожидал. Или как раз этого и ждал? Растерянность втянула его внутрь, и он начал ступать как бы в ритме скрипок – не слишком ли поспешный ритм? – от дверей к лестнице, по ковру, пересекая чуть колеблющийся узор отпечатка рассвета.

“Фаза”, – тихо позвал сзади Тригубский. Он стоял с пистолетом в вытянутой руке. “Прости, не хотел в спину”, – сказал он с симпатией.

“Ты не прав, Кеша! Ты не прав! Ты ошибаешься!” – вскричал Абулфазл. Концерт продолжался. Еще два-три такта, и он должен был замереть, уступив место тишине большого дома. У Тригубского больше нечего было сказать, и Абулфазл начал ловить пули. Одна, другая... В этот момент все окна дачи залепила мясистая улыбка Долины Бекаа. Третью пулю он поймал ртом.

На панихиде много говорили о вкладе, который Абулфазл Фазал внес в развитие экономики, а также в науку менеджмента, эту новую отрасль знаний в возрождающейся России. Модест Орлович был весьма удивлен: оказалось, что его покойный друг был не только бизнесменом, но и теоретиком бизнеса. Под разными псевдонимами он напечатал в журналах Востока и Запада статьи, повлиявшие на общий поворот мирового рынка восьмидесятых годов. Один из ораторов отметил также, что чужеземец по рождению, Абулфазл Фазал был подлинным патриотом России и всегда настаивал на особом пути, которым должна идти к счастью его вторая родина.

“Грустно”, – сказал стоявший рядом с Орловичем верный оруженосец Фазы, Кеша Тригубский, одетый, как и все присутствующие, в строгий однотонный костюм.

Июнь 1993

Подписаться на наш журнал можно, начиная с любого номера.

Наш подписной индекс в каталоге ЦРПА 70434,
цена 1 экземпляра журнала в первом полугодии – 1.500 руб.

Журнал выходит 1 раз в 2 месяца, т.е. шесть номеров в год.
Цена на 1-е полугодие 1995г. – 4 500 руб.

RACHMANINOFF



CONSTITUTION HALL

Tuesday Evening, NOVEMBER 25th, at 8:30 P.M.

Seats: \$1.10, \$1.65, \$2.20, \$2.75, incl. tax

MRS. DORSEY'S CONCERT BUREAU

1300 G. Street, N.W. (Droop's) Tel. National 7151

Steinway Piano

Рамиль Ямалеев

Убийство Рахманинова

Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих; только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд.

ЕККЛЕСИАСТ

1

Черт, снова у них затор! Повозки, мулы, автомобили, велосипеды...

И люди, люди, люди. Господи, сколько же здесь людей. Кажется со всего света они собрались в Новый Орлеан. Зря я черта помянул, да и Бога – лишний раз – тоже. Впрочем, я же русский человек, мне простительно, и нам без этого никак нельзя. Традиция, господа.

Надежно застряли. Хотя... Если сейчас же, не мешкая, быстро переключиться, то можно протиснуться вон за тем “фордом”, а там дожать еще немного, и еще чуть-чуть. Так и выжимать по капельке. Что же ты медлишь, голубчик? Струсил. Понятное дело – струсил. Пытаешься что-то объяснить господину композитору... Да знаешь ли ты, что господин композитор еще до твоего рождения гонял по Ивановке на авто, пытаюсь доказать, что не отстанет от чубарого мерина. И заметьте, господа, не отстал! Что? Не понимаешь, что такое чубарый. Эх, голубчик... Ладно, ладно, прошу покорно меня извинить.

Наталья осторожно дотронулась до руки – она-то все поняла. Ховард слегка улыбнулся, а новый настройщик и ухом не повел. Ну, это уж слишком!.. Мгновенно вскипаю – нарочито громким властным голосом заявляю менеджеру (словечко-то какое, господа, чувствуете – ме-не-д-жер!), что гос-

подин Рахманинов требует, чтобы настройщик бежал впереди автомобиля и с выражением кричал: “Пропустите господина композитора, опаздывающего на концерт!” Стрела достигает цели, и у настройщика отвисает гладко выбритая челюсть. Бежать по такой духоте шестидесятилетнему, двухсотдвадцатифунтовому?!.. Все же есть предел, господа! И обязательно кричать с выражением, еще раз бесстрастно подчеркиваю я.

Китообразный, огромный настройщик начинает краснеть, набухать, шириться, но тут не выдерживает Хэк Ховард. Отвалившись на спинку мягкого сиденья, он громко хохочет, показывая всем свои великолепные фарфоровые зубы. Менеджер, на всякий случай, с готовностью подхватывает, за ним – молодой шофер; и даже Наталья слабо улыбается, ее щеки слегка розовеют. Наконец до настройщика доходит. Он начинает медленно сдуваться, оседать, принимая свои обычные размеры. “Это что же, господин Рахманинов шутит?” – осторожно, все еще не веря до конца, спрашивает он. “Господин Рахманинов всю жизнь шутит,” – мягко отвечаю ему. И отворачиваюсь...

Эх, Америка, Америка. В этой стране без авторитета нельзя. Или деньги, или авторитет. Лучше, конечно же, и то и другое. “Сна-

чала ты работаешь на авторитет, а затем он начинает трудиться на тебя". Эти слова Иосифа Гофмана, еще тогда, при первой новосветской встрече, намертво отпечатались в мозгу. И скорее всего, даже не смыслом, а построением фразы, необычной конструкции – абсолютно нерусский стиль. Чеканный, лаконичный, без капли словесного жирка – он давал заряд энергии, но не жизненные силы. Слова запомнились на всю оставшуюся жизнь. Интересно звучит – оставшуюся. Сколько же ее осталось?

Приехали. Не хочется выходить, но надо, надо; и кому все это надо... А шофер-то – молодец. Ишь, как вьется вокруг машины. Уважаю! Зря я с ним так. Ну ничего страшного, Бог простит...

А вот тут мы через ступеньку. И вот тут. Спина прямая, шаг упругий, лицо бесстрастное. И – еще через ступеньку. Ноги-то еще держат. Молодцы!

Первые цветы – сдержанно улыбнуться. Дама с мальчуганом – улыбнуться пошире. Мягче, еще мягче. Вот так! Господину – кивнуть. Кто-то с улыбочкой – посмотреть строго, что-то не нравится мне эта улыбочка. Распорядителю – с достоинством, вежливо... И дальше, дальше, еще через ступеньку... Стоп! Снова она. Лет сорок, мила, сдержанна, со вкусом. Восьмой концерт подряд. И вновь черные траурные розы. Благодарю сударыня. Прощайте!

Лица, лица, поклоны, цветы, живой коридор фраз, наставлений, приветствий; туалеты, запахи, звуки, шелест платьев, движения рук плавны, резки, замедлены, обтекаемы; светильники, своды, повороты, вновь ступени, двери, лица, слова; гомон толпы все дальше и глуше, ковер под ногами мгновенно скрадывает все шумы, некто лмквий и бесшумный освобождает от цветов руки... Уф, все!

Несколько мгновений тишины.

Негромкое, вежливое покашливание Ховарда за спиной, какое-то движение, шелест. Подождите, сейчас. Стою неестественно прямо, чуть прикрыв глаза, спиной к остальным, пока никто этого не видит. Пусть думают, что маэстро надо сосредоточиться. А изнутри уже накачивается страшной, темной лавой... Сейчас, еще секундочку, пожалуйста, подождите, Бога ради. Этого не зна-

ет никто. Никто! Даже Наталья. Впрочем, она может догадываться. А лава все наступает, заполняя податливое, ставшее мягким с годами тело, все выше и выше, поглощая звуки...

Медленно оборачиваюсь. Ховард представляет меня каким-то людям. Догадываюсь, что это устроители концерта. Вежливо, с достоинством киваю им. Они что-то наперебой говорят, но их голоса уже доносятся до меня, как сквозь толщу воды – все глуше и глуше с каждым мгновением. Глухота обволакивает меня толстым прозрачным ватным одеялом; цепляясь за соломинку, смотрю на их губы, что-то коротко отвечаю... и все – лава заполняет меня ничем, и это "ничего" выдавливает из черепной коробки последние звуки.

Тишина.

Полная тишина.

Я оглох.

Последнее время я гложу во время каждого концерта. Никто ничего не знает, не смеет знать. И вот беда – некому сказать. Глухой пианист! Нет, глухой пианист – это нонсенс, господа. Катахреза! Более того – дьявольский нонсенс. Глухота, вытеснив из мозга все посторонние шумы, очищает его для музыки. Я вдруг начинаю слышать тысячи оттенков звуков, слышу отчетливо, ясно, могу их осязать, перебирать руками. Господи, но как только это можно объяснить остальным, нормальным людям?!

Ставший родным "стейнвей" давно ждет меня. До него несколько шагов, но как трудно сделать их. Глухой пианист подобен раздетому человеку. Таким вот, "голым", осторожно выбираюсь на сцену, не слыша собственных шагов, медленно, на цыпочках, подкрадываюсь к роялю, прячусь за клавишами...

Но это все во мне. Со стороны все выглядит по-другому – как тысячи раз писали газеты – к роялю независимым, гордым, иногда даже высокомерным выходит господин Рахманинов, не обращая внимания на публику и начинает отрешенно, самозабвенно играть. Вдумайтесь, господа, – самозабвенно! Да знают ли они, что такое – играть? Когда ты "раздет" перед огромной, равнодушной к твоим мыслям, к твоему миру толпой, когда осторожно взяв кончиками паль-

цев звуки, начинаешь создавать постепенно и медленно сначала завесу, затем – стены, и наконец – замок, в котором ты, уже скрытый от тысячи жадных глаз, можешь творить с музыкой все что хочешь... Вот только тогда наступает свобода, уходит прочь скованность, и моя “глухота” никому не видна, не слышна, никем не осязаема. Какие к черту “невидимые нити с залом”, как пишут газетчики! Музыка – это защита от всего окружающего мира. Запомните, господа, это я вам говорю, я – глухой пианист, раб акустики...

Но этого не должен знать никто из окружающих, ни один человек. Это моя тайна, господа, и только моя. Имею полное право на тайну.

“Одевшись” звуками, продолжаю свой “Прелюд”. Вот уж, действительно, фатальная мелодия! Кто же мог предполагать, что после первого посещения Америки, здесь, на слуху, останется только эта простая мелодия – прелюдия до-диез минор. И именно благодаря ей я начну свое восхождение по концертным залам Нового Света. Невероятно!

Но тогда я, действительно, написал третий концерт специально для Америки. Да, я вам скажу, это было еще то время! Летом – ни минуты, чтобы спокойно позаниматься, все урывками, все через голову, все в бешеном темпе... Никто сейчас не поверит, но дошло до того, что пришлось сесть в каюту парохода, не зная некоторых пассажиров собственного концерта! И это называется, господин Рахманинов, уже тогда для всех – Сергей Васильевич Рахманинов, поехал покорять Америку. Ого-го! Ученик Чайковского, Ученик Танеева, Аренского... Ученик Зверева, наконец! Вот уж от Зверева я бы точно получил хорошую оплеуху!..

Пришлось всю дорогу сидеть в каюте и мучится над немой клавиатурой. Каюта, надо сказать, была первоклассной и пароход – превосходным. Но океана я почти не видел, тут уж извините...

Затем – Нью-Йорк, Уолтер, Дамрош. И... победа!

Настоящая победа. И следом комом – Фидлер, Бостонский симфонический, турне, города, переезды, бесчисленные интервью, Филадельфийский симфонический, Малер,

вновь переезды, люди, знакомства, о, Господи, чего там еще только не было!..

Но вот все схлынуло, прошло столько лет. А остался на слуху американцев лишь этот “Прелюд”. Печально, но такова судьба музыканта. Только не подумайте, что это жалоба. Рахманинов никогда и никому не жаловался, господа. Запомните это.

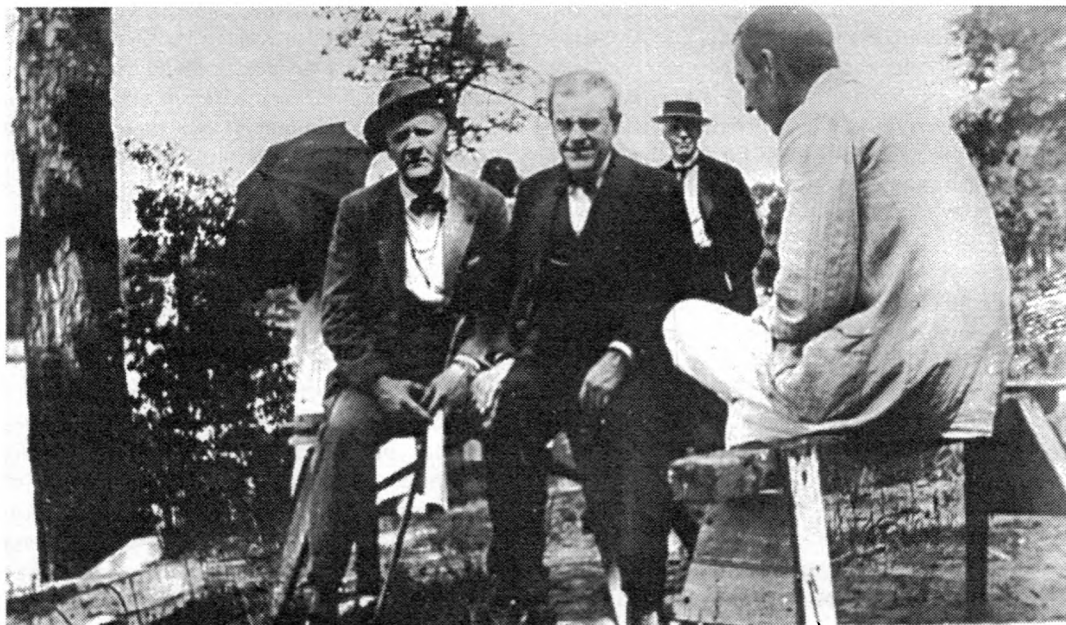
Снова кольнуло в бок. Хочу пошевелиться, чтобы было удобней, но нельзя – уйдет, ускользнет настрой, едва собьется внутренний ритм, и пиши пропала музыка. Со стороны будет казаться, что ничего не произошло – все так же отрешенно, внешне бесстрастно сидит, играя на великолепном инструменте, пианист, но внутри его уже не станет порядка, исчезнет гармония, хаос звуков будет давить со всех сторон, мешая мелодии. О, как трудно тогда будет ее вести! Музыкальных оттенков тысячи, сотни тысяч, а вот найти, создать, защитить от хаоса остальных, единственноверную в этом пространстве мелодию – безумно сложная задача. Нет, плохо! Слова “задача” и “музыка” не могут, не должны находиться рядом... Вот “пространство” – это где-то рядом, это слово того же порядка, той же внутренней гармонии.

Вообще, говорить о музыке можно лишь с друзьями, да и то за хорошим столом. Но это уже не я – это Федор Шаляпин, Федор-старший, как мы его называли, просто Федя. Именно он тогда первый предложил спеть у Толстого. И как спел, черт его побери! А потом сказал про музыку и про стол...

Вот материал-то для мемуаристов: Рахманинов играет, Шаляпин распевает, а Лев Толстой сидит, задумавшись, и слушает. Русская идиллия! Какая, к черту, идиллия, когда и десятилетия не пройдет, как сметет всех троих алым махом...

Где Россия, где романсы? Жесткий росчерк штыка, гармонь да бескозырка. Кованым каблуком по медведям и цыганам. Кресты и могилы, могилы и кресты. Петр Ильич, Антон Григорьевич, Николай Андреевич, отзовитесь, где же вы?

Ах, как бок болит... Но ты первым почувял, по-звериному, задолго – нота, вторая, тон, полутон. То смерть шла косяком: и все близкие, и все родные, до боли прикипевшие – Скрябин, Танеев, отец... И нет уже



Шаляпин и Москвин на даче у Рахманинова. Нью-Джерси. 1923.

времени гадать – к чему бы это. А то вдруг тишина, немота, пауза.

Слышите?

И только высоко-высоко, где и не поймешь сразу, ширк-ширк алым знаменем. Только весна семнадцатого началась, а ты уже понял – все, сорвалось колесо с оси, понесло телегу. Надо уезжать. Уезжать, Наталья. Бежать!.. А вокруг еще все спокойно, тихо – газеты, окопные будни наших доблестных войск, Ивановка, надежный дом, лень, куры, жара и ноты, ноты кругом. И лишь высоко над всем этим – Алый мах...

Боль, словно кровью, разнеслась по всему телу, немного побалансировала и устремилась в правую кисть, все твердея и набухая. Господи, дотянуть бы до антракта!

Октава. Вторая. И еще...

Вот так – боль давим мастерством. Школа Зверева. Простая и отточенная. Больно? А мы так. Все равно – больно. Тогда мы можем вот так. И так. И еще...

Школа Зверева началась в двенадцать лет, а продолжается до сих пор. Да и кончится, наверное, лишь после моей смерти. Покойный Зверев учил не жизни и не музыке, как бы это кощунственно не звучало. Он учил вкусу. Да, да – вкусу! И только вкусу...

После концерта – в трактир. Это Зверев.

В детстве что должен попробовать отрок

– “рюмку водки и бокал шампанского”. Это тоже Зверев.

А четвертной, кредитный, с вензелями “на лихача”, чтобы барышню усладить. Кто? Он же – Зверев...

Правда, было и по-другому: Лельку Максимова ногой, да так, что он со стула кувырком. За плохую игру. Зверев, кто же еще!

И мне доставалось, и Пресману. Но любили. Ей Богу, не совру – любили по-настоящему. И все по-детски, искренне: когда отводили его на ночь в спальню, ждали, пока он умоется, кто-то прикуривал для него папироску, подкладывали под спину, под мягкие бока, целовали непременно в щечку и после обязательного “Ле”, “Се”, “Мо” (т. е. Максимов, Рахманинов, Пресман), хором желали ему на ночь – “как приятно протянуть ножки после долгих трудов”...

Школа Зверева вошла в плоть и кровь, как может войти только настоящая русская школа. После такой школы можно было храбро подойти к Танееву, да и сыграть в четыре руки на двух роялях Пятую Бетховенскую! Да еще как сыграть – без нот!.. А затем, без передышки, сразу же и Шестую! И тоже без нот!.. Танеев даже тогда вскочил со стула – слыханное ли дело, дети ведь, а такое вытворяют. “Зверята” могли все! Или почти все...

Однако боль нарастает, берет стареющее тело в плен. Октавы даются все труднее и труднее. Но, странное дело, чем труднее играть, тем спокойней движение, на лице-маске уверенность, спокойствие, даже безмятежность. Ни один мускул ни должен дрогнуть, вот тогда ты владеешь не только собой, но и мелодией.

Нет, господа, мелодией владеть нельзя – это я оговорился.

Ну разве можно владеть лесом, рекой, степью? Они живут независимо от нас – их можно только умертвить. Да, именно, умертвить... В Париже, в этом игрушечном, карточном мире, где люди живут лишь для себя, где так радостно и грустно одновременно, только в Париже можно поверить, что композитор властвует над музыкальной гармонией... Конечно же, это шутка.

Был очень серьезный спор в кафе де ля Пэ: лоб в лоб сошлись три упрямых русских “барана” – Римский-Корсаков, Скрябин и ваш покорный слуга. Скрябин утверждал, что между звуками и оттенками солнечного спектра есть прямая связь. Римский-Корсаков соглашался, но почему-то путал цвета, называя не те звуки. Я от всей души хохотал над ними и говорил, что это полная чушь. В ответ они приводили примеры из моих же произведений, постепенно склоняя вашего покорного слугу к схоластике. Их доводы были настолько убедительны, что постепенно я стал чувствовать, что схожу с ума! Ведь все правильно – семь нот и семь основных цветов... Ах, Париж, Париж!

Не выдержав, я просто сбежал от них!

Бродил по улицам всю ночь и был задержан полицией, но с миром отпущен – интеллигентный вид, безупречное произношение, а главное костюм, сшитый у лучшего лондонского портного, красноречиво говорили сами за себя. И вот тогда я окончательно понял, что владеть мелодией нельзя, можно только помогать ей жить. Существовать. Дышать и властвовать...

Хотя тысячу раз прав Скрябин – колдовство и музыка неотделимы. Они иррациональны, мистичны. Как это ни странно, но технологичная Америка лишь подтверждает его слова.

Вот так всегда – мыслями о прошлом, о музыке пытаюсь приглушить банальную физическую боль. Но с каждым разом это удается все хуже и хуже...

Пьеса вдруг стала вязкой, растянутой, бесконечной. Секунды волшебным образом стали часами, минуты – годами... Точь в точь, как тогда ночью в красном семнадцатом, когда вместе с другими пришлось нести охрану московской квартиры, ходить каким-то совершенно диким дозором, высматривать бандитов и мародеров, бояться, по-настоящему бояться, что тебя могут убить. Вот так просто – взять и убить. Со всеми твоими мыслями и суждениями, надеждами, мечтами и поражениями...

Тебя – Рахманинова – убить.

Слово – то какое, господа, мягкое, податливое – “убить”...

Кажется, тогда ты это высказал вслух, ибо мгновенно послышалось в ответ: “Чего там какого-то Рахманинова, вчера вон кенгуру убили. Вот это да! Один на всю Рассею был бедняга, и того кокнули. Должно быть на мясо...” Кто же это сказал? Может быть мещанин из полуподвала, вечно голодный и веселый мужик, или больной сифилисом студент, не помню. Но фраза отпечаталась, вошла как патрон в патронник, заполняя все пространство – семнадцатый, кенгуру, убить...

И всплыла именно сейчас.

Как вовремя!

Сейчас, когда ты, почти семидесятилетний, весь развалившийся внутри, но еще бодрый и подтянутый снаружи, давишь боль, нажимая изо всех сил на клавиши “стейнвея”, стараясь дотянуть до антракта...

Сейчас, когда ты глушишь печаль старости сладковатыми пилюлями воспоминаний, которые никто кроме тебя не помнит и не вспомнит, даже если приложит все усилия...

Сейчас, когда ты почти глухой, но по-прежнему упрямый, да восславит Господь эту настоящую русскую упрямость, даешь первоклассные концерты, вкладываясь в них изо всех сил, и это не просто слова самоуспокоения и бахвальства, не притворная реакция податливой любому влиянию доллара прессы, нет – твои выступления действительно хороши, отточены и изящны...

Господи, но почему этот абсурдный, совершенно дикий, не к месту вдруг возник-

ший “кенгуру” помогает тебе именно сейчас, через двадцать пять лет, в душном Новом Орлеане? Вот ведь загадка мироздания, великая тайна природы, как бы это смешно ни звучало...

Но... память, к счастью, успела сделать свое дело. Внезапно мелодия иссякла и тихо ушла в темноту зала, исчезнув с последним аккордом. Я еще немного посидел, прислушиваясь – не вернется ли... Но поняв, что она ушла безвозвратно, осторожно поднялся и поклонился.

Все, господа, антракт.

2.

Как приятно в антракте пропустить рюмочку-другую душистого портвейна, кто бы знал! А если день прохладный – напиток лучше подогреть. Об этом мало кто знает из пронирливых газетчиков, но во времена сухого закона старый настройщик, близкий друг самого Фредерика Штейнвея, бывало не раз приносил портвейн в чашечках из-под кофе. Впрочем, если быть честным, тогда на сухой закон мало обращали внимания – это уже через несколько лет после его благополучной кончины раздули такие слухи. Люди в этом почти не виноваты. Америка – я имею ввиду саму землю, географическое пространство – страна мифов. Она жила мифами и умрет вместе с ними...

Однажды, кажется году в тридцать восьмом, Наталья даже была в отчаянии, когда узнала, что вместо портвейна мне стали приносить виски. Скажем прямо – виски был сильно разбавленным, но факт, поверьте, для жены не очень приятный. А объяснять, почему я перешел на более крепкие напитки, не хотелось. Ну, перешел и все! Такого мое, Рахманинова, желание...

И все-таки, черт побери, приятно откинуться на спину, попивать себе по-тихоньку вреднейший для организма алкоголь, а заодно плевать на его вредность, и ни о чем не думать! Глухота имеет свои положительные качества – она создает приятную и абсолютно надежную защиту от окружающих. Пусть себе думают, что я горд, неприступен, заносчив. Пусть считают старым русским самодуром... Сейчас мне не до этого.

Главное – приглушить боль.

Закуриваю после маленькой. Пускаю две толстые серые струи в потолок. Здорово получилось! Настроение великолепное, да и боль куда-то спряталась – а что же вы хотели, тело большое, укромных мест достаточно... Да я уже к ней привык, к боли, и не ищу ее. Раньше, еще несколько лет назад, когда впервые на концертах почувствовал недомогание, заволновался, пытался избавиться во что бы то ни стало. Найти! Локализовать! Заглушить!

Теперь все это в прошлом.

Лежу себе на диванчике, покуриваю. Бессмысленно бороться с собственным здоровьем, вернее нездоровьем. А вот без хороших папирос не могу, хоть ты меня убей! Иногда по четыреста штук их заказывал Сомову. Вот было наслаждение... Но лучше всего – в Ивановке, когда идешь за плугом, жилетка расстегнута, ветер такой ласковый, а в зубах папироса, и дым от нее душистый, степной.

Настройщик недоверчиво качает головой – господин композитор, как простой селянин, ходил за плугом, не ослышался ли он? Я тотчас выпрямляюсь – так точно, сударь, изволил ходить. Вот этими самыми ногами. За плугом? – еще раз переспрашивает настройщик и недоверчиво косится на мои ноги. Я не слышу его голоса, но по губам, а больше по удивлению на его здоровой свекольной физиономии, понимаю, о чем он ведет речь. Я решительно киваю. Увидев мой воинственный вид и, видимо, вспомнив об утренней шутке в авто, настройщик быстро поднимается и уходит куда-то за кулисы. Приходится только догадываться, какие проклятья он мысленно бормочет про себя в мой адрес...

Его недоверие заставляет меня задуматься. Странная вещь иногда происходит с людьми: сами того не желая, они порой вдруг становятся настолько сентиментальными, что готовы верить в любую чушь, в любой вымысел. Хотя бы, например, в то, что пересекая границу зимой семнадцатого, Рахманинов остановил сани, упал на колени и целовал на прощанье холодную землю России. Вот именно – колени! И целовал...

Можете себе представить?!

Со всей ответственностью заявляю, что такого не было и быть, естественно, не мог-

ло. Чушь несусветная! Форменная бредятина! Добавил бы еще пару ласковых, но не хочется портить антракт.

Но никто не верит мне. Никто!

Знаем, – говорят все знакомые и мало-знакомые, – целовал. И на коленях стоял, как же без этого. И не скрывай!.. А вот то, что за плугом ходил, да еще с папиросой в зубах – не верят, хоть ты лопни у них на глазах. И реакция у всех почти одинаковая – как у этого китообразного настройщика...

Появился Ховард. Что-то вид у него встревоженный. Говорит быстро, сквозь зубы. Два раза оглянулся назад, странно. Вежливо киваю – а что еще прикажете глухому делать!.. Ховард протягивает записку. Что это? От поклонников? Не спеша читаю.

Да, дела... Это тебе не боль в боку, которую можно одурачить воспоминаниями о кенгуру – здесь вещь посерьезней. Всего две строчки, но каждое слово словно маленькая злая граната. С этой стороны удара я никак не ожидал!..

Представители фирмы Стейнвей тайно прислали ревизоров, чтобы проследить за моей игрой, ибо кому-то там показалось, что я уже не могу достаточно хорошо и достойно представлять инструменты их фирмы. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день, Аленкины именины!..

Первый вихрь мыслей – отменить ко всем чертам концерт!

Заявить в прессе!

Подать в суд!

Протестовать...

Но робкое покачивание головой верного Ховарда тотчас отрезвляет меня. Какой суд, какая пресса, Боже мой, о чем это я?! К тому же Рахманинов не может отплатить старому Фредерику и памяти нашей дружбы такой нечистой монетой, никак не может. Чарльз Эллис и Стейнвей тогда по-настоящему помогли мне и моей семье. Приехав в Америку, мы не знали на кого положиться, кому можно искренне верить, от кого ожидать подвоха и пакостей. Они протянули нам руки, и мы можем быть только благодарны им. Фирма “Стейнвей и сыновья” предоставила для моих концертов свои лучшие инструменты. Причем – бесплатно! Перед сезоном рояли рассылались по городам, где я должен был гастролировать. Опытные настройщики – знаменитые Джу-

бер, Кэйт и Копфер – собственноручно проверяли их.

Конечно же, имя Рахманинова давало им дополнительную рекламу, но тогда, в начале эмиграции, это был риск. А американцы по-настоящему рисковать никогда не любили, пусть простят меня за прямоту...

И вдруг – “недостаточно хорошо представляю инструменты их фирмы”!..

“Откуда эта гадость?” – обращаюсь я к Ховарду. Он что-то грустно отвечает мне, и я по губам догадываюсь: “доброжелатели”... Что ж, есть и такая порода людей. Начинаю лихорадочно соображать и вскоре прихожу к мысли, что это все весьма похоже на правду. В том году, совсем недавно, был небольшой юбилей – пятьдесят лет моей артистической деятельности. Не бог весть какая дата, но все же... Со всего Нового Света нашелся только один репортер, который откликнулся на это.

Один! И есть у меня подозрение, что это был свой же брат-эмигрант. Конечно же, это верный знак заката. Хотя с другой стороны... о чем же я думаю? “Стейнвей” прислала мне в Беверли Хиллз, прямо на дом, прекрасный концертный рояль, великолепно настроенный, особой ручной работы. Ничего не понимаю?!

Смотрю на Ховарда – он в таком же недоумении.

“Доброжелатели” – о, эти люди были во все времена! Что же, настало время для решений, думайте господин Рахманинов, думайте, что вы сейчас будете делать?..

Играть. И только играть.

Несколько лет назад здесь вышел роман Сирина – для Америки он теперь свой парень, мистер Набокофф – с чудесным названием “Приглашение на казнь”. Наши круги вяло откликнулись на него – возраст, болезнь, ассимиляция, и даже великий Бунин пробурчал что-то нелестное. А меня, честно говоря, проняло. Он ухватил самую суть нашего существования, самую скрытую, тайную, нежеланную, видимо сам того не ожидая.

Итак, господин Рахманинов всех приглашает.

Только не надо никаких аналогий, это было бы просто глупо. Просто, пора продолжать концерт. И вас, уважаемый Хэк Ховард, я приглашаю тоже. Вы показываете

на часы? Что, есть еще несколько минут?.. Вздор, господин Ховард, ваши отстают от истории. Шутка, голубчик, шутка. Но все же мы начинаем прямо сейчас.

За мной, господа!..

Выйдя на сцену, внимательно осматриваюсь. Жаль, что я не сделал этого в самом начале концерта. Нет, не подумайте лишнего, я не ищу врагов. Доброжелатели всех мастей не могут помешать музыке. А вот портьеры могут. В прошлый раз, кажется это было в Чикаго, дамские организации – устроители концертов – навесили тяжелых бархатных портьер пудов на триста, не меньше! Пришлось настройщикам все это срывать... В газетах потом писали, как обычно обильно все перевирая – якобы господину Рахманинову не понравился их цвет...

Какая чушь! Да если бы я был настоящим русским самодуром, как они меня тогда ласково называли, я бы просто велел пере-красить эти портьеры!

Оглядываюсь назад и вижу Ховарда – он весь напрягся, чувствуя что-то неожиданное. Делаю ему успокоительный знак глазами. От этого Ховард волнуется еще больше. Ничего страшного – волнение в крови оказывает лечебное действие... Хорошо, что не вижу Натальи, она бы сразу догадалась, а ведь ей совершенно нельзя беспокоиться. Пустое – все равно догадается. Услышит музыку и догадается.

Вот так всегда, сам прячусь, как черепаха в надежном панцире, а лишь начинаю играть, так музыка выдает с головой. Ну что, господин композитор, соберем в кулак все честолюбие, самолюбие и прочее там “любие” и начнем, начнем потихоньку.

Сначала вот эту вещицу...

Все сидящие в зале медленно входят в лес, все дальше, глубже. Вот покажем им тропиночку, затем еще одну, сведем их вместе, разведем, запутаем, закружим в вихре... Листья под ногами, мягкий пружинистый мох, удар веткой по лицу, шорох зверя, испуганного нами, поворот, остановка, вновь поворот, всплеск воды, шорох крыла о низкий камыш... И снова тропинки, тропинки. Помогай, старый “стейнвей”! Покажи им, что ты можешь: закури, заверти, проведи сквозь хаос звуков и вновь запутай...

А теперь набросим паутину нот. Сверху.

Осторожно. Чтобы никто не догадался, что главная тема здесь – тема охоты. На “доброжелателей”, на их души. Что еще может композитор?

Защититься музыкой.

И наступать – тоже музыкой.

Я не люблю пластинок, и это не каприз. И если мелодия записана на граммофонную пластинку, то она мертва. Для меня мертва... Когда слушаешь пластинку, наступает момент некой фамильярности. Тебя могут слушать – причем абсолютно искренне – сидя, лежа, находясь в ватерклозете, жуя сосиски или обнимаясь с подругами. Но это недопустимо, ей Богу недопустимо. Уходит тайна, колдовство, очарование... Не просыпаются души, нет интеллектуального напряжения. Люди обкрадывают сами себя. Как их жаль!..

Концерты существуют для души.

Это – общение, дружба, любовь, ненависть, ревность. Это радостное и опасное одновременно. Люди, слушающие тебя, наполняются жизнью, а ты – исполнитель, презренный раб акустики и звуков – иссякаешь, гибнешь. Ты невосполнимо тратишь себя, если только играешь по-настоящему. Иногда Наталья ненавидит мои концерты. Ты разрушаешь себя, говорит она. Но не мне – она бы не посмела – а только себе. Но чувствую, особенно тяжело ей пришлось во время последнего такого испытания...

Голливуд-Бул. Огромная, почти ровная, раковина котловины среди лесистых гор. Скамьи, раскинувшиеся гигантскими подковами, собрали тридцать тысяч зрителей и слушателей.

Тридцать тысяч! Вы только представьте себе, господа.

Когда я сел за рояль, то даже не испугался – настолько нереальным это все казалось. К тому же, в очередной раз, меня спасла “глухота”. Но, видимо, огромное количество людей создало такую энергию воздействия, что я играл на необычайном подъеме. Это был Второй фортепианный...

Едва я кончил концерт, как силы покинули меня, даже не было возможности подняться из-за рояля. В глазах Натальи был ужас. И тогда я дал ей слово, что не буду



больше концертировать. Да... дал слово, чтобы тотчас его нарушить. Она меня, конечно же, простила.

Прости еще раз, Наталья.

Я не могу иначе – ведь они позволили себе усомниться. Не в музыке, Бог с ней, с этой музыкой. Они бросили вызов мне, человеку, Рахманинову. И я им отвечу. Как могу, чем могу.

А вот и первый звонок – родная моя, голубушка боль.

Здравствуйте, давненько вас не было слышно. Что-то вы припозднились, господин композитор уже успел сыграть половину пьесы. Опять я заговорил ее воспоминаниями. Но ничего, сейчас она возьмется за дело по-настоящему...

Крутенько же вы начали. Ого-го!

Вена над правым глазом набрякла, мгновенно наполовину ослепив меня. Кисть руки кто-то дерзко схватил клещами, изо всех сил мешая брать нужные октавы. Одновременно резко подскочил пульс и позвоночник стал распадаться на части. Левая нога потеряла сцепление с педалью рояля – теперь я уже

сидел чудом, едва балансируя на самом краешке стула...

Отчаянная мысль вспыхнула в мозгу – это конец!

Но тут же ее перебила другая, более трезвая – удержаться мгновение, еще мгновение, еще... Сейчас должно отпустить.

Сейчас.

Вот сейчас.

Еще немного...

Черт побери, должно же это когда-нибудь кончиться!

Отпустило. Так же неожиданно, как и началось. Возраст и нервы. А может быть, и то и другое. Может быть кто-то там, наверху, хочет посмотреть, сколько еще может выдержать этот господин Рахманинов?..

И все-таки возраст, никуда от него не денешься. не убежишь, не спрячешься. Но вот приятный парадокс – борьба с болью дала новую остроту звучанию, новый, еще ни разу мной не достигнутый смысл... Прислушиваюсь к исчезающим в тишине черного провала зала звукам. И остаюсь доволен содеянным. Раньше такое случалось крайне редко. В основном всегда было не-

довольство собой. Вернее, не собой – результатом. От того и слава шла по пятам – слава ломкого душевно, вечно недовольного достигнутым, мнительного...

Что было, то было. И слом после “Первой...”, и долгое молчание в начале века...

Не отрекаюсь.

И не виню никого. Тем более родителей, их отношения. Это, господа, дела только самих Рахманиновых. Не стоит вмешиваться.

Были падения, были подъемы. Был, в конце концов, труд!

А вы знаете кого-нибудь еще из известных исполнителей – я имею ввиду настоящих, маститых “зубров”, а не спринтеров с коротким дыханием – кто бы начал совершенствовать свою технику в сорок пять. Вы не слышались – именно в сорок пять лет!.. Дни и ночи на немой клавиатуре. В поездах, в экипажах, на пароходах, в отелях, городах, деревнях. Утром, вечером, днем и даже ночью...

Исполнять и улучшать.

Улучшать и исполнять.

Словно гигантский мотор, четверть века назад заведенный, работал ваш покорный слуга. Кем заведен? Не Богом – человеком. Господином Рахманиновым. Поэтому, прости меня, Наталья, я продолжаю играть.

Сейчас должна прозвучать соната Бетховена.

Они дадут полный свет, и я продолжу. Странно. Почему же задержка? Мне кажется, что оглохли они, организаторы концерта, а не я. Ведь пьеса давно кончилась, затем должна быть пауза, дальше – свет, и сразу “Соната”... Ничего не понимаю.

Ведь это же просто: пьеса-пауза-свет!

Однако пауза затягивается...

Не выдержав, встаю в полный рост, стряхиваю под рояль остатки боли. Краем глаза успеваю заметить искаженное ужасом лицо Ховарда, он уже догадался, что сейчас произойдет. Ховард вскакивает со своего места, мечется, исчезает, но уже поздно...

Во весь голос, строго и требовательно спрашиваю: “Почему нет света?! Мы же с вами вчера говорили об этом на репетициях!” Сажусь. Жду.

И тут только до меня доходит, что сейчас происходит в зале...

Шок!

Господи, бедная Наталья. Прервать кон-

церт, объявить свое пожелание, сесть и спокойно ждать, когда оно будет исполнено, оскорбив при этом организаторов... Да, господа. Это бомба! Это, честно говоря, хуже бомбы!..

Ни один пианист, на моей памяти, не позволял себе такого.

Ни один!

А вот Рахманинов позволил...

Дирижерский пульс я переставлял – это было. Запретил оркестру курить – тоже было. Но прервать концерт ради нескольких лампочек?.. Да-а... Но я не мог иначе. Соната Бетховена должна играть при свете. Должна, и точка!

И она будет играть при полном свете. Что бы ни случилось. Вот, наконец-то светлеет... Полный свет. Спасибо, господа. Благодарю вас. Рахманинов продолжает!..

3.

Соната рвалась из-под пальцев, дышала скрытой страстью; звуки музыки с жадностью впитывались залом, который теперь освещали блестящие в полный накал люстры...

Я кожей почувствовал, как мелодия наполняет людей.

Так было и со мной. Когда-то, давным-давно...

Простые стихи Эдгара По вдруг отозвались во мне звоном, переливами, стали понятны, ясны и прозрачны до хрустальности: вот она, светлая в своих неустойчивых порывах юность, за ней спешит мечтающая о вечном счастье молодость, следом – беды и ужасы зрелости и гробовой, все примиряющий финал. Жизнь, такая сложная и наивная одновременно, была вся перед глазами, как смелый образ симфонии для хора и оркестра...

И все это на фоне звона. Обычного колокольного звона.

Я стоял тогда, как зачарованный и слушал музыку, которая только рождалась у меня в голове, – звон ласковый и нежный, уверенно-спокойный и торжественно-мерный, тяжело-похоронный и, наконец, с отчаянием, ужасом, тревогой перед наступающей стихийной катастрофой. А вокруг все затмевающий желтый свет. Свет Достоевского, свет России нового века...

Любовь к колокольному звону, оставшаяся от детской веры, что еще нужно человеку, чтобы вернуться в юность. Этого достаточно. Но в данном случае, я говорю только о себе... "Колокола" сложились почти сразу, и вся трудность была лишь в том, чтобы бережно, ничего не потеряв, а главное – не изменив, перенести из воображения на бумагу.

И это, слава Богу, удалось!

Но вновь боль напоминает о себе, постепенно завладев всем моим существом. Когда же это кончится!..

Кисти рук, сведенные легкой судорогой, становятся немыми, чужими. Оглушное небо не слышит моих молитв. Приходится вновь прибегать к помощи, к наркотику воспоминаний...

На помощь приходят женщины. Спасибо вам, милые сударины, что вы снова рядом! Страстная Анна Орнатская, добрая Леночка, сестры Скалон – смешливая Вера и верная Тата, цыганская баронесса Лодыженская, сестричка Сонечка, гордая Комиссаржевская, чуть вздорная, но преданная до конца Мари Шагинян, Нина Кошиц, окутанная таинственностью...

Господи, сколько же вас было!

И отдельно – Наталья, Наташенька, Наточка, Ната. Всегда добрая, всегда немного грустная, бесконечно верная и терпеливая. Вы были счастливее тех многих тысяч поклонниц, что ожидали меня после концертов, выступлений, вечеров и торжеств...

Даруя любовь и очарование, вы все, в то же время, имели и право на меня. И мне приходилось платить. Нет, нет, конечно же, шучу. Ну чем может расплатиться музыкант? Разве что звуками... А если так, то я дарил вам лучшие из них.

Всплывшие из глубин памяти, мало кому здесь известные, романсы вдруг закружились, завертелись в моей голове. Зазвучали, стремясь пробиться сквозь паутину нот сонаты. Романсы хотели жить! О, как они хотели жить, не смотря ни на что...

Я попытался сосредоточиться, но боль лишь увеличилась.

Да, господа, положение!

Память, сыграв не лучшую свою шутку, на этот раз решительно подвела меня. Мелодии романсов вырвались из западни, из-под контроля и, подобно озорным ба-

рышням, закружили бедную сонату в веселом, безумном хороводе!.. Я еще некоторое время пытался их сдерживать, но куда там... Махнув рукой я ринулся за ними.

А, будь, что будет!

Господи, сколько же вас набралось за эти годы, простых и сложных, доверчивых и лукавых, земных и возвышенных. "А сколько было настоящих женщин, столько и нас!" – смеясь ответили романсы, продолжая отчаянно-веселую, бешеную карусель. "Все женщины настоящие!" – закричал я. "А вот и нет!" – ответили романсы...

Я попытался догнать их. Обнять. Схватить. Прижаться.

Но соната крепко держала меня, не выпуская из своих сетей.

"Прощайте!" – успел я крикнуть романсам.

"Прощайте господин композитор!" – слышалось в ответ, и странная тишина, наступившая вслед за этим, вдруг напомнила мне о ветхом доме старости. Так вот как она подкрадывается, она – настоящая старость! Не та, мнимая, напоминающая о себе частыми юбилеями, хрупкими листками календаря, скучными цифрами дат, одышкой и резами в желудке. Нет, другая. Истинная.

И снова боль.

Тупая, уверенная в себе, как злая жена. Обняв тело липкими руками, она словно спрашивает – ну что ты здесь доказываешь, кому ты в Америке нужен?.. "Старый больной человек с высоко поднятой головой". "Ха-ха-ха!"... высоко поднятой... Это от болей в спине. А гордость и неприступность – от прогрессирующей глухоты. И это правда, от нее не укрыться за пеленою нот. Нет! Ты старик. Твоя музыка никому не нужна. Ты развалина, играющая мелодии таких же динозавров, как ты!

А может она права?

И имя этой болезни "смерть"?

Отец мой, Василий Рахманинов, ведущий свой род еще от Ивана Темного, был блестящим офицером. Он всегда пленял окружающих природным обаянием. Необыкновенно привлекательный, широкоплечий, с изящными, быстрыми и выразительными движениями. В нем чувствовалась легкость и порода. Полковой законодатель мод, он вел довольно рассеянный образ жизни –

сорил деньгами направо и налево, отдаваясь в плен разнообразным фантазиям...

Будучи человеком одаренным отец растратил свой музыкальный талант, услаждая уши светских дам, наигрывая арии из опер или аккомпанируя на балах. Странно, но при этом он был против моего музыкального образования, вернее – музыкальной карьеры. Отец настаивал, чтобы дети последовали его примеру и служили в армии. А то, что дед по материнской линии был генерал, давало нам право поступить в Пажеский корпус!..

Пажеский корпус. Как это странно звучит здесь, в Новом Свете!

Мать была против этого. Она хотела, чтобы я учился в Санкт-Петербургской консерватории. Странно сложилась судьба!..

Отец посадил меня на коня, когда я был еще совсем ребенком. Он был все время ласков и добр, я искренне любил его, но все равно вышло так, как хотела мать – Сережа стал музыкантом.

Эх, Сережа, Сергей, Сергей Васильевич...

Интересно, что бы сказал отец, увидев меня сейчас, уже древнего, но еще бодрого, как бы это парадоксально ни звучало; семидесятилетнего, ведущего концерт в другом полушарии? Скорее всего – просто усмехнулся бы...

У меня нет учеников. Наверное я – плохой учитель. Впрочем, еще в России мне пришлось давать уроки. Как давно это было! Давным-давно и на другой планете...

Но кто сегодня может сказать – “я ученик господина Рахманинова”? Никто. А жаль...

Итак, господа, я продолжаю играть. Следуя лишь музыке, ей одной. И вдруг вспоминаю о “доброжелателях”. Представляю их удивленные лица после случая со светом. Нет, не после случая – а после происшествия! Ничего, пусть привыкают... Хотели сбить мою игру этой вздорной запиской? Не выйдет, господа! Ни вы, ни боль, ни семь десятков не смогут мне помешать.

Вот только опухшие пальцы едва повинуются...

Смена столетий странным образом отразилась на двух русских городах – Москве и Санкт-Петербурге. Эти города – два полюса России, две веры, две надежды, а может быть два заблуждения...

Сама по себе вражда была совершенно естественна.

Добродушная, ленивая, по-русски нетеропливая и недалекая Москва и жилистый, холодный, педантичный, немец-град Петербург никогда по-настоящему не дружили между собой и дружить не будут. Да и как им дружить? Петербург заигрывал с “просвещением”, а в Москве всегда любили теплые шубы, собольи шапки, уют, лопатистые бороды, и царя называли не самодержцем, а “батюшкой”.

Все это относилось и к музыке.

Москва признавала одного бога – Чайковского. У Северной Пальмиры была “Могучая кучка”. Для меня же идеалом всегда был Петр Ильич. Однако шло время, и постепенно творения Римского-Корсакова все больше входили в кровь. “Русская навальня” звучит, конечно же, глупо и вызывающе, но закалка получилась превосходная...

Новые музыкальные идеи, сюжеты и гармония рождались под влиянием этих двух гениев. Какое славное начало! И какой печальный конец... Я уже чувствую близость конца. Страшусь его, пытаюсь отдалить, но тщетно все.

Как хотелось умереть в Европе!

Но, видимо, никуда уже не деться от Нового Света. От Америки. Страны, где так трудно сочинять. Где можно только исполнять, исполнять, исполнять...

Но исполнять с каждым мгновением становится все труднее.

Боль накатывается волнами, туманит мозг и мысли. Кажется, что руки играют отдельно от головы, от глаз, от сердца, от всего меня. Это даже становится интересным – пальцы, словно чужие, подвешены в воздухе над клавишами, и я сижу совершенно отдельно от них и наблюдаю. Оцениваю...

Все это было бы весьма забавным, если не эта дьявольская боль в суставах!

Нечто подобное мне рассказывали первые, по – настоящему серьезные, мастера-виртуозы Пабст и Сафонов. Пабст, ученик легендарного Листа, был смешлив, а Василий Сафонов, напротив, – серьезен. Даже необычайно серьезен! “Помни, Сережа, ты навечно становишься рабом своих пальцев!” – наставлял он.

Веселенький каламбур получается, господа!

Мои пальцы – рабы этой сонаты, я – раб своих собственных пальцев... Что-то в духе “Фигаро” или “Дейли Ньюс”, а может быть даже красной газеты “Правда”. Но, стоп, стоп!.. Подобное уже, кажется, было. Только вот где? Когда? Что-то связанное с руками... Дай-ка, Бог, памяти.

Вспомнил.

Ну, конечно же! Тридцатые, Миннеаполис. Пик успеха. Вершина славы. И как там еще... Забыл. Жалко, местные шелкоперы здорово умели раздувать! Что было, то было. Во всей прессе, на первых полосах, крупным шрифтом – “Прелюд” великого композитора куплен на открытом аукционе за 1 миллион долларов!” “Господин Рахманинов путешествует по Европе только со своим роялем и личным автомобилем!” “Во время гастрольных поездок по Соединенным Штатам за ним следует личный поезд ручной сборки!” “Господин Рахманинов подарил России в знак особой признательности индийского слона и берберийского льва...”

Честное слово, господа, там так и было написано – “берберийского льва!” Насчет слона и льва, конечно же, форменная чушь и обычное газетное пустословие. Да и с поездом они прихватули. Вагон, правда, был. Этого я не отрицаю. Его, действительно, цепляли к поезду, чтобы можно было спокойно отдохнуть, позаниматься на рояле, подумать перед концертом... Однако, эта тюрьма на колесах очень скоро мне надоела, и пришлось ее продать.

Тогда же и началась настоящая фотоохота за господином Рахманиновым! Меня фотографировали везде – на концертах, в гостиницах, у друзей, в магазинах, на улицах... Боже мой, где меня только не снимали! Один из самых отчаянных фотографов пробрался рано утром в отель по водосточной трубе и сделал мой снимок прямо в столовой. Мне пришлось закрыть лицо руками. Но все равно, в тот же вечер, местные издания напечатали этот протестующий жест. А под снимком надпись: “Эти руки стоят миллион”. Надо же, ловко выкрутились каналы!..

Боль становится все нестерпимей, все ужасней. Огненным обручем сдавило виски, и правый глаз уже не видит ничего. Руки немеют. Приходится “бить” по клавишам изо всех сил. Именно – “бить”! Другое слово



здесь не подходит, господа...

Ничего, осталось еще немного. Терпение, Сергей Васильевич, терпение.

Пассаж, второй, третий... А мы вот так можем! И так! И еще вот таким манером... Что это? Кровь? Вздор, мелочи. Ну, кровь, и что же...

Выступившие из-под ногтей красные капельки мгновенно разбегаются по белым клавишам. Хорошо, что на черных они почти незаметны. Ничего страшного, господа! Рахманинов продолжает...

Мне даже на несколько мгновений становится легче, словно с кровью и боль покидает одряхлевший организм. То-то настройщик удивится, обнаружив испачканную клавиатуру. Боюсь, что он проболтается газетчикам, и самое главное – узнает Наталья. А вот это уже и вовсе ни к чему! После окончания надо будет обязательно протереть клавиши.

Обязательно!..

Господи, когда же финал?!

Все, конец сонаты. Откидываюсь назад и за мгновение до потери сознания успеваю рукавом провести по клавишам... Как обычно, в конце концерта пропадает глухота, и в мои опустевшие уши врывается, сметая все на своем пути, шквал оваций, грохот зала; какие-то люди бегут к сцене, у них

на глазах слезы, но я уже не вижу их – другие лица возникают, словно из тумана, удивленная Наталья, Зилоти, Аренский, Ре, хмурый Зверев укоризненно качает пальцем, дети, мать, бабушка, верный Левко и еще кто-то, и все это в вихре, кружась, а затем вдруг тихий Скрябин – смотрит с грустью и говорит, но что он говорит непонятно; а меня уже нет здесь, тихо, медленно, под такой знакомый звон колоколов господин Рахманинов растворяется в огромном опрокинутом небе...

4.

К сожалению Хэку Ховарду не удалось достать спальные места до Калифорнии. Война, объясняли ему везде, куда бы он ни обращался. Когда он пытался сказать, что необходимо срочно доставить больного музыканта домой, в ответ только пожимали плечами – к сожалению, мы ничего не можем сделать для господина Рахманинова.

“Конечно же, – не преминул съязвить я, – что может сделать такая великая держава, как Америка, для одного маленького, вот такого... – я показал Наталье половину мизинца, – музыканта?”

Зря я так сказал, только жену расстроил!..

Ты становишься похожим на злобного Бунина, заметила она. Вот как! Лестно, лестно... А я-то думал, что похож на обычного старого ворчуна. Сравнение с Иваном Алексеевичем – это, господа, совсем не плохо, поверьте мне.

Ховарду ничего не оставалось, как взять билеты в сидячий вагон. Отправились... Поезд полз медленнее улитки, и трое долгих суток показались мне вечностью. Обморок, который случился на концерте, врачи приписали моему возрасту, да я, впрочем, с ними и не спорил. Возраст, так возраст...

Стараясь отвлечь меня от мрачных мыслей, Наталья стала рассказывать о своих планах, связанных с юбилеем. Никаких юбилеев, отрезал я... Жена, обидевшись, отвернулась к окну, а я, чувствуя себя немного сконфуженным, попробовал что-то насвистеть. Но ничего путного не получилось. Вообще то я всегда свистел неважно, частенько перевирая даже простенький мотивчик,

но как-то раз это меня здорово выручило. Давно, еще в консерватории...

На последнем экзамене по гармонии нам давали задачи, которые нужно было решить без фортепиано. Помню, мне досталось что-то совершенно несуразное. Экзамен начинался часов в девять утра и по времени не ограничивался. Делай, не хочу!.. Больше всех за меня волновался Аренский. К тому же, в тот раз именно Чайковский являлся почетным членом экзаменационной комиссии. Сам Чайковский! Мой бог и кумир... Благодаря этому факту, экзамен носил особо торжественный характер.

Сидим, решаем задачки...

Ученики один за другим показывают Аренскому свои листы, и он каждый раз недовольно морщится. Все сдали свои работы, а я сижу...

Час сижу, два сижу, три сижу...

Вот незадача!

Честно говоря, я запутался в довольно смелой для ученика модуляции и никак не мог найти верный ход, чтобы с честью выбраться из нее. Смешная ситуация – комиссия ждет, а я сижу, смотрю в окно, думаю о разном. Начал насвистывать. Замечаю, что у Чайковского брови полезли вверх... Ну, думаю, дела!

Они попили чай. Я думаю.

Они перекурили. Я думаю.

Они принялись за полдник. А я все размышляю!..

Наконец, уже под вечер, работа была закончена и передана в руки Аренского. На учителя было страшно смотреть. На меня, я думаю, тоже... Но едва Аренский взглянул на мой листок, как тотчас просиял – “Молодцом!”.

Хвастунишка, заметила Наталья и не выдержав все же спросила: “А при чем здесь свист?” Голубушка, я же решил задачку при помощи свиста!.. Сказал и расхохотался. Хорошо, что газетчики не слышат нашего разговора. Но если серьезно, то именно тогда Чайковский поставил мне пятерку с четырьмя плюсами. Такого еще ни у кого не было!..

Мелочь, господа, а все же приятно.

Так бывает, наверное, только у русских – какой-нибудь малюсенький пустячок, вздор, семечки, ерундовина или безделица, а нет же, как ни крути ее, а хороша.



Сергей и Наталья Рахманиновы в саду виллы в Нью-Джерси. Фото Дж. Энглес.

Приятна! Одно удовольствие... Ничего уж тут не попишешь – ну любит господин Рахmaniнов приятности, хоть ты его режь!..

Наутро стало хуже – открылось кровохарканье.

Впрочем, оно очень скоро кончилось. И через сутки, к самому концу недели, поезд наконец дополз до побережья. Вот мы и дома, обрадовалась Наталья, едва мы въехали в Лос-Анжелес. Она обрадовалась, а я задумался – где же твой дом, господин Рахmaniнов?...

На гигантском вокзале нас уже ждала карета “скорой помощи”. Я попробовал было заартачиться, но почти все силы ушли на дорогу, и пришлось уступить. Тем более, что в Беверли Хиллз – Голицын. Чудо, а не доктор...

Однако санитары повезли меня в местную больницу!

Этого еще не хватало!.. Громкие протесты так и остались словами, Наталья стояла насмерть, ну что тут можно поделаться – жена. В больничке, после тщательного осмотра, обнаружили воспаление легкого и следы плеврита. Экая чепуха! Да я здоров. Здоровее не бывает. Не верите? Давайте бороться, господин главный врач... Не хотите? Ну тогда – вот с этим здоровяком – санитаром. Предлагаю пари: кто выиграет, тот покидает больницу. Согласны?

Наталья, я же шучу. Улыбнись, милая...

Но маленькая победа над всемогущей американской медициной все же одержана: внутренне торжествующий, но внешне, как всегда, невозмутимый еду домой. В крошечный садовый участок, расположенный на горе, откуда открывается чудесный вид на долину...

Сейчас там тихо, покойно, а вот год назад...

Года полтора назад, неожиданно, без предупреждения, приехали почти все друзья – Стравинский, Рубинштейн, Бакалейников, Гофман, Горовец. Вечером мы закатили такой концерт!.. Каждый блистал мастерством, неожиданным музыкальным юмором. А техника! Боже мой, какую они показывали технику!..

Голицын приходит каждый день. И это весьма странно.

Осматривает внимательно меня. Что-то мычит под нос перед уходом. Ему помогает русская сестра милосердия. Когда мрачно-го Голицына нет поблизости, она быстро, шепотом рассказывает последние новости из России. Все что там происходит, конечно же, волнительно, но виду я не подаю – Наталья строго-настрого запретила всем беспокоить меня...

Кажется, Голицын что-то скрывает от меня. Собрал зачем-то дурацкий консилиум! Через несколько дней обещает вынести “вердикт”. Эти несколько дней тянутся уже вторую неделю, но я делаю вид, что так и надо. Жил же я до этого без всякого “вердикта”!..

Хотя это не так уж и смешно, если задуматься.

Мистически боюсь смерти. И от этого постоянно возникает желание создавать что-то своими руками. Возможно, поэтому и возник Сенар...

Сенар. СЕ-НА-Р. Простое сочетание – Сергей и Наталья Рахmaniновы. Этот участок находился недалеко от Люцерна, на берегу Фирвальдштетского озера. Огромная глыба скалы. Дожди, ветры, сырость, мгла... Дочерям и жене место вначале не понравилось.

Но я-то видел, что стоит за этими валунами!

И постарался показать им. Целыми днями, вместе с хмурым долговязым архитектором, мы карабкались то – вверх, то – вниз, намечая контуры будущего особняка. Затем незаметно горы гравия, кирпича и леса растаяли и возник дом. Красивый, уютный, надежный. Особняк, а за ним – парк...

Я создал его для тебя, Наталья.

И дочерям было уютно там...

Было. Все в прошлом. А как все замечательно начиналось! После окончания сезона, мы с Натальей поспешили в Швейцарию, чтобы лично наблюдать за строительством. Обычно, с шести утра начиналась суета. Шум. Грохот. Взрывы. Фонтанами разлетались в стороны пудовые глыбы... Рабочие тотчас ловко убирали их, засыпали ямы песком. Но русские, ей-Богу, и в Швейцарии – русские! Не успели мы начать строительство, как повсюду появился какой-то мусор,

грязь, в ямах тотчас завелись лягушки. И все это стало подозрительно походить на родную Ивановку! Кстати, так же, как и в России, не хотелось заниматься. Приходилось силой заставлять себя...

И через несколько лет, когда уже были закончены дом и парк, парходики, которые совершали экскурсии из Люцерна по озеру, делали специальный крюк, чтобы показать пассажирам вид Сенара с его пышными деревьями, розами, клумбами и необычным особняком. Выстроенный в стиле модерн, он был последним словом комфорта.

При каждой спальне – ванна. Автоматическое масляное отопление. Лифт, поднимающий на верхние этажи. Прачечная, сушильни и прочее, прочее...

Но самая лучшая комната – студия!

С громадными окнами, зеркальная, всегда залитая солнцем, она была расположена так, что из нее открывался вид на озеро, на Монте Пилатус, на горы...

Да... Это был настоящий дом.

А как там сочинялось!

Судьба не дает покоя душе. И вновь, уже в который раз, я вынужден бежать из Европы. Август... Пароход "Аквитания"... Окна в каютах, замазанные черной краской... Тихие пассажиры...

И оставшиеся во Франции дочь, внуки, друзья.

Когда же это кончится?

Может быть мне не хватает дома? Настоящего, большого дома – шумного и хлопотливого. С детьми, внуками, правнуками, с суетой нянек, со всеми оставшимися в живых родными и близкими...

Бросить, к черту, эти поездки, концерты, гастроли, сезоны и торжества. Уединиться и вновь, как раньше, сочинять. Надо

обязательно сообщить об этом решении Наталье. Я думаю, она обрадуется...

Что-то Наталья сегодня грустна.

И врачи тянут со своим "вердиктом"...

Надо будет попросить сестру милосердия "поймать" по радиоприемнику Москву. Вчера ей это прекрасно удалось – наткнулась на какой-то совершенно дикий перепляс "краснознаменного ансамбля". Что-то скифское, лихое, но, к сожалению, абсолютно безвкусное. Однако послушать было забавно.

Не грусти, Наталья. Я построю тебе новый Сенар. Нужно лишь подобрать подходящее место. На чем остановимся? Нет, в Америке строиться не хочу. Почему, почему... Не хочу, и все! Остается Россия или Европа. Есть, конечно, Австралия, но в Европе, по-моему, как-то попримичнее... Знаю, что война. Но не может же она длиться вечно! Когда-нибудь это кончится. Может быть на следующий год. Скорее всего так и будет.

Подожди, что-то грудь сдавило.

Ненавижу смерть!

Сейчас все пройдет. Не волнуйся. О чем мы говорили? О доме?... О, это будет замечательный дом – огромный, уютный, родной... С концертами я покончу, даю тебе честное благородное, Наталья. Только напоследок съездим в Австралию и Японию. Хочется повидать живого микадо!

У тебя слезы на глазах? Почему?

P. S. Через несколько дней, в ночь на 28 марта, в полвторого ночи Сергей Васильевич Рахманинов, не приходя в себя, скончался. У композитора был рак печени и легких, но он так и не узнал об этом. Последнее, что для него могла сделать жена – это скрыть истинную причину недомогания...

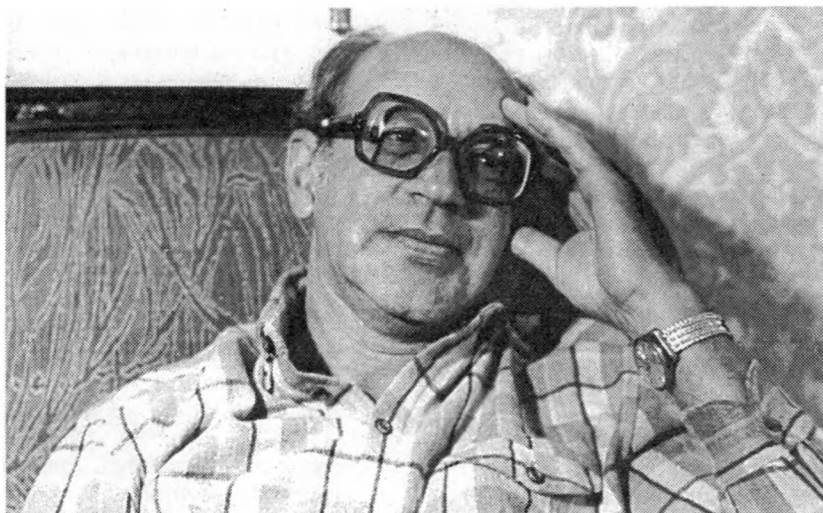
Редакция журнала благодарит Музей музыкальной культуры им. Глинки за предоставленные материалы из Фонда Рахманинова

Как было объявлено ранее, редакция журнала "Киносценарии" в ближайших номерах журнала (а далее – в специальном приложении) начинает публикацию сценарных заявок. Заявка будет опубликована при соблюдении двух условий: объем заявки не должен превышать 5 страниц машинописного текста, и к заявке должен быть приложен бланк денежного почтового перевода на сумму 50 долларов в рублях по курсу на день отправления перевода. Итак, дерзайте, – и с вашим творчеством ознакомятся продюсеры, киномагнаты, алчущие новых идей режиссеры! Не упустите свой шанс всего за 50 долларов!

Заявки присылайте по адресу:

103006, Москва, Воротниковский пер., д. 12.

Валерий Фрид



58 1/2

VII. Комендантский (Окончание)

Придурки жили в бараке ИТР – все, кроме самых важных: коменданта, зав. ШИЗО, старшего нарядчика. Тем полагались отдельные кабинки. ИТР – инженерно-техническими работниками – считались и повара, и бухгалтера, и кладовщики.

Однажды зашел ко мне Петька Якир. Мы сидели, болтали. Петька рассказывал, как замечательно они жили до ареста отца – по моему, даже на курорт в Чехословакию ездили. Рассказывал про седого красавца Балицкого, отцовского приятеля – украинского наркома НКВД. Его тоже расстреляли...

И вдруг на соседних нарах вскинулся пухленький старичок, сказал взволнованно – каким-то жалобно лающим голосом:

– Товарищ Якир! А, товарищ Якир! Я ведь вашего отца знал. Хорошо знал... И Балицкого тоже знал – работали вместе.

Это был Кузьма Горин, старый чекист, сидевший с незапамятных времен. Говорили, что однажды во время обхода его увидел на комендантском полковник Коробицын, начальник Каргопольлага, и распорядился пристроить Кузьму на какое-нибудь теплое местечко: вроде бы Коробицын служил когда-то под его началом. И Горина поставили заведовать стационарной кухней – т. е. кухней при лазарете.

Жить в бараке ИТР было хорошо. И тепло, и клопов поменьше, и надзор не трево-

жит частыми бессмысленными шмонами, и сапоги не надо класть на ночь под подушку – чтоб не украли. Якир был бригадиром и жил со своими в другом бараке; там зимой подушка примерзала к стене. Топили хорошо – все-таки лесной лагерь, – и посередине барака было тепло. Но стены проконопачены халтурно, оконная рама прилегает неплотно – от этого и обледеневала подушка. До Итэровского я тоже там жил, спал рядом с Петькой и тоже отдирали по утрам подушку от стены – но не ругал строителей: помнил, как сам туфтил, шпаклевал стамеской баню на Хлам Озере.

От моей дружбы с Якиром выигрывала вся его бригада: я им начислял питание по высшей шкале, делая вид, что путаю нормы выработки лесоруба с нормами на распиловку дров. Если бы придралась ревизия, отговорился бы неопытностью, несмысленностью. Но никто не придрался. Правда, очень скоро лафе пришел конец.

Началось с событий, к нам прямого отношения не имеющих.

Был на комендантском бригадир Толик Анчаков, не блатной, но приблатненный. С законными ворами отношения у него не сложились: проигрался в стос, рассчитаться не смог и настучал куму, будто воры проиграли в карты коменданта лагпункта Надараю. И что уже приговорен и где-то спрятан топор.

В тот же день в шалман – так называется воровской барак – заявился опер вместе с Надараей и двумя стрелками-вохровцами. Вообще-то входить в зону с оружием не положено: зазеваешься, налетят заключенные и отберут. Но в исключительных случаях это правило нарушалось. Кум потребовал:

– Отдайте колун, по-хорошему прошу!

Выполнить его просьбу было трудно, поскольку ни колуна, ни топора в бараке не имелось: никто из присутствующих убивать Надараю не собирался. Поэтому переговоры, как пишут в коммюнике, зашли в тупик.

Всех этих воров я знал, они пришли с нашим этапом – в том числе и Петро Антипов, и Иван-дурак, и Корзубый. Был среди них и москвич Валька Родин, “домашний вор”, т. е. живший в семье (не путать с домушником, специалистом по ограблению квартир). Домашних воров блатные не очень уважают. Полноценный, полноправный вор – “полнота” – это босяк, не имеющий по-

стоянного пристанища. И понятно, что Вальке Родину, “молодяку”, до смерти хотелось доказать своим, что он ничуть не хуже их. До смерти и получилось: “насовав во все дыхательные и пихательные”, т. е. облаяв по всем правилам кума, Надараю и вохру, Валька картинно прыгнул с верхних нар. А вохровец с перепугу выстрелил в него. Целил в ноги, но ведь прыгая с нар, приземляешься на корточках – и пуля попала Вальке в живот. Через два дня он в жутких мученьях умер в лазарете – весь лагпункт слышал его крики.

Опасаясь, что воры устроят “шумок”, их спешно отправили на штрафную командировку. Этапировали туда и Толика Анчакова, но он, боясь расправы, в первый же день отрубил себе палец и вернулся к нам. Это не помогло, палец зажил – вот уж действительно, зажило как на собаке! – и Толика через неделю отправили обратно на Юрк Ручей. Там блатные повесили его на чердаке, но заметил надзиратель, и полузадушенного Анчакова вынули из петли. Тогда он, то ли с целью оправдаться перед ворами, то ли чтоб вырваться со штрафного любой ценой, кинулся с ножом на зав. ШИЗО Бирюзкина, пожилого одноглазого суку. Это наконец сработало: Анчакова препроводили на комендантский, а от нас отправили в следственный изолятор на станцию Ерцево – чтобы судить.

Всю эту длинную историю я рассказал только потому, что в день отправки воровского этапа на Юрк Ручей ко мне пришел грустный Петька Якир и сообщил, что его снимают с бригадирства, этапируют с блатными на штрафняк. С ворьем он “водил коня”, т. е. якшался; они и называли его уважительно, как своего – не Петька, а Петро. Но ни в каких лагерных грехах Якир повинен не был. За что же на штрафняк?!

– Посылают разрабатывать Ивана Ивкина, – объяснил Петька. – Я ж у них на кука-не.

А я опять не понял – у кого “у них”? Да и термин “разрабатывать” в таком контексте я слышал первый раз в жизни. И тогда Петька поведал мне свою невеселую историю. Оказывается, еще когда он отбывал свой первый срок, совсем мальчишкой, его завербовали “органы”. И вот теперь он должен был по заданию кума ехать с блатными на Юрк Ручей, чтобы там втереться в доверие к Ивану Ивкину и выяснить, не скрыл ли тот



Лагерное убийство. Кадр из фильма "Затерянный в Сибири". Фото В. Кречета.

чего-нибудь от следствия. Потому что, хотя Ивкин считался законным вором, срок он получил по ст. 58-1б, измена родине – побывал в финском плену.

Не знаю, что заставило Якира "расшифроваться". Но был он по-блатному сентиментален и в нервном порыве время от времени раскрывал передо мною душу, рассказывая и такое, о чем не рассказывают.

Скажу прямо – я не удивился и не возмутился. Знал, как делаются такие дела. Меня и самого вербовали. Случилось это в Алма-Ате, куда эвакуировали наш институт. Времена были голодные, мы выкручивались, как могли. Продавали третью декаду хлебной карточки, чтобы купить что-нибудь из жратвы – сейчас. А что будет в конце месяца – так до этого надо еще дожить!.. Отоваривали поддельные талоны, которые мастерски изготовляли ребята-мультипликаторы – за это нам полагалась половина добычи. Этой деятельностью я занимался так активно, что три раза попадал в милицию – по счастью, в разные отделения, так что рецидивистом у них не числился. Но оказалось, что в НКВД, куда меня пригласили под каким-то невинным предлогом, обо всех этих

приводах знали. И начали, как водится, с угроз: из комсомола выгонят, из института исключат, возможно, и судить будем! Потом перешли на доверительный тон. Вы же советский человек? Ничего плохого от вас мы не потребуем – напишите объективные характеристики на студентов, которые нас интересуют, и только.

Меня продержали там до ночи, то пугая, то уговаривая – и я дрогнул, подписал согласие давать информацию. "Псевдонимом" взял фамилию матери – Высоцкий.

Они сразу стали милы и доброжелательны, заверили: если опять попадетесь с поддельными карточками – ничего страшного, сразу звоните из милиции вот по этому номеру... И сами понимаете, не надо разглашать.

Я вернулся в общежитие и немедленно разгласил – рассказал Юлику Дунскому. Три дня я не мог ни спать, ни есть. Сразу похудел так, что все испугались: что с тобой? Потом уже я узнал, что есть такой медицинский термин – "катастрофическая хахексия", истощение на почве переживаний.

Мне велено было написать характеристики на однокурсника Мишку Мелкумова, на

студента режиссерского факультета Ярика Лапшина и на старшекурсника Лазаря Каца. (Мелкумов сейчас в Ташкенте, засл. деят. иск. Кара-Калпакской АССР; Ярополк Лапшин в Екатеринбурге, народный артист РСФСР; а Кац стал прозаиком Лазарем Карелиным и секретарем Союза писателей).

Каждую характеристику я отдавал на явочной квартире энкаведешнику по фамилии Филиппов, крепенькому, невысокому, со сплошным рядом золотых зубов – наверно, был из оперативников. При первой же встрече он заложил своего коллегу, капитана Ханнина. Ханин, очень импозантный господин, ходил во ВГИК смотреть трофейные фильмы, выдавая себя за представителя цензуры.

– Да нет, врет. Работник нашего отдела, – сказал Филиппов.

Он слегка робел перед моей интеллигентностью (очки, киноинститут), был вежлив и дружелюбен – но выражал сожаление, что в моих писаньях только общие рассуждения, а фактов нет.

Не знаю, как оно обернулось бы дальше, но бог помог: это было в сентябре 1943 года, а уже в конце октября мы реэвакуировались – ВГИК вернулся в Москву. Я боялся, что меня по эстафете передадут московским чекистам, но этого не случилось, и мы с Юликом вздохнули с облегчением.

В лагере меня не пробовали вербовать, а после делали две попытки. Первый раз разговор происходил в Инте, в комендатуре, второй – в Москве, на улице Горького, в знаменитом передвинутом доме, где до войны жил Леша Сухов. Одна из квартир на первом этаже значилась как “Помещение N...” – не помню, какой. Но к этому времени я знал, как надо разговаривать в подобных случаях. Не дерзил, не грубил и даже уверял, что не считаю их работу чем-то низким. И если бы мне случилось носить голубые погоны, служил бы добросовестно. Но в данных обстоятельствах...

– Вы же сами будете презирать меня. Будете думать: только что из лагеря, струсил, боится, что опять посадят.

– Почему же? Не будем думать!

– Будете, будете, – мягко настаивал я.

И в конце концов, уже поняв, что толку не будет, оба раза они завершали разговор до смешного одинаково:

– Ну, ладно. Но если б вы узнали, что кто-то хочет взорвать (не помню, что в Моск-

ве; в Инте это была электростанция)...?

– Рассказал бы сразу. Сам прибежал бы!

На том и расставались – я довольный собой, а они, по-моему, не очень.

Могу рассказать и другой случай, уже не ко мне относящийся.

В сорок четвертом году, незадолго до нашего ареста, у меня на квартире в Столешниковом жила первокурсница Нора Грошева. Во ВГИК она поступила с моей помощью – потому что были осложняющие обстоятельства.

В начале войны Нора побывала на оккупированной территории и успела закончить только восемь классов. В справке, выданной вместо аттестата, она неискусно переправила восьмерку на десятку и с этой липовой бумажкой хотела поступить в наш институт. Девочка она была способная, ее повесть о жизни под оккупацией нам с Юликом очень понравилась: о таком никто и нигде еще не писал. И мы попросили тех же умельцев-мультипликаторов изготовить ей красивую полноценную справку – штамп, печать, подписи и все прочее.

Это было сделано, Норка поступила на сценарный факультет и прониклась к нам с Юликом благодарностью и доверием.

Поэтому именно к нам прибежала она в феврале сорок четвертого, испуганная и растерянная. Ей нужен был совет. Оказалось, что она, вдохновленная удачей с поддельной справкой, решила избавиться от немецкого штампа “Stadtkommandantur” в паспорте: афишировать пребывание на оккупированной территории было совершенно ни к чему. И тогда один из Норкиных ухажеров предложил ей “потерять” паспорт; а взамен он брался устроить ей новый, без штампа. И устроил – только вместо подписи начальника 50-го отделения милиции там стояла почему-то подпись самого ухажера. Не прошло и недели, как Нору вызвали на Лубянку. По ее словам, офицер-энкаведешник первым делом вынул из ящика и положил на стол, рядом с телефоном, большой черный пистолет. Затем взял ее паспорт и потребовал объяснить, каким образом она добыла эту фальшивку. Нора сделала то, что делают все женщины в затруднительных ситуациях – разрыдалась. Офицер стал утешать ее: мы знаем этого прохвоста, давно следим за ним... Это он интересуется нас, а не вы. (Врал, конечно. Думаю, что всю эту провокацию они затеяли для того, чтобы легче

завербовать Норку: она ведь была из нашей компании, а за нами – чего мы не знали – уже шла слежка. И “ухажер” был, без сомнения, их человеком.) Короче, офицер пообещал, что Нора получит настоящий паспорт; а вообще-то они знают, что у нее хорошая память, большие литературные способности – так не согласится ли она... и т.д. “Ведь вы советский человек?” Ей даже дали три дня на размышления – и она решила размышлять вместе с нами.

Что мы могли посоветовать? Девушке грозила вполне реальная опасность. Попытка скрыть пребывание в оккупации, подделка паспорта – за это могли не только выгнать из ВГИКа, но и посадить. И мы сказали: соглашайся. Пиши им какую-нибудь чушь и поподробней, чтоб они сами от тебя отцепились, поняв, что связались с дурочкой. Жалуйся на то, что разговариваешь во сне и боишься проболтаться – ну и все такое.

Нора так и поступила. Ей действительно сделали новый паспорт; но уже через несколько месяцев после нашего ареста она бросила институт и удрала из Москвы в Калининград, бывший Кенигсберг.

Лет шесть назад мы увиделись в Москве. Она стала журналисткой, живет и работает там же, в Калининграде. А пришлось ей – тогда, в сорок четвертом – писать что-нибудь про нас, я не спрашивал. Да оно и неважно...

Итак, я не удивился и не возмущился, услышав про задание, которое получил Якир перед отправкой на Юрк Ручей. И больше мы не разговаривали на эту тему – до встречи в Москве, когда и он, и мы с Юлием вернулись из лагерей. Шел уже пятьдесят седьмой год. Отозвав Петра в сторонку, я спросил:

– Скажи, они от тебя отвязались?

Он искренне удивился:

– Кто?

– Ну помнишь, ты мне рассказывал... Про Ивана Ивкина... Что ты у них на крючке.

А он, представьте себе, забыл. Скривился, помрачнел:

– А-а... Да, давно отвязались, давно... Но ты никому не рассказывал?

– Нет.

– И не надо.

Я и не рассказывал – пока не началась Петькина диссидентская активность.

Кое-что нас с Юлием Дунским удивляло и раньше. Подозрительным казалось, что

Якира, с его восемью классами, после лагеря приняли в институт – Историко-Архивный, живший под покровительством “органов”. Странно было, что у Петькиных сподвижников случаются неприятности, а с ним все в порядке. Слышали мы и такую историю: группа диссидентов шла под его предводительством на Красную Площадь протестовать, не скажу сейчас, против чего; а Якир в последнюю минуту вспомнил, что ему надо зайти на почту, дать телеграмму в Киев – чтоб и там устроили демонстрацию протеста. И всех протестантов, кроме Петьки, на площади арестовали...

Много чего слышали. Но все равно, из какой-то нелепой, может быть, лояльности, мы, предупреждая близких людей, не говорили прямо: “Якир стукач”, а остерегали: “Он у них под таким ярким прожектором, что лучше держаться подальше – а то ведь можно попасть в непонятную и непромокаемую”.

Только Мише Левину и Нинке Гинзбург, в девичестве Ермаковой, мы объяснили все прямым текстом, без эвфемизмов – потому что очень уж настойчиво Петька стал вымогать подписи у Мишиного тестя академика Леонтовича и Нининого мужа академика Гинзбурга.

Были у нас кое-какие сведения и о неблагоприятной роли, которую Якир играл во время воркутинской забастовки зеков (лагерный срок он кончал на Воркуте). Но об этом мы молчали: все-таки слухи и умозаключения недоказательны – не то что наш с Петькой разговор на Комендантском. А из него я помню каждое слово и “готов дать правдивые показания”. Только это никому уже не нужно: Якира давно нет в живых; забыто уже и его поведение на процессе – позорное с точки зрения тех, кто не знал истинного положения дел, и естественное в глазах тех, кто знает.

Интеллигентам свойственно искать и находить оправдание не только собственным слабостям, но и слабостям своих политических кумиров. Некоторые и сейчас верят версии, придуманной во время суда над Якиром и Красиным: Петр Ионович – честный и отважный борец с режимом, но, к сожалению, алкоголик, больной человек. Следствие пользовалось этим, Якира мучили, не давая водки, и вымогали признания в обмен на 200 граммов.

Но другие, в том числе Ильюша Габай, прелестный парень, идеалист в лучшем зна-

чении слова, поняли все, как надо. Я предполагал, а теперь и его друзья подтвердили, что и покончил с собой Илья из-за жестокого разочарования в идейном вожде. Ну, не только из-за этого: были, говорят, и другие причины.

Меньше всего я хочу, чтобы создалось впечатление, будто Петр Якир был просто-напросто стукачом, заурядным сексотом. Уверен, что он искренне разделял диссидентские идеи и страстно желал крушения советской системы. Но судьба связала его с "органами", и он пошел по пути всех знаменитых провокаторов прошлого – таких, как Азеф, таких, как Малиновский. Он работал и на кагебешных своих хозяев, и на дело революции (диссидентское движение кто-то неглупый назвал "ползучей революцией"). Причем Якир наверняка утешал себя тем, что, выдавая мелкую сошку, он покупает свободу действий себе, лидеру движения. Так думать было удобно. А может, была еще в этом и Достоевщина, бесовская радость от сознания своей власти и над теми, и над другими.

Эта наша с Юлием теория не особенно оригинальна, да я и не претендую ни на что. Я просто рассказываю, что знаю и что думаю. *

А сейчас вернусь в 1946 год, на Комендантский лагпункт Обозерского отделения Каргопольлага.

Пока будущий вождь московских диссидентов выполнял на Юрк Ручье особое задание, у меня начался первый лагерный роман – с Петькиной будущей женой Ритой Савенковой, светловолосой, всегда грустной девочкой. Коротко стриженная, худенькая, она похожа была не на взрослую женщину, а на двенадцатилетнего мальчика. А между тем у нее в ее двадцать лет уже была за плечами жутковатая любовная история. Вообще с ее биографией обстояло не так все просто. Во-первых, она была не Рита, а Валентина. Во-вторых, не Ивановна, а Георгиевна. В-третьих, не Савенкова, а Рижская. По Ритиным словам, ее отец Георгий Рижский еще в начале тридцатых годов сбежал каким-то образом за границу, и дед Иван, охраняя девочку от неприятностей, дал ей свою фамилию и новое отчество. Как видим, от неприятностей дед ее не уберег, но они никак не связанные были с ее именами, отчествами и фамилиями. На воле, по паспорту, и в лагере, по формуляру, она числи-

лась Валентиной Ивановной Савенковой. Но я буду называть ее, как звал тогда – Ритой.

Как и многие другие девушки из Мурманска и Архангельска, в лагерь она попала из-за союзников. Ее первым любовником был англичанин, сотрудник какой-то миссии. Иностранцев советские девушки всегда любили. ** А этот еще и подкармливал Ритку и ее стариков. Все было бы хорошо, но он оказался извращенцем – садистом в прямом сексопатологическом смысле. Он мучил свою любовницу, щипал, выкручивал руки, колот булавками – и добился того, что у Риты появилось стойкое отвращение к физической близости. Свой арест и пятилетний срок она приняла с облегчением.

Не знаю, что ее привлекло во мне – скорее всего отсутствие грубости и агрессивности. Я Риту очень жалел, старался обращаться с ней как можно осторожней и нежнее.

Попробовал убраться ее с общих работ. Для этого я пошел к доктору Куркчи, давнему сидельцу, крымскому татарину. Говорили, что он граф. Понятия не имею, водились ли среди крымских татар графы, но что Куркчи был интеллигентнейшим человеком с аристократическими манерами – это точно.

Стесняясь своего нахальства, я косноязычно попросил:

– Доктор, как бы это... как бы устроить Савенковой кант? Она же совсем фитилем стала, дошла на общих... Может, сунете в стационар?

В переводе это значило: как бы облегчить Савенковой жизнь? Она превратилась в дистрофика, отошала на общих работах. Может быть, положите ее в больницу?

Куркчи посмотрел на меня с сожалением:

– Фрид, дорогой мой Фрид. Что за язык? Вы первый год в лагере – подумайте, что с вами будет к концу срока?

Я смутился, покраснел, пробормотал такое же косноязычное извинение. Доктор был, конечно, прав – но только в широком смысле. Надо, надо было стараться сохранить человеческий облик. Но сказать по правде, о конце срока я тогда не думал. Это теперь, когда мне за семьдесят, десять лет выглядят коротким отрезком биографии. А тогда казалось, конца им не будет. Что же касается лексики, которая так шокировала доктора Куркчи, тут я останусь при особом мнении: феня – одно из моих важных приобретений.

Трудно рассказывать о лагере, не пользуясь лагерным жаргоном. Солженицын с блеском доказал это не только “Одним днем Ивана Денисовича”, но и “Архипелагом”...

Медики в лагере – большая сила. Это понимали все, даже блатные. Хотя случилось и такое: вор идет в санчасть, просит освобождение.

– На что жалуешься? – спрашивает врач.

– Живот болит. – Урка задирает рубаху, и доктор видит у него на пузе пресловутый “колуи” с засунутым под штаны топористем. Как тут не дать освобождения?.. Но до такого редко доходило: с врачами-зеками можно было договориться по-хорошему.

Доктор Куркчи не положил Риту в лазарет, он сделал лучше: велел нарядчику перевести ее в пошивочную мастерскую.

А в стационар она попала потом, совсем по другому делу. На комендантском уже год как не было сахара. В конце концов его привезли и всю задолженность ликвидировали одним махом. Сахар был неочищенный – бурый, как будто политый нефтью. Зеки шипели: сами, падлы, белый хавают, а нам какой?! Но рады были и бурому. (Уже в наши дни я узнал, что просвещенные европейцы и американцы только такой неочищенный сахар и признают: он якобы полезней белого.)

Ритке Савенковой причиталось килограмма два. Ей насыпали чуть не полный котелок; она залезла с ним на верхние нары и слопала все за один присест – ела, ела и не могла остановиться. А к вечеру температура сорок. Взяли девочку в лазарет, еле выходили. (Вот вам и “полезней белого”. “Что немцу смерть, то русскому здорово” – и наоборот.)

Ко мне Рита очень привязалась, но длиться долго нашему роману было не суждено. В один совсем не прекрасный день нарядчик объявил мне: готовься к этапу, поедешь в Ерцево.

Станция Ерцево южнее Кодина, там располагалось управление Каргопольлага и несколько его лагпунктов. Ехать ужасно не хотелось: здесь у меня была непыльная работенка, друзья и – не последнее дело! – любовь. Я кинулся в санчасть к доку Соловьеву. Доком, на американский манер, мы его звали за очки в золоченой оправе, пижонские усики и китель, на котором все армейские пуговицы были разные: английская, немецкая, польская, румынская. Такое у него

было хобби. Медицина тоже была не профессией. Доктором Саша Соловьев не был да и фельдшером стал в лагере: в Москве его главным занятием была игра на скачках. Ко мне, как к земляку – он жил когда-то в нашем Столешниковом переулке, – док благоволил. Я спросил совета: как бы “закосить”, лечь в стационар, чтоб не идти на этап?

Соловьев объяснил, что есть верный способ нагнать температуру: надо ввести под кожу кубиков двадцать дистиллированной воды.

– Но, к сожалению, – развел руками док, – дистиллированной воды у меня нет.

– У меня есть! – Я выскочил из барака; на крыльце стояла бочка с дождевой водой. Набрал поллитровую банку, я вернулся к фельдшеру. Док не стал уточнять происхождение воды – игрок, человек азартный, он был заинтересован в исходе эксперимента. Набрал грязноватую воду в шприц, закатал мне под кожу полную порцию – и никакого эффекта! Ни воспаления, ни температуры – ничего. Соловьев удивился. Подумав, сказал:

– Есть еще один способ. Я не пробовал, но блатные это практикуют. Надо очистить небольшую луковичку, надрезать и ввести в задний проход.

Я огорчился: луковичку у меня не было.

– У меня есть! – с готовностью сказал док. Сказано – сделано. Очистили, надрезали, ввели куда следовало – и снова нулевой результат. Я целые сутки ходил с этой луковичкой, даже переночевал в таком виде со своей девушкой. Измерили температуру – 36 и 6!

Петька Якир – он только что вернулся с Юрк Ручья – объяснил мне, что температуру можно повысить простым напряжением мышц. Сам он не раз так делал: сидел раздетый до пояса, в каждой подмышке по градуснику (хитрое нововведение фельдшера Загорулько), и пыжась, напрягая мышцы, выжимал десятые градуса – до субфебрильной температуры 37, 3 – 37, 4. Если делать это изо дня в день и притом покашливать, могут положить в лазарет – с подозрением на ТБЦ.

Я этого не умел. Попробовал – не получилось. И решил воспользоваться тем, что прием в этот день вел не бдительный Загорулько, а старый доктор Розенрайх, который два градусника не ставил. Да ему и не

до меня было: утром он в очередной раз извлек из кабинки пожарников свою возлюбленную, пышнотелую рыжую Машку, и пребывал в расстроенных чувствах. И я, вспомнив школьный, а также лубянский опыт, нащелкал себе ногтем тридцать восемь и одну. По болезни меня "отставили от этапа" – такая была формулировка. Но рано мы с Петькой и Ритой радовались. Уже через два дня пришла на лагпункт телефонограмма; "С первым проходящим вагонзаком отправить со всеми вещами и учетно-хозяйственными документами... и т. д." Делать было нечего, пришлось собираться в дорогу.

Ритка плакала не переставая. Чтоб развеселить ее, я составил акт передачи по всей форме: "Передается Петру Якиру в состоянии, не требующем капитального ремонта и годном к эксплуатации..." Нам с Петькой казалось это очень остроумным; Рите не казалось. Но честное слово, никакого непристойного смысла мы в текст не вкладывали. Просто Петька пообещал заботиться о Рите, опекать ее по-дружески.

Я уехал, они остались. Прошло какое-то время, и у них начался роман. Как говорил армянин из анекдота: "Ишто думал, ишто вышло". Прошло еще несколько месяцев, и малосрочница Рита ушла на волю уже беременной. И вскоре родила Петьке дочку Иру.

В 1957 году мы с Юлием Дунским вернулись с "вечного поселения" в Москву и встретились с Якирами: Рита – теперь уже Валя – разыскала мою маму и от нее узнала, что мы приехали. За это время Петька успел побывать на Воркуте и в Сибири на поселении. Он сам попросился туда, потому что там уже были Валя с дочкой. Но это другая, грустная и трогательная история; не мне ее рассказывать.

А девочку Иру я увидел, когда ей было лет семнадцать – и с тех пор не встречал. Как я уже писал, наши с Якиром пути сильно разошлись. К сожалению, и с Валею мы перестали видеться.

Теперь ни Петра, ни Вали нет в живых. А Ира замужем за Юлием Кимом. Мне не хочется, чтобы мои записки попали им на глаза; но и умолчать о провокаторстве Якира я не имею права: он слишком заметная фигура в истории диссидентского движения. Для будущих историков я и решил написать, как было.

Примечания автора

*) Мира Уборевич-Боровская рассказала мне недавно, что, вернувшись из первого заключения, Якир и им со Светланой Тухачевской признался, что его в лагере завербовали. Каялся, плакал... В отношении же "диссидентского периода" Юлий Ким, я знаю, придерживается версии, не совпадающей с моей. Достаточно критично относясь к своему покойному тестю, он считает, что отбыв второй срок, Якир не стучал, а своей диссидентской деятельностью старался отмыть старые грехи. А что на Красную площадь не пошел – так это он просто струсил. Мне, честно говоря, не верится.

**) Не совсем к месту, но расскажу. В Минлаге мы познакомились с абсолютно русским человеком – курносый, белобрысы, окающим, – который по документам числился евреем. Он сам при первой паспортизации тридцатых годов просил вписать в пятую графу чужую национальность.

– А зачем? – спросил его Юлик.

Лже-еврей слегка смутился:

– Думал: вроде иностранец, девушки хорошо относятся.

(В те годы и советская власть неплохо относилась.)

VIII. Малинник

Переезд в Ерцево ничем примечателен не был – разве что отсутствием обычных этапных неприятностей. Этапов з/к не любят и боятся, о чем свидетельствует и лагерный фольклор: "Вологодский конвой шуток не принимает", "Моя твоя не понимаю, твоя беги, моя стреляй" (это о среднеазиатах, якобы отличавшихся особой жестокостью. В песне об этом поется: "Свяжусь с конвоем азиатским, побег и пуля ждут меня").

Не помню, какой конвой вез меня из Кодаина – да я их почти не видел и не слышал. Столыпинские купе, огороженные решетками, как камеры в американской тюрьме, случалось, набивали зеками до упора, не повернешься. Но я ехал в комфорте – один и недолго. К вечеру мы прибыли в Ерцево.

15-й лагпункт, куда меня привели, оказался сельхозом. Население зоны было смешанным, как и на прежнем моем месте жительства. Но мужчины пребывали здесь в подавляющем меньшинстве – человек сто

при списочном составе чуть более семисот.

Женщины трудились на сельхозработах, большинство мужчин – в ремонтно-механических мастерских. Туда направили и меня, на должность уборщика цеха.

В РММ я проработал недолго, но успел познакомиться и на всю жизнь подружиться со слесарем Лешкой Кадыковым. Слесарем он стал уже в лагере, а до того был московским – вернее, подмосковным – пареньком без специального образования и политических убеждений; и то, и другое появилось потом. Когда мы спустя десять лет встретились в Москве, он был обладателем инженерного диплома и работал прорабом на монтаже самых сложных металлоконструкций: это он строил Бородинскую панораму и новый цирк на Ленинских (Воробьевых) горах. А что до политических взглядов, так он при первой же московской встрече объявил:

– Валерий Семеныч, ты поверишь: в банду меня тянут!

– Какую банду?

– Да в партию. Но со мной этот номер не прохонже!

А в лагере мы с ним о политике не раз-

говаривали, нас берег здоровый инстинкт: еще не прошла мода навешивать дополнительные лагерные срока за болтовню.

Языки развязались много позже, когда я попал в Минлаг: там уже терять было нечего. Сталина называли не иначе как “черножопый”, “ус” или “гуталинщик”. И ничего, проходило. Году в 51-м запретили получать в посылках чай – чтоб не чифирили. Чай мы все равно добывали, через вольняжек: и переиначив следовательское клише, смеялись: “Собравшись под видом антисоветских разговоров, занимались чаепитием” (на Лубянке почти во всех протоколах было: “Собравшись под видом чаепития, занимались антисоветскими разговорами”).

Минлаг обогатил и мой запас частушек. В бараках, не таясь, распевали:

Троцкий Ленину сказал:

Пойдем, Ленин, на базар,

Купим лошадь карию,

Накормим пролетарию.

(Вариант:

Ленин Троцкому сказал:

Я мешок муки украл,

Леша Кадыков. Он раньше меня вышел из лагеря и даже успел купить мотоцикл.



Мне кулич, тебе маца –
Ламца-дрица-а-ца-ца!)

А то и такое пели:

Эх, огурчики да помидорчики,
Сталин Кирова убил в коридорчике!

Почему “органы” не реагировали, не берусь судить: стукачей и в Минлаге хватало. Возможно, всерьез рассчитывали на то, что мы и так из зоны никогда не выйдем?..

Мой ерцевский друг Лешка Кадыков в Минлаг не попал, у него были две легкие статьи. Хотя формулировка одной из них звучала грозно: “разоружение Красной Армии”; другая была – “незаконное хранение оружия”. Лешкино преступление заключалось в том, что он нашел в лесу пистолет (в их местах осенью 41-го шли бои). Вместе с другими пацанами Леха упражнялся в стрельбе по пустым бутылкам; сосед-энкаведист сообщил куда следует, и парень получил восемь лет. Если бы пистолет был немецкий, Лешка отделался бы пятью годами – за незаконное хранение. Но на беду ему попался не “вальтер” и не “парабеллум”, а наш советский ТТ... В 45-м, по амнистии, Кадыкову скостили три года, и вскоре он вышел на свободу.

Лагерь пошел ему на пользу, как и мне – в смысле общего образования. Но ему повезло и в узкопрофессиональном отношении: в РММ он трудился под руководством Александра Сергеевича Абрамсона, крупного специалиста в области моторостроения, и стал классным автомехаником.

Как малосрочника, его в посевную расконвоировали, он работал трактористом и удивлял окрестных трескоедочек ростом и мощным сложением:

– Парень-то какой большой огромный! – восхищенно окали они.

Алексей Михайлович и сейчас, в эпоху акселератов, заметен в московской толпе. А тогда, на фоне низкорослых архангельских мужичков, смотрелся как Гулливер среди лилипутов.

Абрамсон его ценил: у Лешки и голова была хорошая, и руки. Этими огромными как окорока ручищами он выполнял самую тонкую работу. У меня хранится изящная алюминиевая пудреница, которую он сделал в подарок моей маме – в 47-м году она приехала на свидание.

А с Абрамсоном они изготовили какой-то не то карбюратор, не то приспособление, заменяющее карбюратор – и дающее



Спустя несколько лет Алексей Михайлович стал большим начальником. Это он строил цирк на Воробьевых горах и Бородинскую панораму

10 % экономии бензина. Это изобретение Абрамсон сделал еще в Чехословакии. Он был “невозвращенцем”: поехал в конце тридцатых в заграничную командировку и остался в Праге. При немцах он выдавал себя за шведа и тем спасся. А от своих спастись не удалось – дали десять лет за измену родине и привезли к нам. С абрамсоновским карбюратором (или не карбюратором) начальник РММ Шатунов ездил в Москву, демонстрируя его преимущества. Уговорил одну московскую газету опробовать изобретение на редакционной машине; испытания прошли успешно. Начальник вернулся в Ерцево счастливый: он, по-моему, верил, что им с Абрамсоном дадут Сталинскую премию. *

В ожидании премии Александра Сергеевича перевели жить в отдельную кабинку и выдали новое х/б обмундирование. А вскоре его забрали на этап, и срок он кончал в какой-то московской шараге. Леша Кадыков – уже вольный – видел его там. А изобретению хода не дали: как объяснил мне Лешка, из-за ревности и интриг академика Чудакова, “карбюраторного бога”...

Подбирать металлическую стружку и сметать в кучу опилки было нетрудно, однако



Мама. Такой она приехала на свидание.

звание уборщика не вызывало уважения. Может быть, со временем меня приставили бы в РММ к какому-нибудь стоящему делу; но стать слесарем или токарем мне не было на роду написано.

Моим трудоустройством занялась Ира Донцова – до посадки московская студентка. На Лубянке она сидела в одной камере с Ниной Ермаковой и была “наседкой”; об этом я узнал еще на Красной Пресне. Подозреваю, что и перевели меня из Кодина в Ерцево для того, чтоб Ира меня “разрабатывала”; Якир-то в Кодине на меня не стучал. А тут – есть надежда: все-таки землячка, знакома с моей невестой... Впрочем, не исключено, что они об этом и знать не знали. Часто мы в своем воображении делаем “органы” куда умнее и осведомленнее, чем они есть. (Юлик Дунский сказал бы “антропоморфизируем”.)

Донцова не оправдала доверия кумовьев. Уже после Ириного освобождения (срок ей дали божеский, пять лет) ее любовник Марк Антошевский отозвал меня в сторонку и сообщил:

– Ирка просила сказать: на тебя она не стучала. Так что не думай.

– Я и не думаю, Марк. Будешь писать, передай ей привет – и спасибо за все хорошее.

Марк сильно ее любил. Повесил в бараке Ирину фотографию – красивое лицо, большие светлые глаза, – а ниже, для подсветки, пристроил лампочку; он был электриком. Ребята посмеивались: как икона с лампадой!.. Не знаю, почему Ире важно было, чтоб я узнал о ее – как бы это сказать? – лояльности... И еще одна стукачка призналась мне, что кум интересовался моей персоной – совсем малознакомая девка, я даже имени не помню. Она, Ира, Петька – три признания! Исповедь облегчает душу?

По Иркиной протекции меня взяли в бухгалтерию счетоводом.

Из шести конторских работников трое были пересидчики; у них в формулярах значились не цифры – номера статей и пунктов, а буквы. У Володи Волина, как помнится, КРТД – контрреволюционная троцкистская деятельность, у Ольги Алексеевны и Жозефины Иосифовны – ЧСИР, члены семей измученников родины. Обе были вдовами расстрелянных в ежовщину военных. Ко мне они отнеслись прямо-таки по-матерински заботливо: учили бухгалтерским премудростям, не сердились на мои промахи.

Но еще снисходительней к этим промахам был мой непосредственный начальник Иван Трофимович Обухов. Жозефина мне внушала, например: баланс должен сойтись с точностью до копеечки, это святая святых двойной бухгалтерии! И я искал эти не желающие сойтись копейки, по десять раз перепроверяя каждую проводку. А Иван, видя мои мученья, изысканным жестом не покрестьянски маленькой руки отодвигал проблему в сторону: “Баланс составляется в тысячах рублей!” И бессовестно округлял цифры.

Но он же и оберегал меня от служебных неприятностей. Сын саратовского крестьянина, он окончил классов пять средней школы, но был наделен практической сметкой, которой мне в те времена так не хватало. Помню, я ничтоже сумняшеся вывел в калькуляции себестоимость одного куриного яйца – 720 руб. (Не в том месте поставил запятую.) А Ивану и считать не нужно было, для него цифры не были абстрактны, он сразу видел: ну не может одно яйцо столько стоить! Теперь-то, в 93-м году, такая цена не кажется фантастической – то ли еще нас ждет... Но тогда это было прямым доказательством моей профнепригодности.

Просвещал меня Иван Трофимович и по

всяким житейским вопросам. Я уже помнил, что сексуальные мои познания были очень невелики. Хотя первый – теоретический – урок я получил в возрасте двенадцати лет. Я тогда лежал в больнице с дифтеритом; в нашу палату попал один взрослый, заболевший этой детской болезнью. Это был ломовой извозчик, добродушный словоохотливый дядька; он рассказывал нам о своих любовных похождениях, и мы с большим интересом слушали.

Желая сделать мне приятное, он сказал:

– Но самые лучшие женщины – это еврейки!

– Почему?

– У них пизда поперечная.

– Как же она закрывается? – удивился я.

– А конвертом.

Сведения Ивана Обухова были менее фантастичны, хотя и не бесспорны. Это от него я впервые узнал поговорку: “На версту вершок хуйня, а на хую вершок верста”. Иван не рекомендовал злоупотреблять сексом (слова этого он не знал, заменял другим).

– Надо так, – говорил он. – Один раз на сон грядущий, второй – на коровьем реву.

Вооруженный этими знаниями, я отправился на 37-й пикет. Т. е. не сам отправился, а меня направили на курсы бухгалтеров – да, бывало в лагерьях и такое.

37-м пикетом назывался лагпункт, обслуживавший лесопилку. Вообще-то пикет – это отрезок железнодорожного пути длиной сто метров, а также геодезическая отметка на местности. Почему л/п носил такое название, не знаю, как не знаю и того, почему именно там, а не на головном лагпункте, решено было разместить наши курсы.

Со всех ерцевских лагподразделений – с Чужги, с Алексеевки, с Круглицы и Островного – привезли зеков, человек двадцать, и стали готовить пополнение для контор: кое-кто из старожилов в тот период все-таки уходил на свободу. Правда, вскоре почти всех их снова похватили и разослали по лагерям; но, как сказано в “Маугли”, “это уже другая история, для взрослых”.

Большую часть курсантов составляли такие же, как я, придурки. Но были и работяги, с общих, получившие двухмесячную передышку.

Преподавали опытные бухгалтера: главбух всего Каргопольяга – офицер, и с ним два отсидевших свое зека. Атмосфера на занятиях была вполне деловая и доброже-



Жозефина Якобсон, сохранившая бодрость духа после очень длительной отсидки тогда.

лательная. Особенно благоволил ко мне улыбочивый и немногословный горьковчанин Соломонов. Однажды принес книжку, сунул мне.

– Почитайте. Хорошая, – сказал он, окая. Книжка и вправду была хороша – “Спутники” Пановой.

Учился я неплохо и помогал самой отстающей, Шурочке Силантьевой. Была она курносая, веселая, голубоглазая – и я, конечно же, влюбился. (Постоянство вкусов – моя отличительная черта.) Хочется верить, что это господь послал мне Шурочку. Неспособная к бухгалтерии, она обладала бесценными женскими способностями, в том числе редкостной чуткостью. И, в свои двадцать три года, большим практическим опытом. Все про меня поняв, она в два счета избавила меня от всех комплексов, за что я буду благодарен ей по гроб жизни. Не знаю, где она теперь, что с ней сталося. Надеюсь, что жива и здорова.

Шура была дочкой директора энкаведеш-



Возвращение с работы – шмон на вахте. Кадр из фильма “Затерянный в Сибири”

ного дома отдыха в Луге. Ее первыми учителями в постели были постояльцы папиного заведения – не только чекисты, а и два циркача, родные братья. “Два брата-акробата”, – говорила Шурочка. Обо всех она рассказывала и откровенно, и весело. Но вот о тех, кто сменил в доме отдыха и энкаведистов, и циркачей, когда немцы заняли Лугу, – об этом мы с ней никогда не говорили. Я не спрашивал, она тоже помалкивала. Хотя ее подружки любезно сообщили: твоя Шурочка – немецкая подстилка.

Девушек и женщин, живших в оккупацию с немцами, в лагере было много, и у каждой имелись свои причины и свои обстоятельства; бог им судья. Но судили-то их не на небесах, а на земле, причем на советской, и всем подряд давали срока по 58-й – кому больше, кому меньше. Я их не осуждал – жалел.

Заниматься любовью в бараке, прилюдно, нам с Шурой не хотелось. И мы часами простаивали в темном тамбуре, ожидая, пока прекратится хождение. Только раз нам удалось оттолкнуться (тогда не говорили “трах-

нутья”) в относительном комфорте: на опилках, за штабелем. Курсантов ведь выводили иногда на лесопилку – убирать территорию; вот мы и воспользовались. Правда, задержались малость, и когда прибежали к воротам, все те же доброжелательные подружки стали громко советовать:

– Шур! Хоть отряхнулась бы!..

Вся спина ее серенького довоенного пальтишка была в опилках.

Там, в рабочей зоне, можно было добыть через вольных курево, а то и выпивку – за деньги, понятно. В Шурин день рождения мне принесли целых две поллитры. Отпраздновать мы решили вечером, в бараке. Но вот проблема: как пронести водку в зону? Эту задачу я решил с гениальной простотой. Заложил по бутылке в каждый рукав повыше локтя и во время обязательного шмона перед воротами с готовностью распахнул бушлат, разведя локти в стороны. Вертухай привычно скользнул ладонями по моим бокам и буркнул: “Ходи”. Если б нашел водку, мне обломилось бы суток десять ШИЗО. Но ради любимой девушки стоило

рискнуть. Да, да, любимой! Шурка была вторая в моей жизни женщина, которой я сказал это слово – “люблю”. Потом говорил и другим – но не часто. И не в лагере...

Занятия на курсах кончились, мы сдали экзамен – я на пятерку, Шура на троечку с минусом – и разъехались по своим лагпунктам. Мы потом переписывались через бесконвойников. Я старался переправить ей что-нибудь вкусенькое из маминых посылок; а однажды мы даже смогли увидеться – но об этом немного погодя.

На выпускном занятии начальник курсов, старший лейтенант, чью фамилию я, к сожалению, забыл, приятно удивил нас. Свою похвальную речь он начал давно забытым обращением: “Товарищи!” Оговорился? Не думаю. Были, были среди лагерного начальства вполне порядочные, многое понимавшие люди.

На 15-й я вернулся старшим бухгалтером производственной группы. На меня смотрели с уважением, а девушки с новым интересом: подружиться со мной, считали они, было бы полезно.

Попадая в тюрьму, женщины в первые же дни узнавали от опытных сокамерниц: в лагере надо сойтись с кем-нибудь из придурков, лучше всего с нарядчиком – пристроит на легкую работу. А одной быть нельзя, дойдешь на общих. И блатные приставать будут.

К нам на 15-й пришел этап из Иванова – молодые девчонки, в большинстве ткачихи, получившие срок по статье 162-й, воровство: вынесли с фабрики две-три бобины пряжи и променяли на хлеб.

Пока они все вместе жили в карантинном бараке, их навещали наши старожилки – познакомиться и узнать, не пришел ли кто из землячек. Заодно инструктировали: тут на сельхозе с мужиками плоховато, человек сто всего, да и то половина доходяги. Но есть в хлеборезке грузин Моисей, он баб любит; а в бухгалтерии – очкастый молодой еврей. У него, вроде, никого нет... Девушки слушали, принимали к сведенью. И жалели свою товарку, которая была на седьмом месяце беременности:

– Любочка, а ты-то как будешь? С таким-то пузом.

– А я, девочки, рачком.**

Об этой беседе мне рассказала, хихикая, Люська Беляева, с которой у нас случился скоротечный роман: она воспользо-

валась наводкой.

У нее было милое курносое личико, тоненькая фигурка и, как отметил мой друг Леха Кадыков, “подстановочки под ней выполнены очень аккуратно”. (Лешкина речь и по сей день отличается своеобразием; про одну знакомую даму он сказал, что у нее большое обоняние.) А подстановочки, т. е. ножки, были у Люськи действительно хороши. И удивительная походка – куда до нее нынешним манекенщицам! На этапе Люсю постригли: завшивела в тюрьме. И теперь она ходила, не снимая голубой косынки; каждую ночь проверяла, не отросли ли волосы. Об этом ее нетерпеливом ожидании знал весь лагпункт. И Венька Стрельнин, зав. ШИЗО, вместе с надзирателем Серовым сыграли над Люськой пакостную шутку: сорвали косынку и снова постригли наголо, объявив, что у Беляевой вши. Как она рыдала, бедная девка! Ведь нагло ввали, сволочи. Она была чистюля, заботилась о своей внешности, даже чистила зубы два раза в день – чего я, например, не делал никогда.

Женщины в этом смысле – да и не только в этом – существа удивительные. Моя тетка Нюрочка, посаженная в 37-м как ЖИР, жена изменника родины, рассказывала: в Темниковских лагерях, в женском бараке, она наблюдала интересную сцену. Новенькая, тоже жена изменника из только что прибывшего этапа, делала на нарах массаж лица, похлопывая по щекам кончиками паль-

Моя тетка Нюрочка с внучкой Леной, которая родилась, пока бабушка была в лагере



цев. При этом она причитала:

– Ужас, ужас... Мужа, конечно, расстреляли... (Тюп-тюп-тюп.) Детей отправили в приют... (Тюп-тюп-тюп.) Боже, десять лет, десять лет! (Тюп-тюп.) Нет, я знаю – я не переживу!..

Сама Нюрочка вышла через пять, сохранив, как видим, чувство юмора – и ангельский характер. Ее первого мужа расстреляли, а вторым стал мой овдовевший дядька Володька, который мучил ее, думаю, не меньше, чем лагерное начальство – хотя любил; он еще в гимназии был влюблен в Нюрочку...

Люська была не Людмила, как полагалось бы, а Лариса. Лариса Яковлевна Беляева, 1927 года рождения. Расстались мы в сорок восьмом, а в шестьдесят первом, уже вольным человеком, я по киношным делам попал в Иваново. Наугад поинтересовался в справочном киоске: где живет такая-то? Оказалось, что живет на этой улице, только теперь у нее другая, немецкая или еврейская, фамилия. Я постоял-постоял перед ее домом, но так и не решился зайти: наверно, замужем, наверно, не хвастается своим лагерным прошлым. Зачем осложнять человеку жизнь? Тем более, что и любви-то не было – ни с ее, ни с моей стороны. Так, “курортное знакомство”.

Разнообразием статей, сроков и, соответственно, человеческих типов наша женская зона превосходила, пожалуй, любой чисто мужской лагпункт. Кроме воровства, растрат, мошенничества и всех пунктов 58-й статьи, были и специально женские преступления – проституция, криминальные аборт. В те годы криминальными считались все аборт – советское законодательство их то разрешало, то запрещало. И судили абортисток за детоубийство, по ст. 136. К ним в зоне относились сочувственно, хоть и подозревали, что некоторые врут, будто сидят за аборт, а в действительности придушили уже родившегося ребеночка: времена были тяжелые, голодные. Почему-то больше всего не любили у нас на 15-м некрасивую угрюмую бесконвойницу: она схлопотала года три за растление малолетних. Вот уж нетипичная для женщин статья!..

Воровки – не ивановские расхитительницы гос. имущества, а настоящие блатнячки – держались особняком. Себя называли “крадуньи, жучки, воровайки”. Перед начальством не тушевались, вели себя нагло и

вызывающе.

Я сам видел, как пришла такая жучка в кабинет к Козлову, инспектору ЧИС, части интендантского снабжения, и потребовала, чтоб ей выдали комплект обмундирования. Инспектор отказал: она была “промотчица” (промотом называлась утрата казенной одежды; украли у тебя, потерял или спалил по нечаянности на костре – все равно считалось, что промотал. Было б что!) Девка напирала, Козлов стоял на своем:

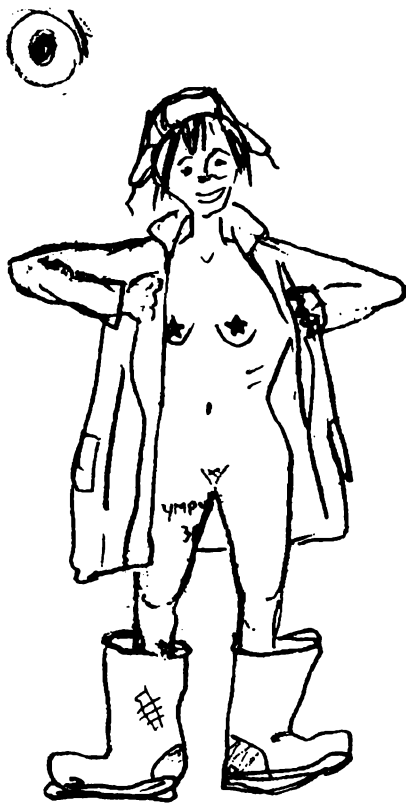
– Не дам, и не проси!

– А в чем я на работу выйду?.. Вот так? – И она распахнула телогрейку, под которой не было ничего, кроме голого тела.

Инспектор смутился, даже покраснел – а ей только того и надо было. Этот спектакль блатнячки разыгрывали во всех лагерях нашей родины. И во всех лагерях известна была изящная формула отказа от работы:

– Начальник, этими ручками не лопату, а хуй держать!

Бригадирша из блатных, дородная и не слишком молодая – все величали ее Анна



Петровна, – спала в почетном углу барака, отгороженном занавеской. Во время вечернего обхода она голышом разлеглась поверх одеяла, и, выпятив белый живот, ждала, пока вертухай на отдернет занавеску. Дождалась-таки желанного эффекта.

– Испугался! – заливалась смехом Анна Петровна. – Думал – куль с мукой, а на нем крыса сидит!

Молодые воровайки щеголяли наколками – звезды вокруг сосков или надпись на ляжке: “Умру за горячую еблю”. Своими глазами не видел, врать не буду: я с блатнячками не шился. Одна, правда, сказала про меня – “красюк”. Зато другая объявила, что не покажет мне и с десятого этажа. А третья называла меня “крокодил в разобранном виде”. Что за разобраный вид, не знаю, но так говорили. Или еще так: “страхуила в разобранном виде”.

Что же касается лозунга “Умру за...”, то он, как и многие другие, с реальной жизнью мало соотносился. Бытующее в народе – и литературе, к сожалению – представление о похотливости и ненасытности оголодавших лагерниц сильно преувеличено. Не верю в рассказы (кто их не слышал?) о зашедшем в женский барак монтере, которому бабы перевязали обрывком электрошнура мошонку и долго пользовали – все по очереди. Еще глупее байка про залежи узких мешочков, набитых кашей, – их якобы обнаружили на развалинах снесенного бабского барака. Мешочки!.. С кашей... Тьфу!

Разумеется, были и в лагере чувственные женщины, всерьез страдавшие от воздержания. Одной нашей бесконвойнице, невзрачной молодой бабенке, с глазами всегда грустными и виноватыми, вольная врачиха Роза Самойловна даже назначила специфическое лечение: ее послали уборщицей на вохровскую псарню, к молодым солдатам-собаководам. Другая, постарше, некрасивая веселая полька пани Зося, откровенно приставала к ребятам из РММ – и иногда добивалась успеха. Токарю Витьке Кофляру она благодарно сказала:

– Пане Кофляр, меня много кто ёбал, но как вы – никто! У вас, пане Кофляр, хуй в золотой оправе.

Но были и вполне равнодушные к сексу девки, занимавшиеся любовью по необходимости. Одна во время полового акта (дело происходило в женском бараке, на верхних нарах) крикнула подружке, собравшейся на ужин:

– Тань, возьми на меня, ладно?

Это я слышал своими ушами.

Имелись на 15-м и ковырялки – этим противным словечком называли тех, кто мастурбировал; имелись и коблы, они же кобелки. Эти вызывали повышенный интерес – и не только у меня. Двух из них считали гермафродитами. Возница фекалий Сашка, немолодая, низенькая, говорила про себя: “я был”, “я ходил”. В телогрейке и ватных штанах пол ее определить было трудно. Одна моя приятельница знала лагерное поверье: если плеснуть на гермафродита холодной водой, мужское естество выйдет наружу. Она и проделала это в бане, окатила Сашу из шайки. Та разозлилась, крикнула:

– Увидеть хочешь? Приходи ночью, увидишь.

Любовь Сашка крутила со своей напарницей-фекалисткой, такой же низкорослой и, как любили говорить в те годы, “семь раз некрасивой”. Нормировщик Носов, мужик совершенно бессовестный, выпытывал у Шашиной сожительницы:

– Нет, ты расскажи – как вы с ней это делаете?

– Так ведь натуральный мужчина, – слегка стесняясь, объясняла допрашиваемая.

Вторая “гермафродитка”, бригадирша Марья Ивановна, была поколоритней. Коротко стриженная, красивая, в офицерских брюках, заправленных в кирзовые сапоги и лихо сдвинутой набок кубанке – ни дать, ни взять, первый парень на деревне! Все тот же Носов орал на всю контору:

– Марь Иванна... Эта Марь Иванна не одну на Островное отправила!

Это была метафора. Имелось в виду: от нее не одна бабенка забеременела! Марья Ивановна слушала и польщенно посмеивалась. Хотя, скорей всего, она была просто мужеподобной лесбиянкой. На лагпункте с уважением говорили, что она отбила бабу у самого Степана Ильина – ссученного вора, коменданта. А отбитая и не отпиралась:

– Попробуешь пальчика – не захочешь мальчика!..

Про сколько-нибудь постоянную любовницу зек говорил “моя жена”. И она про него – “муж”. Это говорилось не в шутку: лагерная связь как-то очеловечивала нашу жизнь. А некоторые, выйдя на волю, становились официальными мужем и женой; знаю по крайней мере три такие пары. Постоянная



Я рассказываю английскому актеру Энтони Эндрюсу, что этот лагпункт, построенный под Ярославлем для съемок "Затерянного в Сибири", похож, как близнец, на те, где я был.

связь уважалась и была выгодна во многих отношениях. Налаживалось какое-никакое семейное хозяйство, к "жене", как правило, другие не приставали – зачем мужикам портить отношения?

Принцип социального равенства в лагерных "браках" соблюдался не всегда. Мог, скажем, конторский придурок выбрать подругу из своего окружения, но чаще бывало по-другому. И приличные женщины, случалось, жили с ворами или суками – страдая от несоответствия. Помню, еще в Ерцеве, когда скотина Толик Анчаков "совал мне в рот и в нос", т. е. материл по-черному, возлюбленная Толика, тихая миловидная ленинградка, смотрела на меня из-за его плеча, вздыхала и глазами извинялась за сожителя.

А на 15-м была вольнонаемная врачиха Ольга... забыл отчество. Она освободилась году в сорок пятом и, как многие, осталась при лагере: бывалые контрики чувствовали, что так безопаснее. На носу у этой очень славной дамы был глубокий шрам. Мне объяснили его происхождение: оказывается, в бытность свою заключенной, она жила с

блатным. Эта связь стала ее тяготить, и врачиха попросила опера отправить неудобного любовника на этап. Тот узнал об этом, но промолчал. А когда настал час разлуки, пришел к подруге, поцеловал на прощанье и вцепился зубами в нос. Откусил, но не нарочь: удалось поставить на место и сшить. Но шрам остался памятью на всю жизнь...

За свой срок я погостил на трех лагпунктах, где были женщины. И, как ни странно, не могу вспомнить ни одного случая изнасилования или убийства из ревности. Драки, понятное дело, случались. При мне одноногий сапожник Сашка, застигнутый в женском бараке соперником, отбивался от него отстегнутым протезом. Да что там отбивался: молотил, как цепом, и его, и еще двоих, прибывавших на подмогу. Страшно было смотреть – но и приятно: шесть ног спасовали перед одной.

Я и сам однажды подрался "из-за бабы" – но это уже из области комического. В тот вечер в клубе (он же столовая) были танцы – девчата упросили инспектора КВЧ разрешить. Чудеса! Весь день вкалывали на об-

щих, а тут – откуда силенки взялись? – пошли плясать под баян и плясали до самого отбоя. Молодость великое дело, она и в лагере молодость – как в Африке туз.

Я-то и в молодости не умел танцевать, так что в клуб не пошел. А незадолго до того я рассорился с Катькой Серовой, хорошенькой и совершенно бессмысленной девчонкой из Вологды. Но весь лагпункт продолжал считать ее моей барышней. И вот прибегает ко мне в барак ее подружка, кричит:

– Там Витька-парикмахер твоей Катке по морде дал! При всех!

Ну не стану же я объяснять, что Катка уже три дня как не моя?.. Надел сапоги, пошел в столовую.

У дверей я подождал, пока выйдет Витька, сказал:

– Хочу с тобой поговорить. – И, не дожидаясь ответа, дал ему по уху. Он взвизгнул и кинулся бежать – вприпрыжку, как заяц. Мы с Лешкой Кадыковым потом измерили длину первого прыжка по следам на снегу – метра три, не меньше. Шапка с Витькиной головы слетела, я подобрал ее, принес к себе в барак и повесил на гвоздик – как скальп врага. Владелец прийти за шапкой побоялся, прислал надзирателя Серова. Тот

спросил – с уважением:

– Чем ты его?

– Кулаком.

Серов не поверил: Витькино ухо здорово распухло. Так ведь вмазал, что называется, от души.

По-настоящему парикмахера звали не Виктор, а Мечислав; чем-то его не устраивало красивое имя. Он выдавал себя за блатного, но позорное бегство сильно подпортило его репутацию – а мою укрепило, совершенно незаслуженно.

Потом мы помирились, и я ходил к нему бриться. Иметь бритву, даже безопасную, зеку не положено. Некоторые ухитрялись бриться осколком стекла, но я бы не смог. Витька объяснил:

– У тебя щетина, как у кабана, а шкура, как у зайца.

Я сажился в парикмахерское кресло, не боясь, что он перережет мне горло опасной бритвой. Витька-Мечислав отомстил по-другому. Узнав, что в Ховрине, подмосковном лагере, вместе с ним в сорок пятом году сидела моя невеста Нина, он “вспомнил”:

– Такая блондинистая? Ну, скажу я тебе, она там давала жизни! Сто грамм на трассе, килограмм на матрасе.

Поганый был мужичонка – но мастер хороший.

Примечания автора

*) Лагерное начальство с прямо-таки детской наивностью поощряло самые фантастические проекты зеков, в надежде погреть руки на чужом костре. Так, на 3-м лаготделении Минлага заключенный художник Коля Саулов (ст. 58-1б, срок 25 и 5 по рогам) лепил из пластилина макет скульптуры “Флагман Коммунизма”: корабль, на носу Сталин в развевающемся чайлд-гарольдовом плаще, а по бортам – дети разных народов, в полсталина ростом, тянут к нему ручки. Начальник шахты 13/14 дурак Воробьев освободил Саулова от других работ и даже дал ему двух подручных. Но неожиданная смерть флагмана испортила все дело.

Там же, на 13/14-й, был зек, составлявший словарь русского языка, где должны были разместиться все слова в алфавитном порядке – но не по первой букве, а по последней. Начальство и к этой идее проявляло благожелательный интерес. Мне она казалась бредом, но говорят, такие словари существуют.

**) Нормальному человеку, живущему в нормальном мире, эта готовность продать себя представляется отвратительной. Но девушки попадали в ненормальный, уродливый мир с переверну-

той моралью. И не надо строго судить безымянную сочинительницу частушки:

От барака до барака

Шарики катала.

Если б не было пизды,

С голоду б пропала!

Это не аморальность, это спасительный цинизм – близкий к юмору висельников. А кроме того, лагерные отношения между полами не проституция и никак уж не блядство. Скорее, это были браки по расчету – а иногда и по любви.

Беременели женщины нечасто: и кормежка не та, и моральное состояние играет, наверное, роль. Но у бытовичек-малосрочниц была надежда на специальную амнистию для мамок. Время от времени такие амнистии случались.

В нашем лагере беременным было не так уж худо. На последних месяцах их переводили на легкую работу, давали дополнительное питание. Рожать они уезжали на Островное – лагпункт мамок. Там ребеночка помещали в Дом младенца за зоной. Мать водили кормить его положенное количество раз.

Плохое начиналось через 2-3 года, когда малыша разлучали с матерью и отправляли в детдом. Впрочем, адрес детдома матерям давали; некоторые после освобождения разыскивали своих детей и забирали.



Уже два года, как
Вадима Трунина нет с
нами. В память об этом
весёлом и добром
человеке публикуем его
новогоднюю пьесу-
шутку.

Вадим Трунин

ТАКАЯ ПЕТРУШКА

Новогодняя пьеса-шутка.

Картина I

Трехкомнатный дворец тридесятого царства. Разностильная обстановка, безлюдье, тишь. Откуда-то из темноты, шаркая шлепанцами, выходит Король.

КОРОЛЬ. Нет, это же надо, черт паршивый, чего выдумал: подавай ему бал. А где, я вас спрашиваю, у меня деньги на этот бал? Вырастил балбеса на свою шею. Нет, что бы помочь отцу, бал ему, видите ли, захотелось... Как у порядочных...

Входит Принц.

ПРИНЦ. Бать, ну так как насчет бала-то, а? Сообразим чего-нибудь? Ведь тоска зеленая. Ну хоть не очень шикарно, созовем своих, только с нашего королевства, музыку послушаем, потанцуем...

КОРОЛЬ. Шуметь будете. Ты и без того со мной не считаешься, каждый день до

полуночи радио крутишь. А тут вообще, опять будут жаловаться из соседнего королевства: спать не даешь. Позанимался бы лучше или хоть братьев Grimm почитал бы.

ПРИНЦ. Надоело. Скука.

КОРОЛЬ. Ну в кино бы сходил, что ли. Сидишь дома, ноешь только. Загонишь ты меня в гроб со своим балом. Ветер в голове. Нет, сынок, в этом месяце ничего не выйдет. Матери туфли надо, то-се... Почитай братьев Grimm и ложись спать. Я пошел.

ПРИНЦ. Куда? Опять, небось, в преферанс играть. На это у тебя деньги есть.

КОРОЛЬ. Не твое дело. Будешь королем, тогда будешь командовать. Кстати, я никогда не проигрываю.

ПРИНЦ. Не проигрываешь... Пенсии-то

хоть раз до конца месяца хватило? Занимать опять придется.

КОРОЛЬ (качает головой). Наслушался матери, да? Нехорошо. Ну вот ты и сам видишь, какой уж тут бал. Никак концы с концами не сведешь.

ПРИНЦ. Конечно, когда хозяйство ведется так безалаберно. Шестьдесят дукатов в день! Дали бы мне волю, давно прошу, я бы в двадцать дукатов уложился. И погулять бы на что было, и машину купили бы...

КОРОЛЬ. Болтун ты, больше ты никто. Будешь королем, тогда вот и купишь себе машину. Отстань со своими глупостями. (КОРОЛЬ уходит.)

ПРИНЦ. "Будешь королем"... Будешь королем, когда песок сыпаться будет. На кой черт тогда королевство это. Сейчас погулять охота. Вот то ли дело раньше: волшебники были. Извольте себе, подходит волшебник: "Чего изволите?" – и заказывай любые чудеса... (Садится за стол, задумчиво кладет голову на руки. Из буфета выходит Волшебник. Он в черной паре, галстук-бабочка, прическа гладкая на ровный пробор, с салфеткой через левую руку.)

ВОЛШЕБНИК (ловко смахивая салфеткой пыль со стола). Молодой человек, заказывать будете?

ПРИНЦ (очнулся). А? Тьфу ты пропасть, откуда вы здесь взялись?

ВОЛШЕБНИК. Легок на помине. Что будем брать?

ПРИНЦ (потирая руки). Вот это да! Вот черт, карточка есть?

ВОЛШЕБНИК (подаёт карточку). Извольте.

ПРИНЦ. Порядочек. Так. Значит, большой стол на все королевство. Ну, конечно, водочки, только "Столичной", е ть?

ВОЛШЕБНИК. Какую прикажете.

ПРИНЦ. Так, коньячку грамм триста, который получше. Вина сухого пару бутылок. Салатик какой-нибудь. Из крабов хоть. ВОЛШЕБНИК. Сколько?

ПРИНЦ. Пару порций, хватит, пожалуй. Еще горячее что-нибудь. Шашлыки есть?

ВОЛШЕБНИК. Есть все, что вы пожелаете.

ПРИНЦ. Вот жизнь! Значит, шашлычок. Кофе черный обязательно на всех. Да, еще лимончик! Черт, чуть не забыл.

ВОЛШЕБНИК. Все?

ПРИНЦ. Вроде бы. Стоп, еще водички бутылок пять. "Ессентуки Семнадцать". Ну, пока все. До скольких вы сегодня работаете?

ВОЛШЕБНИК. Как всегда, до двенадца-

ти.

ПРИНЦ. А сейчас сколько?

ВОЛШЕБНИК. Без пяти девять.

ПРИНЦ. Уйма времени! Поехали!

Волшебник небрежно взмахивает салфеткой, появляется стол человек на десять-двенадцать и все, что заказал Принц.

Картина II

Тот же дворец. Разоренный стол. Разношерстная компания. Свет приглушен, оставлена только настольная лампа. Играет радиола. Кое-кто танцует. В углу, на диване Принц рядом с Золушкой.

ПРИНЦ. А ничего сегодня повеселились, а? И компания своя, хорошо. Вы откуда к нам попали?

ЗОЛУШКА. Да я все время здесь живу.

ПРИНЦ. Что же я вас раньше-то не видел?

ЗОЛУШКА. Работы много. Еще учусь вечером.

ПРИНЦ. Молодец! Тяжело вам, наверное. Я только днем учусь и то не каждый день – так надоело. А вы просто молодчина. Я бы так не смог.

ЗОЛУШКА. А зачем вам? У вас папа король. А у меня папа дровосек. Еще сестры есть, не родные, правда, сводные. Они тоже днем учатся.

ПРИНЦ. Да! А мачеха у вас злая?

ЗОЛУШКА. Да нет, пожалуй. Но все же, знаете, мачеха, а не мама. Когда школу закончила, хотела в институт идти, отец говорит: "Ты, дочка, уже большая, понимаешь все, я тебя очень люблю, но вот дело-то какое: сестры твои уже учатся, не срывать же их, а на пять ртов моей зарплаты не больно хватит. Иди на завод в соседнее королевство, а учиться и заочно можно". Вот я и пошла. Теперь не жалею. Только вначале тяжело было, потом привыкла. И то, что ни от кого не завишу, очень хорошо.

ПРИНЦ. Да, это, пожалуй, самое главное. А то я вот стипендии не получаю. Говорят: отец – король – обеспечит. Вот и клянчу у бати даже на кино или сигареты пару дукатов. Молодец вы, честное слово. Давайте выпьем за вас.

ЗОЛУШКА. Нет, я больше не буду, да и вам хватит.

ПРИНЦ. Ну немножко, глоточек...

ЗОЛУШКА. Хорошо, только глоток. Завтра вставать рано. Потом на работе голова будет болеть.

ПРИНЦ. Хорошо, пейте сколько хотите. Сегодня счастливый день! И вы замечательная девушка, Золушка. Хорошее у вас имя –

Золушка... Золушка! Смешное, но хорошее.

ЗОЛУШКА. Ну что вы! (Краснеет.) Мои сестры красивы. Посмотрите, как танцуют, и нарядные такие...

ПРИНЦ. Это вон ваши сестры? Я их-то давно знаю. Глупые они смертельно. Так и глядят, как бы скорее замуж выйти. Больше и нет ничего на уме. Тряпки и женихи. И женихов-то им надо не простых, а чтоб из другого королевства. И я даже на одной из них чуть было не женился, да батя не разрешил. Профрантишь ты, говорит, с такой женой все королевство и похоронить нас с матерью не на что будет. А тоска с ними зеленая. Я же принц, черт возьми, мужчина, не могу же все время о тряпках разговаривать... Вы братьев Гримм читали?

ЗОЛУШКА. Читала.

ПРИНЦ. Понравилось?

ЗОЛУШКА. Очень. Это моя любимая книга.

ПРИНЦ. И моя тоже. Как там они давали жизни, а?

ЗОЛУШКА. А вы читали что-нибудь Андерсена?

ПРИНЦ. Андерсена? Андерсена... Нет, что-то не припомню. А про что там?

ЗОЛУШКА. Вы шутите! Не может быть, чтобы вы не читали.

ПРИНЦ. Не помню. Может быть, и читал. Я вообще авторов не запоминаю...

Пауза. Принц вынимает сигарету. Подходит Волшебник.

ВОЛШЕБНИК (шепчет принцу). Без четверти двенадцать. Пора скоро кончать. Слушайте, я ведь волшебник, вы понимаете? Могу все, что угодно... Будете еще что-нибудь заказывать?

ПРИНЦ (хлопая себя по карманам). Принесите спичек.

ВОЛШЕБНИК. Пожалуйста. (Подает спички и с оскорбленным видом уходит.)

ЗОЛУШКА (задумчиво). А я, знаете, с принцами раньше не была знакома. Сестры говорили: Принц, Принц. Я думала, интересно, что это за Принц такой?

ПРИНЦ. Ну и что же, разочаровались? Какой же я, а?

ЗОЛУШКА (смеется)..Обыкновенный.

Исчезает стол, гаснет свет, часы бьют двенадцать.

Гости шарахаются к дверям.

ПРИНЦ. Золушка! Куда же вы? Посидели бы еще!

ЗОЛУШКА. Не могу. Завтра рано на работу. Прощайте, Принц! Читайте Андерсена и русские народные сказки.

ПРИНЦ. Стойте! Стойте! (В темноте хва-

тается за что-то, держит.)

ЖЕНСКИЙ КРИК. Ой! Кто-то хватается за ноги!

Вспыхивает свет. Посреди пустого, как в картине I, дворца стоит Принц. В руках у него женская туфелька.

ПРИНЦ. Ну вот! Все кончилось. Что же это? Или мне все приснилось? Неужели было на самом деле? И Волшебник был? Не может быть! Но туфля! Откуда же эта туфля? Боже мой, был Волшебник, а я у него ничего не попросил! Ой-ей-ей! (Падает в обморок.)

Картина III

Тот же дворец. На диване лежит больной Принц. Рядом Королева.

КОРОЛЕВА (отсчитывая капли). Раз, два, три... Бедный ребенок! Четыре, пять... Головка болит? Кислой капустки хочешь?

ПРИНЦ. Не хочу я никакой капусты...

КОРОЛЕВА. Ну что же ты хочешь, сыночка? Нельзя же так: шесть часов уже не ел ничего, совсем осунулся, бедняжка. Где же это Король провалился? Ребенок умирает, а ему все трын-трава. Что это у тебя под подушкой? (Быстро вынимает туфлю.) Где ты это взял?

ПРИНЦ. Отдай! Отдай сейчас же!

КОРОЛЕВА. На, на, только не нервничай, не кричи, а то поднимется температура. Все понятно. (Плачет.) Твой отец ведь тоже когда был принцем, нашел где-то мою туфлю. Так со всеми бывало, это уже наследственное, наверное, мальчик мой... Кто же она? Ты, конечно, не знаешь. Надо искать... Бог мой, что же делать, где же отец? Иоанн! Иоанн Девятнадцатый! Ну просто провалился.

ПРИНЦ. Не кричи, мать. Постучи к соседям, там небось, в преферанс режется.

КОРОЛЕВА. Ну, я ему дам тогда! Ты не помнишь телефон Начальника Стражи? Совсем голова закружилась...

ПРИНЦ. Ноль два.

Королева снимает телефонную трубку. Звонит.

КОРОЛЕВА. Алло! Дежурный? Соедини меня с Начальником! Алло! Начальник? Зайдите ко мне.

Входит Начальник Королевской Стражи

НАЧАЛЬНИК. Чего изволите, Ваше Высочество?

КОРОЛЕВА. Немедленно найти хозяйку этой туфли! Иначе прикажу отрубить вам чертовой матери голову! В двадцать четыре часа! Ясно?

НАЧАЛЬНИК. Слушаюсь Ваше Величест-

во. (Ворчит под нос). Отрубить, отрубить... А кто же мне ее рубить будет? Сам себе, что ли? Разоралась, наседка... (Уходит).

КОРОЛЕВА. Пойду отца вытану. Ребенок жениться собрался, а ему все трын-трава! (Уходит).

ПРИНЦ (стонет). Зо-олушка... Зо-олушка...

Вбегают Король и Королева.

КОРОЛЬ. Ты что, совсем обалдел? Чего орешь? Вместо того, чтобы на занятия идти, валяешься в постели, оболтус. Я в твои годы уже королевство на себе тянул.

КОРОЛЕВА. Только и знаешь одно, старый пьяница: заниматься да заниматься. Хватит ребенку заниматься, жениться ему пора.

КОРОЛЬ. Жени-иться? (С интересом). Это на ком же?

КОРОЛЕВА. Не знает. И я не знаю. Туфля у него.

КОРОЛЬ. Туфля? Тогда дело другое. Значит время пришло. Где Начальник Стражи? КОРОЛЕВА. Послала давно. Уже ищет.

Входит Начальник стражи, ведет целую толпу разновозрастных женщин.

НАЧАЛЬНИК. Не вели казнить, вели выслушать. Ни черта не могу поделатъ. Всем эта туфля как раз.

ПРИНЦ (вскакивает). Не может быть!

КОРОЛЬ. Ну-ка, дай сюда! (Переворачивает туфлю подошвой вверх.) Так и есть: тридцать седьмой размер. Что же делать? Стандарт. Как же теперь быть-то, мать, а? Эта, небось, и тебе подойдет. Эй, женщины! И вам всем в самый раз?

ЖЕНЩИНЫ (хором). В самый раз, батюшка.

КОРОЛЬ (смеется). Вот петрушка!

ПРИНЦ (мечется по двору). Бред! Все бред собачий! Нет ее здесь, гоните их в шею.

НАЧАЛЬНИК. Давай, давай, бабоньки, пройдемте, не задерживайтесь, давайте не будем!

Женщины, ругаясь, уходят.

ПРИНЦ (подбегая к окну). Эх, всё одно теперь не жить! Лучше из окна выброситься!

КОРОЛЕВА. Сынок! Ой, что же это, ведь бель-этаж! Отец! Да куда же ты смотришь?

ПРИНЦ (у окна). Вот она! Золушка!

КОРОЛЕВА (Начальнику). Тащите её сюда, голубушку! Попалась!

Приводят Золушку.

ЗОЛУШКА. Здравсте.

ПРИНЦ. Золушка, милая! Примерь-ка туфельку.

ЗОЛУШКА. Это можно. (Примеряет.) А зачем?

ПРИНЦ. Сейчас, сейчас. Ну как? Не жмет? ЗОЛУШКА. Есть немного. Большой палец упирается.

ПРИНЦ. Ничего. Это не беда, разносится.

ЗОЛУШКА. А зачем все это? Что я с ней, с одной туфлей-то делать буду?

ПРИНЦ. Все в порядке. Пошли в ЗАГС.

ЗОЛУШКА. Чего?

ПРИНЦ. В ЗАГС. Пойдем?

ЗОЛУШКА. Ни куда я не пойду! Да еще в разных туфлях. Тоже мне, Принц, лучше ничего придумать не смог?

КОРОЛЕВА. Иди, дура. А то велю тебе голову отрубить.

ЗОЛУШКА. Ну это вы полегче. Сказала не пойду, и всё.

КОРОЛЬ. Вот молодежь-то пошла. Вы только посмотрите, как она с Королевой разговаривает!

ПРИНЦ (грустно). Почему, Золушка?

ЗОЛУШКА (ей жаль Принца). Ну, почему... Зачем это?

ПРИНЦ. Я люблю вас.

ЗОЛУШКА (со вздохом). Не верю я вам. Как это так? С первого взгляда?

ПРИНЦ. Да! Да!

ЗОЛУШКА. Ну и потом, вы же не спросили, я-то вас люблю или нет. А может, я другого люблю?

ПРИНЦ (тихо). Кого же?

ЗОЛУШКА. Зачем вам знать? Разве не все равно?

Принц отрицательно качает головой.

КОРОЛЕВА. Да плюнь ты на нее. Подумаешь, принцесса грёз! Эта твоя туфелька всем подходит, а ей жмет еще. Такую невесту тебе отхватим! Не горюй.

ПРИНЦ. Нет, мама... (Золушке.) А вы бы могли меня полюбить?

ЗОЛУШКА. Какой-то вопрос странный. Сразу видно, что вы не читали Андерсена... Да потом, и профессия у вас какая-то несерьезная: король. Ну что это? Так, от нечего делать...

ПРИНЦ. А этот ваш... любимый? Скажите, Золушка, очень прошу.

ЗОЛУШКА. Он шофер, Принц. Ну, до свидания. Мне пора, а то я на лекции опаздываю. (Уходит.)

ПРИНЦ (плачет). Где же ты, Волшебник?

КОРОЛЕВА. Догнать! Поймать! И его поймать, шофера этого! Отрубить им головы к чертовой матери! Отец, что же ты стоишь, как пень? Не видишь, ребенок от горя убивается? Я с ума сойду! Король ты, в конце концов, или тряпка?

КОРОЛЬ (разводит руками). Что же я, матушка, могу поделатъ? Ничего я с этим не могу поделатъ, вот петрушка какая...



Марлен Дитрих

Азбука моей жизни



ДАЛИ, Сальватор (Dali, Salvator). Великий художник. Однако не нужно позволять дурачить себя его склонностью к эффектам.

ДАМСКАЯ СУМОЧКА (Hand taschen). Мужчине, который причисляет все дамские сумочки к предметам роскоши, грозит возмездие. Если на свете существует справедливость, в своем следующем рождении он должен появиться на свет в облике крокодила и закончить жизнь в качестве самого дорогого предмета роскоши. Или ему следует перевоплотиться в женщину, которая входит в супермаркет, держа в руках ребенка, портмоне, ключи, водительское удостоверение, перчатки, и должна при этом сделать массу покупок. Тогда он все поймет правильно.

ДЕНЬ МАТЕРИ (Muttertag). Обычно о нем напоминают торговцы цветами. Однако каждый должен помнить о его приближении, ибо это единственный день в году, когда самые забывчивые и занятые дети должны подать матери знак, что не забыли ее.

ДЕНЬГИ (Geld). "Деньги, о которых в салонах нельзя сказать ни одного доброго слова, по своему воздействию на состояние человека могут быть уподоблены розам". Ральф Уолдо Эмерсон.

Лучше не скажешь!

ДЕРЕВНЯ (Dorf). Место, где можно жить в мире.

ДЕ СИКА, Витторио (De Sica, Vittorio). В его фильме "Чудо в Милане" есть такая сцена. Мужчина и женщина выходят из барака, обматывают себя газетами, чтобы сберечь тепло своих тел. Потом стоят неподвижно, наслаждаясь лучами осеннего солнца.

ДЕТСКИЕ ВРАЧИ (Kinderarzte). Люблю их всех за то, что они любят детей и помогают им, читая о болезни по глазам ребенка. Врач прикладывает ухо к животу, и на его лице появляется ласковое выражение. Детские врачи сконцентрированы на своих пациентах. Их девиз – "Никого не пугать!". Поэтому у детей не бывает таких неподвижных, объятых страхом лиц, которые приходится видеть у взрослых, когда они ожидают приговора врача. Определенно, сердца детских врачей похожи на большое пестрое сахарное сердце.

ДЕТСТВО (Kindheit). Вместилище воспоминаний. Голубые, нежные образы заставляют вновь и вновь оглядываться назад, становясь сильнее с каждым годом, месяцем, днем.

ДЕШЕВОЕ (Billig). Не выглядит дорогим.

ДЖАКОМЕТТИ (Giacometti). Я влюбилась в его скульптуры и решила сказать ему об этом лично. С самого начала между нами возникла горячая симпатия. Когда я возвращалась из Парижа в Нью-Йорк, то весь путь держала в руках подаренную им скульптуру. Он тщательно завернул ее в газету, прежде чем передал мне.

ДЖЕНТЛЬМЕН (Gentleman). Мужчина, покупающий у портье два экземпляра утренней газеты, прежде чем покинуть с дамой ночной клуб.

ДЖИНСЫ (Jeans). Некоторые города и местечки мне нравятся только потому, что я могу носить там джинсы.

ДИРИЖАБЛЬ (Zeppelin). О несправедливости войны я узнала еще в детстве. Мой дядя Макс Дитрих был капитаном дирижабля, с которого в первую мировую войну должны были бомбить Манчестер. Когда Кайзер узнал, что его двоюродный брат как раз находится в Манчестере, он приказал экипажу вернуться назад. Над Атлантикой дирижабль обстреляли англичане, и все погибли. Моя тетя не хотела верить в смерть мужа и ждала его возвращения много лет после окончания войны.

ДНЕВНИКИ (Tagebuch). Определенно, все дневники знаменитых писателей написаны с задней мыслью, что когда-нибудь они будут опубликованы.

ДОБРОДЕТЕЛЬ (Tugend). Нельзя сформулировать всеобщего понятия добродетели. Мужчина, которому девушка отдала невинность, может считать ее добродетельной, но в глазах матери и отца – она уже "падшая женщина". Потому нужно иметь собственное представление о добродетели и жить сообразно ему.

ДОБРОТА (Gute). Так просто быть добрым. Нужно только представить себя на месте другого человека, прежде чем начать его судить.

ДОЛГ (Pflicht). "Что есть твой долг? Требование дня". Гете.

ДОМАШНЯЯ РАБОТА (Hausarbeit). Не только лучшая терапия, но и необходимейшее занятие. Редкое дело так быстро приносит результаты, а следовательно – и удовлетворение.

ДОМАШНИЙ ОЧАГ (Zuhause). Оба эти слова у нас пишутся слитно. Я рассматриваю его как самую надежную гавань в жизни человека.

ДОРОГИЕ ВЕЩИ (Teuer). Выглядят еще дороже. В толпе всегда найдется человек, способный оценить их истинную ценность.

ДОСТОЕВСКИЙ (Dostojeuskij). В юные годы я испытывала перед ним необыкновенный восторг и еще сегодня помню строки из некоторых его романов. Особенно люблю "Белые ночи".

ДОЧЬ (Tochter). Останется твоей дочерью на всю жизнь:

ДРЕМОТА (Nickerchen). Счастливы те, кто может вздремнуть посреди дня. Не мешайте им только потому, что сами не можете этого сделать.

ДРОЖЖИ (Hefe). Не жалейте усилий получить свежие дрожжи. Не стоит стряпать на

сухих, они действуют совсем не так и не дают нужного эффекта.

ДУХ ВРЕМЕНИ (Zeitgeist). Немцы используют слишком много слов там, где англичанин употребит только одно. Исключение составляет понятие "дух времени". В других языках используется много слов, чтобы дать ему точный перевод, но все они неточны.

Е

ЕДА (Essen). Все настоящие мужчины любят поесть. Тот же, кто вяло пробует поставленное перед ним блюдо, ковыряясь в тарелке, определенно нездоров. И это касается не только желудка.

Ж

ЖАЖДА ОБЛАДАНИЯ (Besitzqzier). Основной мотив многих бессердечных обманщиц. У них всегда наготове крючок, с помощью которого можно подцепить любого мужчину. Это – опытные рыбаки. Они знают все течения, ветры, фазы луны и никогда не остаются без добычи. Так же ловко они затягивают пойманного мужчину в свою лодку. Полуживой, он лежит в лужице воды, в то время как удачливая рыбака решает, что же ей сделать со своей добычей. Если мужчина сам удачлив, он может снова оказаться в море. Раны затянутся, а шрамы станут хорошим предостережением на будущее. Правда, чаще всего рыбака решает оставить мужчину при себе. И все равно уже близок день, когда он ускользнет от нее. Боль, которую почувствует снедаемая жаждой обладания, не ранит сердце, разве что самолюбие.

ЖАРГОН (Jargon). Можете прибегать к нему, только овладев легитимным языком.

ЖАРКОЕ ИЗ КУРИЦЫ (Brathuhn). Возьмите молодую курицу, натрите ее половинкой луковицы. Посолите. Положите в кастрюлю, залив чашкой бульона или воды. Добавьте 8 фунтов масла и поставьте в средненагретую духовку. Когда из курицы перестанет выделяться сок, добавьте воды или бульона. Время от времени поливайте курицу скопившейся жидкостью. Добавьте жара. Даже если курица стала мягкой, ее еще нужно жарить, поливая непрерывно соком. Когда она достаточно зарумянится, выньте ее из духовки. Если вы любите поджаристую корочку, нужно немедленно приступить к еде. Выложите курицу на блюдо, а в кастрюле приготовьте соус. Подавать с рисом, зеленым салатом и горошком. Не забывайте, что курица должна иметь комнатную температуру, прежде чем вы начнете ее готовить.

ЖАСМИН (Jasmin). Есть разные виды этих цветов – обычный и тот, который цветет только по ночам. Я люблю запах любого жасмина.

ЖВАЧКА (Kaugummi). Успокоительное средство для взрослых.

ЖЕЛАНИЯ (Wunsche). Желания матери очень просты – держать за ручку своего ребенка.

ЖЕНА (Ehefrau). В случае кризиса или драматических перипетий каждая жена стре-

мится показать, как она терпима и внимательна к мужу. Однако по-настоящему хорошая жена не нуждается в драматизации повседневной жизни.

ЖЕНСТВЕННОСТЬ (Weiblichkeit). Триумф женщины, ее магнетическое поле, которое притягивает к себе мужчин.

ЖЕНЩИНЫ (Frauen). "Если бы все беды, причиненные миру женщинами, сконцентрировать в одном месте, то земля бы оказалась слишком маленькой, чтобы вместить их. Да и небо с солнцем не справились бы с этой задачей". Джеймс Кеннет Стивен.

Неужели Вы действительно так думаете, мистер Стивен?

ЖЕРТВА (Opfer). Лучшая мера, чтобы измерить силу любви.

ЖИЗНЬ (Leben). Состоит не только из праздников. Кто думает иначе, не досчитается многих праздничных дней.

ЖОВЕ (Jouvet). Великий режиссер. Следующий анекдот прекрасно демонстрирует его подход к актерскому мастерству.

Актер. Месье Жове, а что я почувствую после того, как в первой сцене объяснюсь девушке в любви?

Жове. Ничего не почувствуете, молодой человек... Играйте, играйте!

3

ЗАВЕЩАНИЕ (Testament). Было бы хорошо привести в порядок все бумаги. Так, чтобы после твоей смерти их было приятно разбирать. Увы, это невозможно!

ЗАВИСТЬ (Neid). Это чувство мне незнакомо, ибо для него нет причин. Наверно потому, что с детства нас учили радоваться вещам, вне зависимости от того, принадлежат они тебе или нет.

ЗАДОР (Ubermut). Едва ли в других языках есть аналог этому слову. Однако зазорные люди есть во всех странах.

ЗАМУЖЕСТВО (Ehe). Приходит день, когда самая интеллигентная женщина может сказать: "Я пожертвовала тебе лучшие годы моей жизни".

ЗАРАБОТОК (Verdienen). Существует огромная разница между тем, кто заработал много денег, и тем, кто богат от рождения.

ЗВЕРИ (Tiere). Чудесные создания, пока они остаются на свободе.

ЗВУКООПЕРАТОР (Tonmeister). Слуга двух господ. Служит им, не тратя собственных нервов. Ему приходится иметь дело и с третьим – актером, который нередко произносит свои реплики с таким придыханием, словно только что вынырнул из глубин своего исполнительского искусства.

ЗДОРОВЬЕ (Gesundheit). "Сохранение здоровья – важнейшая обязанность человека. Лишь немногие осознают, что оно служит основой здоровой морали". Герберт Спенсер.

Кричу "Браво!", когда читаю эти строки.

ЗЕФИР (Zephir). Люблю ветер. Люблю шерсть, нежную, как паутинка, которая изготавливается в Бельгии и называется... зефир.

ЗНАМЯ (Fahne). Требуется большое мужество, чтобы не склонить своего знамени.

И

ИДЕАЛЫ (Ideale). Чтобы правильно функционировать, нация нуждается в идеалах, а не только в экономическом соревновании.

ИЗМЕНЕНИЕ (Abwechslung). Корень жизни, но только в том случае, если они касаются жизни, а не самих себя.

ИЛЛЮЗИИ (Trugschluss). Многие женщины считают, что "мир им чем-то обязан", что они имеют право "на люкс, удовольствия и дорогие вещи". Этот образ мысли подталкивает женщин к ожиданию, что все лучшее окажется у их ног, включая любовь, внимание и уважение мужчин. Хорошие вещи достаются не так легко и неисполненные ожидания приводят к разочарованиям, горечи и прочим несчастьям обманутых чувств.

ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТЬ (Intelligenz). Она воспламеняет мою любовь.

ИНТЕРНАТ (Internate). Родители должны посылать своих мальчиков, по крайней мере на пару лет, в интернат, поскольку сами не могут день за днем создавать спокойную, свободную от нервозности атмосферу, которая необходима для воспитания. Учителя и воспитатели научились не передавать детям свои страхи и нетерпимость. Я считаю, что неконтролируемые реакции большинства родителей являются главной причиной эмоциональной нестабильности многих молодых людей. Английские и швейцарские интернаты, на мой взгляд, – самые лучшие.

ИНТИМНОСТЬ (Intimitat). Чтобы продемонстрировать всему миру интимность их отношений, женщина начинает смахивать воображаемые пылинки с костюма своего мужа, когда настоящие пылинки только имеют намерение опуститься на одежду упомянутого мужчины.

ИОВ (Ijob). Мой любимый библейский герой, ставший в свою очередь героем одноименного романа Рота, который я очень люблю.

ЙОГУРТ (Ioghurt). Если ребенок поднимается на ножки и кричит, значит у него вздутие животика. Тогда нет лучшего лекарства, чем йогурт, который снимает боль и успокаивает нервы.

ИСКУССТВО (Kunst). Понятие, которым часто злоупотребляют.

ИСЛАНДИЯ (Island). Должна называться Гренландией.

ИСПАНИЯ (Spanien). Самая романтическая из всех стран.

ИТАЛИЯ (Italie). Кругом – красота!

ИТАЛЬЯНСКИЕ МУЖЧИНЫ (Italienische Manner) – прекрасный, "горячий" воздух.

К

КАВАЛЕР (Kavalier). В чем состоит отличие кавалера от джентельмена? Кавалер никогда не сможет забыть о хороших манерах, а джентельмен – может.

КАКОФИЛИЯ (Kakophilia). Громкая навязчивая музыка, особенно любимая молодежью Америки. Ее уши постоянно ловят поток звуков, которые блокируют доступ в сознание иной информации. Молодые люди даже умудряются спать под это грохочущее сопровождение. Современные сирены могут успокоить разве что собак, но только не детей.

КАМЕШКИ (Murmeln). Ничто не приносит большей радости, чем собирание и игра с ними.

КАНАДА (Kanada). Что за чудесная страна! Воздух и небо там ясные и чистые, как будто только что вымыты и вычищены. То же самое можно сказать и о населении. Как и у шведов, у канадцев нет и намек на северный темперамент. Приводит в восторг их способность воспламеняться!

КАНТ, Иммануил (Kant, Immanuel). Его законы – корни моего мировоззрения.

КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ (Taschengeld). В Америке их сумма слишком велика. Они толкают детей к необдуманным поступкам.

КАРТОФЕЛЬ (kartofeln). Люблю его, охотно готовлю и ем.

КВАРЦ (Quarz). Сердечко из розового кварца на цепочке – лучший подарок для девочки.

КЕТЧУП (Ketchup). Если то, что лежит на тарелке, не возбуждает аппетита, полейте его кетчупом.

КИББУЦ (Kibbuz). Воплощение мечты вечно скитающихся евреев обрести собственную страну и постоянно ее облагораживать.

Все киббуци вне зависимости от размеров занимаются сельскохозяйственными работами, и каждый член заботится исключительно о благосостоянии своей общины. Они работают 8 часов в день и даже больше, если есть необходимость. Киббуц заботится о снабжении, одежде, сигаретах, образовании детей, врачебной помощи, стариках. Медицинские сестры, хорошо обученные, принимают роды и опекают новорожденных. Матери работают в полях, а вечерами посещают своих детей. Однако вся энергия и помыслы взрослого направлены на приумножение богатства их киббуца. До 14 лет о детях заботится школа, обучая их различным ремеслам. Их одежда содержится в порядке – стирается, чистится, гладится. В деньгах нет необходимости.

Много новых киббуцов возникло вблизи границы. С примечательным энтузиазмом их члены стремятся воплотить в реальность чудо – превратить в оазис пустыню Негев.

КИПАРИСЫ (Zypresen). Символ печали. Кипарисовая аллея – что за прекрасное и печальное зрелище!

КОЗЕРОГ (Sternbck). У кого есть заботы, могут переложить их на его плечи.

КОКТЕЙЛИ (Mixgetranne). Много усилий для бармена, плохо для здоровья.

КОКТО, Жан (Cocteau, Jean). Он имел чудесную привычку несмотря на долгое молчание

другой стороны вдруг написать письмо, чтобы выразить свои мысли. С примечательным добросердечием он продолжал разговор, не давая ему прерваться.

КОМПЛЕКСЫ (Komplexe). Не трогайте людей, которые свои плохие манеры пытаются объяснить так называемыми "комплексами".

КОМПОЗИТОРЫ (Komponisten). Мои любимые – Равель, Франк, Дебюсси, Рихард Штраусс, Стравинский.

CON AMORE (с любовью). На языке музыки означает "играй нежно".

КОРОЛЕВА (Konigin). Быть ею не слишком большое удовольствие. Негативного здесь больше, чем позитивного.

КОТЛЕТЫ ИЗ БАРАНИНЫ (Zammkotletts). Готовятся в сотейнике. Быстро поджарьте котлеты на сковороде. Растопите в сотейнике масло. На дно уложите нарезанный лук, а сверху – котлеты, посоленные и поперченные. Третий слой – нарезанный ломтями картофель. Четвертый – нарезанный лук. Пятый – котлеты. Последним слоем должен быть картофель. Залейте все бульоном и на 1 час поставьте в не слишком нагретую духовку. Тушить до полной готовности котлет и картофеля.

КОФЕ (Kaffee). Национальный напиток американцев. А как быть с чашечкой хорошего чая?

КРАЙНОСТИ (Ausserste). Когда люди говорят: "Я сделал все, что мог", – это значит, что они недооценивают себя.

КРАСНЫЙ (Rot). Красные платья нужно покупать с большой осторожностью, да и одеть их можно не так уж часто. Однако я понимаю женщин, рискнувших сделать такую покупку. Ведь мужчины всегда интересуются: "А кто эта девушка в красном платье?"

КРАСОТА (Schonheir). Забота о внешности – привычное дело. Мы привыкли красить щеки, глаза, ресницы, губы. Каждый сантиметр лица заботливо пудрится, подрисовывается черным, коричневым, голубым, зеленым, красным, золотым, серебряным. Сегодня волосы отбеливаются, завтра перекрашиваются в темный цвет. Словом, прилагается масса усилий, а счастье все не приходит. В царстве любви и счастья красота нередко оказывается легчайшим перышком на чаше весов основных ценностей. Но это достаточно болезненное знание не доступно красивой девушке. А когда оно, наконец, приходит, то оказывается излишне запоздавшим, чтобы что-то изменить. Так появляется горечь и обида. Женщина все глубже погружается в безнадежную сеть недружелюбности по отношению к миру, а недружелюбная женщина не находит ни понимания, ни сочувствия. Никто не хочет ей помочь.

КРЕДИТЫ (Kredisystem). Американская трагедия.

КРЕСТЬЯНСКИЙ ДВОР (Bauernhof). Я бы охотно жила на простом крестьянском дворе вместе с коровами, поросятками, утками, курами, лошадьми, где один день не похож на другой, и только смена времен года выносит изменения в работу.

Я бы завела огород, а поле перед кухонным окном засеяла пшеницей. Я бы охотно работала целый день и готовила пищу для многих людей как маленьких, так и взрослых. В кухне я бы построила большую четырехугольную печь. Возле нее было бы уютно сидеть зимой и греть спинку. Летом я бы наварила варенья, осенью – насобираала грибов из ближайшего леса, а в ручье поблизости ловила бы рыбу. Мой двор не должен находиться слишком далеко от деревни, иначе я не смогу сверять часы с ударами колокола, собира-

ющего прихожан на службу. А после работы я бы села на скамеечку перед домом или легла под цветущее яблоневое дерево.

X-mas. Принятое в Америке сокращение для слова Christmas (рождество). Мне кажется, что это сокращение следовало бы запретить.

КРОВЬ (Blut). Если доступ крови к той или иной части тела затруднен, обязательно последует недуг. На этом знании основана остеопатия.

КСАНТИППА (Xanthippe). Если жена Сократа стала прототипом сварливой жены, ясно, что мужчина в здравом уме не готов жить с собственной Ксантиппой. Интересно, как долго сам Сократ выдержал общество своей Ксантиппы?

КУЛИНАРНЫЕ КНИГИ (Kochbuecher). Судя по бесчисленному количеству этих книг, издающихся в Америке, можно подумать, что американские домохозяйки фанатичные поварихи. Увы, это не так!

КУХНЯ (Kuche). Мне не нравятся эти современные кухни. Они слишком маленькие, стерильные и неудобные. Идеальная кухня – большое помещение, в котором в ожидании обеда может собраться вся семья. Убедена, что существует прямая связь между современной кухней и семейными проблемами.

Л

ЛАВАНДА (Lavendel). Лучше на лугу, чем в шкафу.

ЛАВОЧКА ПИСЧЕБУМАЖНЫХ ТОВАРОВ (Papierwaren laden). Люди, любящие посещать их, сходят с ума от различных держателей бумаг, дыроколов, скрепок, тетрадей для заметок со спиралью наверху и сбоку. Они обожают рыться в бумаге – толстой, тонкой, обычной, с водяными знаками и без них, понимают толк в карандашах, ручках, точилках, стиральных резинках. Как в лихорадке такой покупатель купит все, что ему нужно и еще массу такого, что вообще не найдет применения. Его сердце не сможет перенести, если что-то останется лежать на полке. Никогда не забуду, как в маленькой лавочке я откопала прекрасную светлоголубую бумагу, которая напоминала шелковистую промокашку. Время от времени я извлекала ее на свет божий, любовалась и чувствовала себя абсолютно счастливой.

ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ (Nagellack). Темные тона не элегантны.

ЛАС-ВЕГАС (Las Vegas). Люблю этот город. Никаких ограничений. Никаких рук полицейских на твоём плече, когда ты участвуешь в игре.

ЛЕГКОМЫСЛЕННОСТЬ (Leichtsinn). Нет словаря, который дал бы удовлетворительное толкование этого понятия.

ЛЕДИ (Lady). Мечта каждой матери, когда она думает о будущем дочери.

ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ (Walder beeren). Кто их пробовал, знает вкус лета.

ЛИСИЧКИ (Pfefferlinge). Как только наступает лето и осень, я начинаю тосковать по этим грибам. Я подхожу к их приготовлению очень ответственно, жарю на сале, добавляю

петрушку и ем с маленькими вареными картофелинами и зеленым салатом.

ЛОГИКА (Logik). Мое обучение строилось на сочинениях Канта, на его категорических императивах. Поэтому я всегда стараюсь быть логичной, а если это не получается, просто устраняюсь от беседы. Придерживаясь логики, я требую этого не только от себя, но и от других.

ЛОЯЛЬНОСТЬ (Loyalitat). Один должен подчиниться десяти.

ЛОУТОН, Чарлз (Laughton). Он должен давать уроки актерского мастерства.

ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА (Liebes briefe). Писать их необходимо. Однако никто не должен знать, какие чувства их наполняют. Копии держите при себе.

ЛЮБОВЬ I (Liebe I). Любовь из радости любить, а не только из радости обладания любящим сердцем.

ЛЮБОВЬ II (Liebe II). Влюбленные говорят: "Я хочу, чтобы ты была счастлива, но только со мной".

ЛЮБОВЬ III (Liebe III). Позволь ему уйти, если он тебя больше не любит. Позволь ей уйти, если она тебя больше не любит.

ЛЮБОВЬ IV (Liebe I V). "Прежде чем влюбляться, научись ходить по снегу, не оставляя следов". Турецкая поговорка.

Что за наглядный и понятный образ!

М

МАГАЗИН "ВСЕ ДЛЯ ДОМА" (Haushaltungsgesehaft). Я посещаю такие магазины даже охотнее, чем оперу. Единственная конкуренция может быть только со стороны лавочки писчебумажных товаров. Если тоска проникает в душу, как сырость в кости, я отправляюсь в магазин "Все для дома", этот остров сокровищ, рай, страну мечты.

МАМА (Mutter). Тверже пола под ногами, когда я была маленькой. Тверже скалы, когда нужна поддержка и много тверже скалы в тот момент, когда стоишь без помощи и готов бежать сломя голову.

МАНЬЯНИ, Анна (Magnani, A). Природное явление!

МАРОККО (Marokko). Лучше смотреть на экране!

МАРТИНИ (Martini). Я отношусь скептически к мужчинам, которые являются за обеденный стол со своим мартини.

МАССАЖ (Massage). Что за удовольствие! К сожалению, у меня никогда нет для него времени. Но я всецело за него!

МАТАДОР (Matador). Мужество и грация! Это необыкновенное сочетание можно увидеть только во время боя быков.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

К 100-летию кинематографа

- 2 А.Мишарин, А.Тарковский "Зеркало"
47 А.Мишарин "Работать было радостно и интересно"
52 Л.Нехорошев "Тесные ворота"
60 А.Демидова "Андрей Тарковский"

Продается сценарий

- 66 А.Леонтьев, А.Бабаян "Черный Дьявол тайги"

Классика зарубежного кино

- 102 Г.Краснова "Граф Дракула и кино"
107 В.Херцог "Носферату – призрак ночи"

Проза кинодраматургов

- 132 В.Аксенов "Сен-Санс"
142 Р.Ямалеев "Убийство Рахманинова"

Мемуары

- 160 В.Фрид "58 1/2" (продолжение)

В конце номера

- 178 В.Трунин "Такая петрушка"

Из жизни звезд

- 181 Марлен Дитрих "Азбука моей жизни"

Главный редактор Н.Рюрикова

Редакционно-общественный совет: В. Азерников, Э. Акопов, И. Васильева, Г. Горин, А.Гребнев А.Инин, Е. Клейнер, А. Криницына, А. Мамилов, А. Медведев, В. Мережко, Н.Рязанцева, М.Сергиенко (отв. секретарь), П. Финн, В. Фрид, А. Червинский, В. Черных

Выпускающий редактор Ю.Гирба. Компьютерная верстка и графика А. Макаровой

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

Сдано в набор 10.10.94 Подписано к печати 7.10.94. Формат 70x100/16. Усл.печ.л. 14,5. Усл.кр.отт. 14,5. Печать офсетная. Бумага типографская офсетная. Гарнитура "прагматика"

Издание осуществлено совместно с АО"ПАНАС-АЭРО"
Отпечатано с готовых диапозитивов в Ордена Трудового Красного Знамени ПО "Детская книга" Роскомпечати. Адрес 127018, Москва, Суцеский вал, 49

Адрес редакции: 103006, Москва, Воротниковский пер., 12
Телефоны: 299-11-78, 299-47-74, 209-60-23

АЭРОФЛОТ



*Российские
международные авиалинии*

Аэрофлот – это:

- надежная техника и высокопрофессиональный персонал в небе и на земле;
- уникальный опыт нескольких десятилетий работы на западном рынке;
- регулярные полеты в 160 городов 103 стран мира, в том числе СНГ и Балтии;
- организация международных чартерных рейсов для пассажирских и грузовых перевозок;
- разветвленная сеть агентов и деловых партнеров.

Телефоны авиакомпании в Москве:

155-50-45 – международная справочная
155-66-41, 155-66-48 – коммерческая служба
155-59-48, 155-51-34 – пресс центр

**"MILLION
DOLLAR
HANDS"**

ISSN 0200-8080

**№6
КИНО
О
СЦЕНАРИИ**

**Этот номер
журнала
вам дарит
АЭРОФЛОТ**

